

РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК
ОТДЕЛЕНИЕ ЛИТЕРАТУРЫ И ЯЗЫКА

ВОПРОСЫ
ЯЗЫКОЗНАНИЯ

ЖУРНАЛ ОСНОВАН В ЯНВАРЕ 1952 ГОДА
ВЫХОДИТ 6 РАЗ В ГОД

6

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ

"НАУКА"

МОСКВА 1998

СОДЕРЖАНИЕ

Х. Шустер-Шевц (Пуршвиц, ФРГ). К вопросу о так называемых праславянских архаизмах в древненовгородском диалекте русского языка.....	3
К.Г. Красухин (Москва). Акцентология в предыстории индоевропейских языков	11
Т.В. Топорова (Москва). Об оппозиции 'темный мир' – 'светлый мир' в древнегерманской космогонии.....	39
Д.О. Добровольский (Москва). Национально-культурная специфика во фразеологии (II).....	48
Л.Э. Калнынь (Москва). Включение диалектизмов в художественный текст как разновидность контакта между диалектной и литературной формами русского языка.....	58
Е.В. Рахилина (Москва). Семантика русских "позиционных" предикатов: <i>стоять, лежать, сидеть и висеть</i>	69

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

А.А. Залевская (Москва). Психоллингвистика: пути, итоги, перспективы.....	81
---	----

Рецензии

В.М. Алпатов (Москва). <i>Гаспаров Борис</i> . Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования.....	95
Е.В. Петрухина (Москва). <i>А.В. Бондарко</i> . Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии.....	100
Ю.Н. Марчук (Москва). <i>Р.К. Потапова</i> . Речь: коммуникация, информация, кибернетика.....	106
Е. Гюнтер (Берлин). <i>S. Koester-Thoma, E.A. Zemskaja (Hrsg.)</i> . Russische Umgangssprache. Phonetik, Morphologie, Syntax, Wortbildung, Wortstellung, Lexik, Nomination, Sprachspiel.....	110
В.Б. Кузнецов (Москва). Реплика по поводу статьи С.Н. Николаева "Новые данные о фонетике русских говоров".....	112

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки.....	116
Указатель статей, опубликованных в журнале "Вопросы языкознания" в 1998 г.	120

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

Ю.Д. Апресян, А.В. Бондарко, В.Г. Гак, В.З. Демьянков, В.М. Живов, А.Ф. Журавлев, Е.А. Земская, Ю.Н. Караулов, А.Е. Кибрик, М.М. Маковский (отв. секретарь), Т.М. Николаева (зам. главного редактора), Ю.В. Откупщиков, В.В. Петров, В.М. Солцев, О.Н. Трубочев (главный редактор), А.М. Щербак

Зав. отделами *М.М. Маковский, Г.В. Строкова, М.М. Коробова*
Зав. редакцией *Н.В. Гашус*

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка, 18/2
Институт русского языка, редакция журнала "Вопросы языкознания"
Тел. 201-74-42

© 1998 г. Х. ШУСТЕР-ШЕВЦ

**К ВОПРОСУ О ТАК НАЗЫВАЕМЫХ ПРАСЛАВЯНСКИХ
АРХАИЗМАХ В ДРЕВНЕНОВГОРОДСКОМ ДИАЛЕКТЕ
РУССКОГО ЯЗЫКА**

Древнерусские языковые реликты, обнаруженные в древнем Новгороде и написанные на коре березы (берестяные грамоты), вызвали в последние годы сенсацию и даже некоторый шок в славянском сравнительно-историческом языкознании. Они восходят частично к XI веку и поэтому представляют первоклассный источник для научного изучения древнерусского языка. В 1995 году А.А. Зализняк, ведущий русский исследователь в этой области, собрал материал всех известных источников и опубликовал в критическом издании. Труд объемом более чем в 700 страниц, под названием "Древненовгородский диалект" [Зализняк 1995] (ср. рец.: [Vitnbaum 1997]), содержит, помимо собственно материала (с. 211–580), также подробный анализ языка древнего Новгорода ("Грамматический очерк древненовгородского диалекта", с. 9–210), в котором автор излагает современное состояние исследования, в том числе свои собственные результаты. Эта книга – настоящий клад для исследований по истории русского языка, довольно запущенных в советский период, как и для сравнительной славистики. В связи с этим автор повторяет также утверждение, выдвинутое уже раньше им самим [Зализняк 1988] и другими русскими исследователями (см. [Cluskina 1966; Глускина 1968; Николаев 1987; 1989; Крысько 1994а; 1994б]) о сохранении двух предположительно важных "праславянских архаизмов" в языке древнего Новгорода¹. Речь идет, во-первых, об отсутствовавшей в этом диалекте, по мнению Зализняка, палатализации веларных *g, k, x* в рамках 2-ой палатализации перед **ǣ, *i* дифтонгического происхождения (**g, *k, *x + ǣ₂, i₂* и **gv, *kv + ǣ₂, i₂*) и в ограниченном объеме на **i + x(вѣх-)*, а также в связи с 3-й палатализацией и об изменении **dj, *tj* и **sj, *zj > g', k', x', ǣ*, якобы относящемся сюда же (ср. др.-новг. диал. *кѣльъ* = русск. *цельный*, др.-новг. диал. *кѣпъ* = русск. *цен*, др.-новг. диал. *кѣдитъ* = русск. *цедить*, др.-новг. диал. *хѣръ* = русск. *серый*, др.-новг. диал. *къркы* = *церковь*, др.-новг. диал. *на Лугѣ, на отрокѣ*, др.-новг. диал. *моги*, повелит. 2 л. ед. числа = др.-русск. *мози*, др.-новг. диал. *реки*, повелит. 2 л. ед. числа = др.-русск. *реци*, др.-новг. диал. *кѣтъ* = русск. *цвет*, др.-новг. диал. *гѣзда* = русск. *звезда*, др.-новг. диал. *вѣхелвохе* = русск. *весь*, др.-новг. диал. *рогати* = русск. *рожать*, др.-новг. диал. *сустрекатъ* = русск. *встречать*, др.-новг. диал. *вехати* = русск. *вешать*, др.-новг. диал. *ваѣвати* = русск. *важивать, водить* и т.д.), во-вторых, о распространенной в древнерусском новгородском диалекте форме именительного падежа на *-е* у основ на *-о-* (др.-новг. диал. *игумене* = русск. *игумен*, др.-новг. диал. *Иване* = русск. *Иван*, др.-новг. диал. *батѣке* = русск. *батька*, др.-новг. диал. *хлѣбе* = русск. *хлеб* и др.).

После того как уже в 1993 году, в связи с XI Международным съездом славистов в Братиславе, мы заняли принципиально критическую позицию в отношении выдвинутой

¹ Под этим подразумеваются в самом широком смысле древнерусские наречия в рамках прежних владений древнего Новгорода и Пскова, являющиеся продолжением северного фланга племенного языка (диалекта) древнерусских кривичей. Ср. об этом подробно [Зализняк 1995: 3–4].

Зализняком гипотезы о якобы не осуществленной 2-ой и 3-ей славянской палатализации в древненовгородском диалекте [Schuster-Sewc 1993], мы хотели бы еще раз вернуться к детальному рассмотрению этой проблематики на основе имеющегося сейчас в распоряжении более обширного материала и его лингвистического изучения и при этом также высказать свое мнение по пункту 2 (о формах именительного падежа существительных мужского рода на -e).

Выдвинутое первоначально в связи с работами С.М. Глускиной утверждение о якобы несостоявшемся в древненовгородском диалекте результате 2-ой, а для сочетания $i + x$ также 3-ей палатализации ("в сфере исторической фонетики главная отличительная черта древненовгородского диалекта – отсутствие эффекта так наз. второй палатализации заднеязычных" [Зализняк 1988:166²]) в дальнейшем было смягчено Зализняком в том смысле, что теперь речь идет только о несостоявшейся ассимиляции: "В северокривичском диалекте не осуществилась так наз. вторая палатализация заднеязычных, точнее *к, *г, *х в позиции перед \dot{z} и i лишь смягчились (т.е. дали [k'], [g'], [ch']), но не перешли в свистящие" [Зализняк 1995: 37]. Но и в этом случае сомнения на счет сохранения этого предположительного "(поздне)праславянского архаизма" в древних северозападнорусских диалектах отнюдь не снимаются. Прежде всего остается без ответа вопрос, почему и каким образом в этих диалектах получены те же фонетические результаты не только в связи со 2-ой и отчасти 3-ей палатализацией, но и от смягчения йотом предшествующего d , t и особенно s , z (примеры см. выше), а также аналогично в случаях zd , $zg + j > \dot{z}\dot{z}$ $> \dot{z}g^{(i)}$ и st , $sk + j > \dot{s}\dot{s}$ $> \dot{s}k^{(i)}$, ср. например, др.-русс. *дожъ* "дождь" $< do\dot{z}\dot{z}$ ($< н.-е. *d\ddot{u}sdjos$), *наѣжгѣ* $< naj\dot{z}\dot{z}ja$ ($-\dot{z}\dot{z} < *zdj-$), др.-русс. *рожгѣ* $< *\dot{a}rzg\dot{z}je$, русск. диал. *игришке* "нерестилище, скопле-ние рыбы" $< игрище$, местн. назв. *Жеремшкях* $< Жеремшцѣх$, местн.п. (др.-новг. диал.) и т.д., сюда же случаи с вторичным $\dot{z}\dot{z} < z(d)\dot{z}$, со вставным согласным d , как в др.-русс. *ражгизаемъ* $< *\dot{a}rz-\dot{z}izati$ (см. [Крысько 1994а: 33]). Мнение Крысько по этому поводу, что в сев.-русс. формах на $\dot{z}g^{(i)}$ и $\dot{s}k^{(i)}$ речь идет просто о графизмах вместо первоначального $\dot{z}d'$ и $\dot{s}t'$ ("на фоне специфических написаний с жг, обозначающих [ж'г']), не должна казаться особенно экстравагантной и передача [ш'т'] посредством шк"), не убеждает.

В случае с палатальными заднеязычными g' , k' , полученными из праславянских сочетаний $*d + j$ и $*t + j$ (ср. русск. диал. *надѣга* $< *nadedja$, русск. *надежда*, русск. диал. *белоплекий* $< *pletj\dot{z}$), согласно Зализняку, следующему в данном случае за С.Л. Николаевым, речь должна идти равным образом о ранней стадии позднейших вост.-слав. аффрикат \dot{z} ($< \dot{z}$), \dot{s} , якобы близкой артикуляционно западнославянским рефлексам йотовой палатализации ("Таким образом, древнекривичский диалект отражает в данном пункте не что иное, как древнейшее состояние той же системы, которая характеризует западнославянские языки" [Зализняк 1988: 167]). Но это, как мы уже попытались показать в своем братиславском докладе, абсолютно исключено, поскольку аффрикаты \dot{z} ($> z$), s , полученные из праславянских сочетаний $*d + j$, $*t + j$, не могли в западнославянских языках ни в какой период времени иметь форму, соответствующую др.-русс. диал. g' , k' . Речь может только идти о $d^{2'}$ и $t^{2'}$ которым в восточнославянском должны были бы соответствовать фонетические варианты $d^{2'}$ и $t^{2'}$. И в отношении рефлексов 2-ой и 3-ей палатализации заднеязычных в западнославянских языках не засвидетельствовано более раннее состояние, которое соответствовало бы древненовгородским данным. Последовательности звуков $*g' \dot{e}li$ и $*k' \dot{e}li$, возникшие после монофтонгизации индоевропейских дифтонгов в раннеславянском в условиях господства слогового сингармонизма, могли эволюционировать только через артикуляционные промежуточные этапы g^2/k^2 , а сочетания $*d + j$ $*t + j$ – только через промежуточные $d^{2'}$, $t^{2'}$ либо $d\dot{z}/t\dot{s}$ в исторически засвидетельствованные аффрикаты \dot{z} ($> z$), s (зап.-слав.) или \dot{z} (\dot{z}), s (вост.-слав.). Но допущения такого рода полностью исключены для

² Аналогичная формулировка встречается также у А. Зализняка в "Новгородских берестяных грамотах с лингвистической точки зрения" [Янин, Зализняк 1986].

сочетаний $*s + j (> \delta')$ и $*z + j (> \zeta')$, где никогда не могло возникнуть палатальных заднеязычных (x', γ') в качестве предшествующих стадий для слав. δ или ζ . Здесь совершенно очевидно происходит смешение двух различных праславянских фонетических процессов друг с другом.

Но из сказанного также ясно, что выступающие в древненовгородском диалекте, а, помимо него, в современных северно- и западнорусских диалектах (ср. [Stieber: 3–7]), палатальные g', k', x', γ' (перед гласными заднего образования позднее депалатализованные), вместо $z' (> z')$, c', \check{c}, ξ и ξ', ζ , совершенно очевидно не могут представлять общую (позднюю) праславянскую стадию, но должны восходить – и это единственно возможный вывод – к более поздней, вторичной инновации. Последняя заключалась, по нашему мнению, в том, что упомянутые палатальные свистящие в соответствующих древнерусских диалектах (древнекривичский диалект) уже в очень раннее время (судя по данным древненовгородского диалекта, еще до XI века) изменили свой фонетический характер, причем через промежуточную стадию усиленной палатализации ("'), связанную также с совпадением артикуляции острых и глухих палатальных свистящих согласных³, произошло смещение первоначальной артикуляции (зона мягкого неба) в направлении заднего неба, что в конце концов привело к утрате спирантного артикуляционного компонента и, таким образом, к возникновению новых палатальных заднеязычных. Это касалось также первоначального $z' (> z')$ и c' в сочетаниях $zv-$, $cv-$, что однозначно подтверждают диалектные свидетельства типа $g'vezda/d'vezda$ и $k'vet/m'vet$.

В качестве непосредственного побочного эффекта этой древнерусской диалектной инновации может, по-видимому, рассматриваться и наблюдаемое уже в древнерусском обобщение веларного согласного основы (g, k, x) в сфере именной и глагольной парадигмы, ср. напр. др.-русск. *на Лугъ, на Нежкъ, реки*, повелит. 2 л. ед. числа, *помогите*, повелит. 2 л. мн. числа и т.д.

Такое же выравнивание основы частично, впрочем, известно в словацком и словенском, причем в этих языках дело не дошло до смещения палатальных свистящих согласных в зону заднего неба. Поэтому и для русского языка, скорее всего, нужно считать исходным действие соответствующего древнерусского фонетического процесса, влияющего на выравнивание основ.

Встречающиеся и в севернорусских диалектах палатальные зубные согласные d' и t' , вместо g', k' , не стоят, по нашему мнению, в непосредственной связи с развитием $*g, *k + \check{c}_2, i_2$ и $*d + j, *t + j$. При этом нельзя говорить и о "полуархаизмах", что допускал польский лингвист З. Штибер [Stieber: 4]⁴, но речь идет о более позднем фонетическом процессе, вследствие которого палатальные заднеязычные g' и k' различной древности преобразовались в палатальные зубные (d', t'). Это доказывает однозначно тем фактом, что соответствующий процесс охватил все палатальные заднеязычные согласные (в том числе и такие, которые не происходят из палатальных свистящих) и явно действует еще в настоящее время, как то доказывают примеры *нод' и < ноги, рут' и < руки, денд'и, даже т'ино < кино*.

К числу этих русских диалектных слов на $g', k' > d', t'$, явно принадлежащих к более позднему хронологическому слою, относится, по нашему мнению, и названное Зализняком [Зализняк 1995: 45] в качестве доказательства якобы архаического характера севернорусских рефлексов праславянских $*g, *k + \check{c}_2, i_2$ и $*d + j, *t + j$ финское заимствование *kaatio*, наверняка не имеющее такой древности, которую предпо-

³ Доказательством имевшего место совпадения в русских диалектах дентальных и палатальных свистящих согласных являются примеры с гиперкорректным ч, вм. ц, в русск. диал. *отец* "отец" и др.-русск. *пльвчъ чевтъ* и т.д. Ср. у Е.Ф. Карского: "Смешение ч и ц – старинная особенность новгородского говора, распространявшаяся со временем на значительном пространстве севернорусских говоров" [Карский, I: 389].

⁴ Ср. у Е.Ф. Карского: "При этом в формах типа *тенец* надо видеть полуархаизм (передвижение, наверняка позднее, праслав. k' вперед), при отсутствии аффрикатизации, которая здесь, вероятнее всего, никогда не имела место" [Там же].

лагает Зализняк («ср. в этом отношении в особенности финск. *kaatio* "ляжка", "штаны", которое реально могло быть заимствовано только от восточных славян и при этом предполагается исходный вид *gātjā*). Это слово бесспорно объяснимо как диалектный вариант сев.-русск. *гачи* < *гачи* (**gātję*), и поэтому оно могло бы быть заимствовано только после изменения *k' > t'*. То же самое развитие, как в древнесевернорусском, обнаруживают в связи с праславянскими сочетаниями **dj*, **tj/ki'* также восточносербские и граничащие с ними северномакедонские диалекты (включая македонский литературный язык), ср. примеры вроде макед. *мега* < **medja*, *сөөка* < **světja*, *нок* < **nokъ*, *макева* < **matjexa*, а также *ливаџе* < **livadъje*, *цвекѣ* < *květъje*, *с-је* < **-bje*). Необходимо исключить древнюю, еще праславянскую генетическую связь между этими двумя славянскими диалектными явлениями, опираясь на чисто гипотетические промежуточные стадии задненёбных при образовании соответствующих разных аффрикат (зап.-слав. *з, с* и вост.-слав. *љ, љ*), что нами отрицается. Впрочем, возможно, что в этом случае мы имеем дело с древней общей тенденцией развития, начала которой уходят еще в позднепраславянский язык, поскольку, к тому же, язык древнерусских кривичей и в других случаях перекликается с диалектами-предшественниками южнославянских языков (ср. [Schuster-Sewc 1998: 31–50, особенно 37]).

В связи с упомянутыми формами именительного падежа на *-e* древних *-o*-основ (*изумене*, *Иванъке*, *лихе* и т.д.) Зализняк занимает не столь однозначную позицию, хотя и отдает абсолютное предпочтение возведению этого *-e* к дославянскому (индоевропейскому) («... формирование этого окончания относится не просто к дописьменной эпохе, а очень раннему периоду. Ни одна из "конкурентоспособных" гипотез не выводит др.-новг. окончание и. ед. *-e* из *-ъ*. Система "и.ед. *-e* – в.ед. *-ъ*" не могла возникнуть из такой, где эти формы уже совпали; она могла быть только продолжением (с несколько измененным внешним выражением) соответствующей индоевропейской морфологической оппозиции. Таким образом, перед нами два пути развития ранней праславянской системы, в которой у *o*-маскулин и.ед. и в.ед. еще различались: путь, где само различие было сохранено (северокривичский), и путь, где оно было утрачено (характерный для всех прочих славянских диалектов)» [Зализняк 1995: 130]). И это понятно. Потому что в соответствии с пониманием Зализняком и его соратниками предположительного отсутствия в древненовгородском диалекте 2-ой, а частично и 3-ей палатализации задненёбных в качестве объяснения диалектного окончания *-e* в именительном падеже существительных мужского рода (старые основы на *-o*) подходило только это объяснение. Но это грамматическое явление было уже раньше гораздо убедительнее объяснено А.И. Соболевским как совпадение звательного падежа с именительным [Соболевский 1907: 192]. Неверно также, когда говорят, что в других славянских языках нет надежных параллелей этому явлению. Уже Ф. Миклошич пишет об этом в своей "Сравнительной грамматике славянских языков" 1868–1874 гг.: "Der Vokativ vertritt den nominativ, ..., *nsl.* sehr selten: *mu odpisal je Adame. volksl. 2. 54. serb.* sehr häufig: *jedno bješe Vukašine kralju, pjesm. 2.26. i š njim bješe Begane serdare. 5. 385. ali ranjen zmaje odgovara. 5. 449. mače vojsku erceže Stepane. volksl. kluss. Jakže meñi ne žurit' ša, koŭy pō mnoju buŭanjy koñe i rže j stanovyť ša oj krjače, krjače, čorneñkyj voron da na htybokōj doŭrñi: oj plače, plače moŭodyj kozače na konyku na voronom. vōd toho j šoho, od inoho čoho bože nam pomože. maksym. 1.2. 121. 146" (IV. Bd. Syntax, S. 370)⁵.*

Было бы совершенно необычно, если бы во всех этих случаях речь не шла бы об одном и том же грамматическом явлении. Оно выступает в древненовгородском диалекте благодаря многочисленным находкам на бересте лишь в более выраженной форме. Кроме того, окончание *-e* распространено здесь дополнительно также на соответствующие согласованные части речи (прилагательное, местоимение, прича-

⁵ Ср. в этом отношении и у Е.Ф. Карского: "Современная живая белорусская речь звательных в роли именительных не знает: но зато в песенной речи, как в малорусском наречии и сербском языке, подобное употребление довольно обычно" [Карский, II, 2: 160].

стие – *лихе, быле, рекле, въхе, саме* и т.д.), что, впрочем, отнюдь не столь необычно и труднообъяснимо, как полагает Зализняк (“Но чрезвычайно трудно объяснить, каким образом окончание звательной формы, актуальной лишь для части существительных, смогло вытеснить исконное окончание и. падежа не только у всех существительных, но также у местоимений, прилагательных и причастий. Едва ли можно указать какие-либо типологические аналогии подобной экспансии” [Зализняк 1995: 129]). Но непосредственную параллель находим в самом русском, где, как известно, именительный и звательный также совпали, с той разницей, что здесь наоборот звательный заменен именительным. То же самое развитие известно также в нижнелужицком (ср. *mój luby bratš*, им. и зв. пад. ед.ч.) и, вероятно, также в верхнелужицком, в котором обладающее более позднее звательное окончание *-o* (*bratro, nano, syno, wujo* и т.д.), наряду с более поздним *-e* (*bratfe, wólce*), вопреки традиционному мнению [Mucke 1891: 318], не происходит из основ на *-a*, а восходит к древнему именительному на *-o* типа др.-русск. *батько, Иванько* и т.д.

Тот факт, что в соответствующих севернорусских диалектных формах отсутствует ожидаемый эффект палатализации с последующей ассибиляцией заднеязычного (*братьке, дружьке*), связан как раз с тем, что и здесь первоначальные палатальные шипящие утратили свой спирантный компонент и подверглись замене палатальными заднеязычными (*čʷ, šʷ, žʷ > kʷ, xʷ, gʷ*), благодаря чему была усилена и тенденция выравнивания основ в рамках именной парадигмы. Проблема заключается в том, что в данном случае речь идет не о 2-ой и 3-ей палатализации, а о 1-ой палатализации, в рамках которой замена палатальных шипящих вторичными палатальными заднеязычными (если следовать ходу мыслей Зализняка) не засвидетельствована. Правда, в этом отношении следует обратить внимание на примеры, приводимые из севернорусских диалектов [Николаев 1987: 129–130], в которых принимаемый нами эффект депалатализации выступает также в условиях после 1-ой палатализации, ср. *выхла < вышла, сухеть < сушить, сплохить < сплошить, мокить < мочиться, волокить < волочить, волхобница < волшебница, пороха < пороша (*porx-ja)*. Впрочем, возможно также, что в настоящем случае твердый заднеязычный согласный перед *e* предвзывает собой лишь результат проведенного выравнивания основ под влиянием случаев вроде на *Лугъ, на Нежке*.

Все прочие возможности объяснения этого интересного древнерусского грамматического феномена, обсуждаемые Зализняком, не выдерживают серьезной научной проверки. Это касается и попытки возвести древнерусское номинативное окончание *-e* в связи с работой [Vermeert 1994] к именительному падежу древних основ на *-jo-* ([Крысько 1994б: 20]: “...как результат присущего древненовгородскому диалекту влияния мягкой разновидности на твердую (*батьке < *batъko* под влиянием *коне*”). В двух свидетельствах, названных им в качестве возможных доказательств – *муже* и *Гюрге* – речь могла бы идти, по нашему мнению, просто о более поздних вторичных (письменных) формах, в которых флексия *-e* употреблена под влиянием древних твердых основ на *-o*. Помимо прочего, окончанием именительного падежа основ на *-jo-* было *-ъ* (< и.-е. **-jos*), а не *-e*, которое тоже предполагает смягчение предшествующего согласного, которого, однако, не произошло.

Согласно Зализняку [Зализняк 1995: 128], дальнейшее доказательство представляемой им гипотезы дославянского происхождения окончания *-e* следует из того факта, что древненовгородский диалект обнаружил не только материальные, но и структурные отличия от остальных славянских языков, поскольку в нем, как повсеместно в индоевропейском, с самого начала существовало четкое различие между именительным и винительным падежами (“Отсюда следовало, что в др.-новг. диалекте склонение *o-masculina* отличалось от остальных славянских диалектов не только материально [*-e* вместо *-ъ*], но и структурно: здесь сохранилась свойственная древним индоевропейским языкам оппозиция и. ед. муж. и в. ед. муж. (подобно греч. *λύκος – λύκου* санскр. *rāt-*

hañ – rátham и т.д.), тогда как в остальном славянском мире и ед. и в. ед. муж. совпали [ср. ст.-сл. ГРАДЪ, станд. др.-р. *gorodъ* и т.д.]⁶). Но это явный порочный круг, поскольку исходным является предвзятое мнение, что в древнерусских формах типа *Иванъке, хлѣбе* и т.д. представлены изначальные номинативные формы, что отнюдь не доказано.

С нашей концепцией вторичного, а не праславянского характера встречающихся в древненовгородском диалекте палатальных заднебных согласных *g', k', x'* (*γ'*) в связи со 2-ой и, частично, также 3-ей палатализацией, а также с развитием **d + j*, **t + j* и **s + j*, **z + j*, равным образом – с толкованием окончания *-e* в именительном пад. существительных мужского рода как внутреннего падежного выравнивания в севернорусском, естественно, связана и особая позиция в отношении утверждения Зализняка о том, что язык древних севернорусских кривичей не был собственно восточнославянским диалектом, но что в ряде случаев его надлежит возводить непосредственно к праславянскому, то есть в известном смысле это был особый славянский диалект (“В целом древненовгородский предстает как сильно обособленный славянский диалект, отличия которого от других восточнославянских диалектов в части случаев восходят к праславянской эпохе” [Зализняк 1995: 51]). Однако подобное допущение, не говоря уже о неприемлемых, на наш взгляд, лингвистических аргументах, едва ли состоятельно и по историческим соображениям. Ибо это означало бы, что праславяне-носители древнесевернорусского кривичского диалекта должны были отделиться от совокупности праславянского этноса еще до начала позднепраславянской фонетической эволюции, связанной со 2-ой и 3-ей палатализацией, то есть самое позднее – до II–III веков н.э., и занять свои позднейшие места расселения в районе современного Пскова и Новгорода. Но это весьма невероятно, поскольку вряд ли прослеживается также археологически и исторически. Все говорит о том, что интенсивный процесс миграции праславянских племен в новые места обитания начался едва ли раньше VI в. (ср. также [Седов 1994: 9–10]). С другой стороны, бесспорно, что (древне)русские диалекты Пскова и Новгорода представляли собой особую северозападнорусскую диалектную группу, отличавшуюся рядом языковых особенностей, неизвестных прочим русским (восточнославянским) диалектам. Речь идет:

(1) о диссимильтивном рефлексе праславянских групп согласных **dlf' tl > gl, kl'*, альтернативно – в виде рефлекса *l* (известно также в нижнелужицком [Schuster-Sewc 1997: 252–253], среднесловацких диалектах [Ondrus 1962: 70–74], а в отдельных случаях и в польском [Taszycki 1961: 259–274]);

(2) о так называемом “цокании” (известном также в нижнелужицком, полабском и польском, в последнем – в связи с переходом *š, ž > s, z*);

(3) о широкой *ä*-образной артикуляции праслав. **ě* (известной также в лехитском, болгарском и в ослабленной форме также в нижнелужицком [Schuster-Sewc 1998]);

(4) о так называемом “вторичном полногласии” (известном в аналогичной форме также в польском, верхне- и нижнелужицком [Schuster-Sewc 1997: 259]);

(5) о существовании славянского диалектного личного окончания *-me* (известно также в чешском и словацком, болгарском, македонском и диалектно – в нижнелужицком [Schuster-Sewc 1998: 37]);

⁶ Приводимое в этой связи Зализняком севернорусское название рыбы *клец* “лещ *Cyprinus brama*” проблематично, поскольку в нем начальное *kl-*, вероятно, изначально, ср. также польск. *leszcz* наряду со ст.-польск. *kleszcz* и н.-луж. *klešć* “вид леща *Abramis brama*”, Чешская форма *dlešť* имеет вторичное *dl-*, как свидетельствует вариантность чеш. *tlama* “морда, пасть”, *tleskati* “хлопать”, при в.-луж. *klama, kleskać*, н.-луж. *klaskaš*. Кроме того, в верхнелужицком в отличие от нижнелужицкого, переход *tl > kl* совсем не известен. По нашему представлению, реконструируемое *klešć* основано на и.-с. **kleik-* “жать, давить, мять, ущемлять” (ср. [Pokorny 1949–1959: 602]). Отпадение начального *k-* в польск. *leszcz*, русск. *лещ* в таком случае объясняется, как в польск. *leszczotki* “расщепленное дерево для кастрирования животных”, наряду с *kleszczyc* “кастрировать” или польск. диал. *leszczęć* “звенеть, звучать”, русск. диал. *лещать, лещкать* “хлопать, шлепать”, при в.-луж. *kleskać* “сплетничать, болтать”.

(6) о встречающихся наряду с формами полногласия отдельных свидетельствах простой метатезы плавных **TāIT*, **Tārt* > *TloT*, *TroT* (вместе с польским и серболужицким);

(7) о существовании причастий наст. вр. действ. на -*ja* < **ǝ* (*река, веда*), известных в такой форме также в серболужицком (в.-луж. *wjedžo* < **vede*, н.-луж. стар. *chwataje* < **xwataje*) и старосербском (*несе, може*);

(8) об общем праславянском лексическом диалектизме **stǫrvъ* (др.-русс. *сторовъ* “здоровый”, в.-луж., н.-луж. *strowy* и ст.-польск. *strowy*) и др.

Относительно древними и хронологически тоже, возможно, близкими к названным позднепраславянским инновациям являются, естественно, также древнерусский переход *č, š, ž > k', x', g'* и совпадение звательного с именительным падежом основ на -*o*, тоже с возможными параллелями в диалектах-предшественниках южнославянского (македонский, сербохорватский).

Названные выше диалектные особенности древнесевернорусского диалекта Пскова и Новгорода, отличные от собственно восточнославянского (причем речь идет не только о более поздних типологических соответствиях), объяснимы, по нашему мнению, только таким образом, что лежащие в их основе праславянские диалекты-предшественники находились в рамках славянской прародины в диалектной зоне, в которой, наряду с диалектами-предшественниками позднейшего восточнославянского, участвовали также диалекты-предшественники лехитского (особенно восточнолехитского), серболужицкого, а также частично – позднейшего южнославянского. Аналогичную концепцию, впрочем, выдвигали уже такие русские лингвисты, как А.А. Шахматов [Шахматов 1913: 5] и А.И. Соболевский [Соболевский 1912: 48].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Глушкина С.М. 1968 – О второй палатализации заднеязычных согласных в русском языке (на материале северо-западных говоров) // Псковские говоры. Псков, 1968.
- Зализняк А.А. 1988 – Древненовгородский диалект и проблемы членения позднего праславянского языка // Славянское языкознание. X Международный съезд славистов. София, сентябрь 1988 г. Доклады советской делегации. М., 1988.
- Зализняк А.А. 1995 – Древненовгородский диалект. М., 1995.
- Карский Е.Ф. – Белорусы. Т. I. Варшава, 1904; II. Вып. 2. Варшава, 1911.
- Крысько В.Б. 1994а – Заметки о древненовгородском диалекте. II палатализация // ВЯ. 1994. № 5.
- Крысько В.Б. 1994б – Заметки о древненовгородском диалекте. *Varia* // ВЯ. 1994. № 6.
- Николаев С.Л. 1987 – Следы особенностей восточнославянских племенных диалектов в современных великорусских говорах. 1: Кривичи // Балто-славянские исследования. 1986. М., 1987.
- Николаев С.Л. 1989 – Кривичи (окончание) // Балто-славянские исследования. 1987. М., 1989.
- Седов В.В. 1994 – Восточнославянская этноязыковая общность // ВЯ. 1994. № 4.
- Соболевский А.И. 1907 – Лекции по истории русского языка. М., 1907.
- Соболевский А.И. 1912 – Лингвистические и археологические наблюдения. Вып. II. Варшава, 1912.
- Шахматов А.А. 1913 – К вопросу о польском влиянии на древнерусские говоры // РФВ. 1913. № 1.
- Янин В.Л., Зализняк А.А. 1986 – Новгородские грамоты на бересте (из раскопок 1951–1983 гг.). М., 1986.
- Birnbaum H. 1997 – *International journal of Slavic linguistics and poetics*. V. 41. 1997.
- Glushkina Z. 1966 – О drugiej palatalizacji tylnojęzykowych // *Slavia orientalis*. T. XV. № 1. 1966.
- Mücke K.E. 1891 – Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der niedersorbischen (niederlausitzisch-wendischen) Sprache. Mit besonderer Berücksichtigung der Grenzdiaklekte und des Obersorbischen. Leipzig, 1891.
- Ondrus P. 1962 – *Zmena tl, dl na kl, gl v stredoslovenských nárečiach* // *Jazykovedný časopis*. 1962. R. XIII. Č. 1.
- Pokorny J. 1949–1959 – *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*. Bern; München, 1949–1959.
- Schuster-Sewc H. 1993 – Noch einmal zur Datierung und zu den Ergebnissen der 2. Palatalisation der Velare im Slawischen mit besonderer Berücksichtigung des Altrussischen // *Slavistische Studien zum XI internationalen Slavistenkongress in Pressburg / Bratislava, Köln; Weimar; Wien, 1993*.

- Schuster-Šewc H.* 1997 – Die Wirkung des Gesetzes der Silbenöffnung im Späturslawischen und seine Rolle bei der Herausbildung slawischer Mikrodiaklekte // *ZfSl.* V. 42. 1997.
- Schuster-Šewc H.* 1998 – Die späturslawischen Innovationen und ihre Widerspiegelung in der Isoglossenstruktur des Sorbischen (ein Beitrag zur Dialektologie des Späturslawischen) // *Lët.* 45. 1. 1998.
- Stieber Z.* – Druga palatalizacja tylnojęzykowych w świetle atlasu dialektów rosyjskich na wschód od Moskwy // *RS.* Roč. XXIX. Ses. 1.
- Taszycki W.* 1961 – O gwarowych formach mgleć, mgły, moglić się itp. Rozdział z historycznej dialektologii polskiej // *Studia z filologii polskiej i słowiańskiej II.* Перепечатано в: W. Taszycki. Rozprawy i studia polonistyczne II. Wrocław, 1961.
- Vermeer W.* 1994 – On explaining why the Early North Russian nominative singular in *-e* does not palatalize stem-final velars // *RLing.* 1994. № 2.

© 1998 г. К.Г. КРАСУХИН

АКЦЕНТОЛОГИЯ В ПРЕДЫСТОРИИ ИНДОЕВРОПЕЙСКИХ ЯЗЫКОВ*

*Светлой памяти моего учителя,
замечательного лингвиста
Олеги Сергеевича Широкова*

0. В течение 10 лет автор этих строк развивал гипотезу о наличии в общиндо-европейском языковом состоянии особой категории, существовавшей на стыке акцентуации, морфологии и синтаксиса – аблаутно-акцентной парадигмы (ААП) [Красухин 1989; 1990; 1996; Krasuchin 1996; 1997; 1998]. В рамках этой парадигмы противопоставлялись конечноударные (окситонные) и неконечноударные (баритонные) словоформы. Последний гласный словоформы проявлялся под ударением и редуцировался в безударном положении. В грамматической форме он играл роль либо элемента флексии, либо (при переразложении основы) тематического гласного. Соответственно корневой гласный был полнозвучным под ударением, без ударения же он редуцировался и синкопировался там, где синкопу допускало фонетическое окружение (например, перед сонорным). Баритонные формы являлись независимыми членами предложения, окситонные – зависимыми. В рамках глагольного словоизменения первые обозначали активное действие, направленное вовне агента, вторые – внутреннее состояние субъекта (претерпевание или потенцию), внешний процесс или действие, направленное на субъект высказывания. Также модальные (т.е. выражающие зависимость от ситуации и волеизъявления) глагольные формы восходят, по-видимому, к окситонным прототипам: об этом свидетельствует суффикс конъюнктива, идентичный тематическому гласному. В системе имён баритонные формы обозначали номинатив (падеж субъекта), аккузатив (падеж предела), локатив (падеж местонахождения), окситонные – генитив (падеж принадлежности) и датив (падеж заинтересованного лица). При этом аблаутно-акцентные отношения были достаточно просты: ударным и полногласным оказывался либо последний гласный основы, за которым следует непосредственно флексия, либо последний гласный основы (корня или суффикса), что видно из прилагаемой таблицы.

I. Имя		II. Глагол	
1a) *diéu-s	1b) *diuó-s	1a) *dhéugh-t(i)	1b) *dhughé-i
2a) *diéu-m	2b) *diuó-m	2a) *kl-néu-t(i)	2b) *kl-nu-tó(i)
		*véid-t(i)	*vid-tó(i)
3a) *diéu-i	3b) *diué-i	3a) *k ^u ér-t	3b) *k ^u er-e-t < *k ^u er-ét

I 1a) номинатив vs. I 1b) – генитив; I 2a) аккузатив vs. I 2b) генитив (по-видимому, изначально объективный), I 3a) локатив vs. I 3b) vs. датив. II 1a) актив vs. II 1b) нестандартный (бездентальный) меди; II 2a) актив (суффиксального и корневого глагола) vs. II 2b) стандартный (дентальный) меди; II 2a) индикатив vs. II 2b) конъюнктив.

* Материалы для этой статьи были в значительной мере собраны во время командировки в Гарвардский университет осенью 1995 г., осуществленной при поддержке фонда IREX. Я также чрезвычайно признателен проф. К. Уоткинсу, проф. Дж. Ясанову и проф. Г. Надю за содержательное обсуждение некоторых из рассматриваемых в данной публикации вопросов.

Нахождение общих грамматических способов и процессов в глаголе и имени может выглядеть парадоксально. Однако изучение отглагольных имён (инфинитивов, герундиев и супинов) показало, что категория ААП прослеживаются и в этой подсистеме [Красухин 1996]. В ведических инфинитивы с суффиксом *-i* (по происхождению локативы отглагольных имён) обозначают наличие и реализующееся действие, а с суффиксом *-e* (дативы) – потенциальное, предполагаемое и должное. Аналогично в хеттском реальное действие выражено инфинитивом с суффиксом *-uar* (атематическое отглагольное имя), которому противостоит так называемый герундий на *-uas* (тематизация простого суффикса *-u-*) со значением долженствования. В латыни суффикс *-re* (<*-si, локатив имени на *-s*) образует инфинитив активных глаголов, *-rī* (<*-se-i, датив имени на *-s*) – инфинитив медиопассивных и отложительный (т.е. стативных) глаголов. Иными словами, изначально баритонные и окситонные именные флексии образуют в глагольной парадигме именно те значения, которые предписываются правилами ААП, что, на наш взгляд, является серьезным доказательством ее реальности. Концепция ААП была подготовлена довольно большой исследовательской традицией. Морфологическая функция аблаута и акцента была впервые изучена Г. Хиртом [Hirt 1900]; связь окситонезы с адъективацией и формированием стативных глаголов была прослежена Е. Куриловичем [Kuryłowicz 1956; 1964], а также Ф. Бадер [Badcr 1976; Бадер 1989]; семантика тематизации исследована Т. Барроу [Barrou 1976]. Первый набросок этой теории (без соответствующего термина) см. в [Широков 1983].

1. Во всех приведенных примерах окситонеза осуществлялась благодаря передвижению акцента на ауслат словоформы или ее основы, т.е. либо на абсолютный конец слова, либо на последний гласный перед корнем. Но существует ряд явлений в именной и глагольной флексии, не полностью укладывающихся в эту простую схему. Они и составляют предмет данной работы.

1.1. В 1968 г. появилась обстоятельная статья И. Нартен, посвященная древнеиндийским глаголам, не допускающим окситонезу и/или редукцию корня, – так называемым протеродинамическим презенсам (позднее их стали называть также акростатическими или акродинамическими). Все они характеризуются тем, что "сильная" форма (актив единственного числа) у них имеет продленную ступень корневого вокализма, а "слабая" (медий и множественное число) – полную¹: *stāuti* "хвалить" – медий *stāve*; *āste* "сидеть" (medium tantum) – мн.ч. *āsate* (**ās-ṅte*); всего в статье И. Нартен упомянуто 9 "протеродинамических" корней. Работа эта получила большую популярность. Исследователи стали находить следы "протеродинамических" презенсов и в других языках. По мнению Н. Эттингера, в хеттском они реализуются как глаголы с аблаутом *ela*: *ekuzi* – *akuṣanzi* "пить", *esari* – *assanzi* "сидеть" (родственно др.-инд. *āste*), *epzi* – *appanzi* "брать", *edmi* – *adanzi* "есть, поедать". Другие "акростатические" глаголы характеризуются аблаутом *ēle*, непосредственно воспроизводящим чередование продленной и полной ступени: *uēkzi*, *uekkanzi* "желать" [Oettinger 1979]; эту пару, однако, можно считать репрезентацией ударного/безударного корневого гласного: **uēk-li*, – **uēk-óni*, так как ударение в хеттском закрытом слоге может передаваться долготой. Существуют работы, посвященные следам "акростатического" презенса в латыни, ср. *ēst* "он ест" – *edunt*. Некоторые ученые рассматривают подобный тип глагольной основы как самостоятельную грамму, образующуюся от стандартных основ. По мнению Г.Т. Рикова [Rikov 1986; 1987], этот тип презентной основы сочетался с флексиями так называемого дуративного спряжения, реконструированными В.И. Георгиевым: **-e*, **-eis*, **-ei* (непосредственно отражены в

¹ Множественное число атематического глагола характеризуется окситонностью: др.-инд. *hán-ti* "он убивает" – *ghn-ánti* "они убивают", хетт. *kuen-zi* – *kun-anti*. В атематических именах ударение в прямых падежах (номинативе и аккузативе) не меняется, но флексия приобретает полную ступень вокализма: др.-инд. *pát* (<*-péd-s) "нога" – *pádah* "ноги", греч. ποῦς – πόδες, лат. *pes* – *pedes*. Эти передвижения акцента, по видимому, не связаны с ААП, они отражают какой-то иной грамматический процесс. В "протеродинамических" презенсах передвижение акцента не действует и в плуралисе.

греч. -ω, -εις, -ει, также лит. -ū, -i, -a) [Georgiev 1975]. В. Георгиев предположил, что глагол с такими флексиями мог иметь дуративное значение, возможно, близкое к англ. Present Continuous; по мнению Г. Рикова, это значение было выражено также характером основы (продленной ступенью корня, отсутствием редукции). Дж. Ясанов посвятил одну из своих статей реконструкции "нартеновского презенса" с *o* ступенью в единственном числе и *e* – во множественном, ср. хетт. *saggahhi* "я знаю", *sakti* "он знает" – *sekten* "знайте" [Jasanoff 1992]; в своем сообщении, прочитанном 17.XI.1995 на Семинаре по итальяским и индоевропейским языкам Гарвардского ун-та исследователь предположил, что латинский перфект на долгий гласный, возникший не как полная ступень дифтонга и не как результат редупликации, есть имперфект "нартеновского презенса" (ср. *sedo, sedeo* – *sēdi, venio* – *vēni, lego* – *lēgi*).

Решение вопроса о происхождении протеродинамического презенса требует внимательного исследования всех корней, в которых он образуется. К этому вопросу мы вернемся чуть позже, пока же отметим следующее. "Протеродинамические" глаголы отличаются от обычных атематических отсутствием редукции. Но системные отношения сильных и слабых форм в них таковы же, как в атематических; они выражаются пропорцией $\tilde{e} : \tilde{e} = \tilde{e} : 0$ (иначе *vṛddhi: guṇa = guṇa : 0* ступень). Древнеиндийские корневые глаголы могут быть описаны следующим образом: I. Атематические глаголы; а) "протеродинамический" презенс с неподвижным корневым ударением, апофонией *vṛddhi* vs. *guṇa*; б) обычные атематические презенсы и подвижным корневым ударением, апофонией *guṇa* vs. 0 ступень. II. Тематические глаголы с неподвижным корневым ударением, без апофонии, а) с ударным корнем (тип *bhárati*), б) с ударным тематическим гласным, гесп. 0 ступенью корневого вокализма (тип *tudáti*). К этой схеме могут быть сведены не только презенсы, но и иные временные системы. Так, сигматический аорист подобен "протеродинамическому" презенсу, атематический аорист и перфект – обычному атематическому презенсу, тематический аорист – соответственно тематическому презенсу. Оставляя пока в стороне вопрос о том, насколько эта система отражает общиндоевропейский глагол, отметим все же, что само сопоставление фактов наводит на мысль о том, что "протеродинамический" презенс мог возникнуть как результат аналогических процессов.

1.2. Значительно большей сложностью отличается акцентуация имени. Еще в 20-е гг. нашего века Х. Педерсен обратил внимание на то, что некоторые атематические имена, в частности, отразившиеся в V латинском склонении, лишены обычного аблаута [Pedersen 1926]. В 1942 г. Ф.Б.Й. Кёйпер исследовал индийские и индоевропейские *i*- и *u*-основы, значительная часть которых, особенно прилагательные и имена одушевленных существей склоняются совсем не так, как атематические основы на согласный: они образуют так называемый протеродинамический генитив, где ударение падает на гласный перед *i*, *u*. Кёйпер пришел к выводу о том, что их флексия отражает архаизм, несводимый к окончаниям атематических имен. [Kuiper 1942]. Ср. *agníh* – род. п. *agnéh* (<*agnáis), *sunúh* – *sunóh* (<*sundús), ср. лит. *sunùs* – *sunáus*, слав. *сынъ* – *сыноу*. Различные акцентные модели, начиная с 60-гг., имен стали предметом пристального исследования представителей так называемой Эрлангенской акцентологической школы. Среди ее представителей следует отметить в первую очередь Й. Шиндлера (1944–1994), основоположника этого направления, чья диссертация, защищенная в 1972 г., до сих пор не опубликована; также Х. Айхнера, давшего емкое и компактное изложение основных понятий этой школы, Г. Рикса, составившего историческую грамматику греческого языка на основе положений Эрлангенской школы [Rix 1976]; также А. Баммесбергера, Н. Эттингера, голландца Р.С.П. Бекеса, написавшего на тех же принципах историю индоевропейского склонения [Beekes 1985] и введение в индоевропеистику [Beekes 1995]. В нашей стране сторонником эрлангенской школы является Л.Г. Герценберг, объяснивший наблюдаемые феномены особенностями реконструированного им индоевропейского ударения [Герценберг 1981; 1988]. В первой публикации, посвященной нестандартным акцентным моделям, Шиндлер [Schindler

1967] рассматривает известную хеттскую формулу *nekuz mehur* как содержащую не обособленное имя ("ночь – время" [Иванов 1965; Watkins 1965]), а генитив. Иными словами, форма *nekuz* <**nekut-s* <**nek^ut-s* трактуется как синтаксически закономерный, но формально необычный генитив от номинатива **nok^ut-s*: лат. *nox*, др.-инд. *náktam*, лит. *naktis*, гот. *nahts* и т.д.² Иными словами, форма со ступенью *e* рассматривается как показатель "слабого" падежа. Такой вывод позволяет значительно пересмотреть соотношение различных ступеней вокализма. Так, греч. *πούς, ποῦς* обобщило основу номинатива (основа косвенного падежа – микен. (PY Ta 709) *pede-wesa* *πεδεφεσσα* <**πεδεφευτια* "снабженная ногами" – эпитет жертвенника³), лат. *pes, pedis* – основу косвенного падежа. На этом основании предлагается следующая модель склонения: у корней структуры (T)RT номинатив (T)oRT/(T)RoT vs. генитив (T)RT; при структуре (T)Y номинатив (T)oY, генитив (T)eY. Далее основы могут выравниваться по аналогии. Греч. *γλῶχες* "шипы", мн.ч. от незасвидетельствованного **γλῶξ* (<**g^uloəgh*) с полной ступенью закономерно соотносится с 0 ступенью в ион. *γλῶσσα* (<**g^uləgh-ia*); атт. *γλῶττα*, resp. форма койнэ *γλῶσσα* – результат выравнивания основ. К генитивам такого же типа Шиндлер относит и общеиндоевропейскую формулу, отразившуюся в греч. *δεσπότης*, др.-инд. *dāmpati*/вед. *patir dān*, авест. *dəng patoiš* <**déms pātis* "владелец дома, господин". Соответственно бесфлективный локатив характеризуется той же ступенью *e*: греч. *ἀιφέξ/αιφέν* "всегда" в сравнении с номинативом *αἰών* "век". Подобный же локатив, хорошо известный в ведическом (*uddān* "в воде", *hēman* "зимой"), возможно, отражен и в др.-ирл. *bri* "на холме" (<**bhrēgh#* или **bhr̥gh#*). Шиндлер реконструирует склонение атематических имен с неподвижным ударением следующим образом:

Nom * <i>nok^ut-s</i> (лат. <i>nox</i>)	* <i>dom</i> (гомер. <i>δῶ</i>)
Gen. * <i>nek^ut-s</i> (хетт. <i>nekuz</i>)	* <i>dems</i> (греч. <i>δεσ-</i> , авест. <i>dəng</i>)
Acc. * <i>nok^ut-m</i> (лат. <i>noctem</i>)	* <i>dom (-m)</i>
Loc. * <i>nek^ut</i> (форма не засвидетельствована)	* <i>dem</i> (форма не засвидетельствована)

Генитив *nekuz* Шиндлер сопоставлял также с генитивами (встречающимися в тексте договора Маддуваттаса), как *Nunnus, Taruhsus*. Однако Фридрих [Фридрих 1952, 47] отмечает, что эти генитивы возникли как результат внутривхеттской редукции, и об особом "акростатическом" генитиве здесь речи быть не может.

Х. Айхнер в статье, посвященной этимологии хетт. *mehur* "время", предложил разбить корневые имсна на акростатические, мезостатические и телевстатические (с неподвижным ударением в начале, середине и конце слов), голокинетические (с подвижным ударением), парциально-кинетические, подразделяющиеся на: протерокинетические (с чередованием ударения на корне и суффиксе), гистерокинетические (ударные суффикс и окончание), амфикинетические (ударные корень и окончание) [Eichner 1973]. Сходную классификацию предложил Г. Рикс: акростатические имена он назвал акродинамическими, протерокинетические – протеродинамическими, голокинетические – амфидинамическими, гистерокинетические – гистеродинамическими⁴. В особую группу Рикс выделил "мезодинамический" тип с неподвижным ударением – т.е. тематические основы и основы на *-a-*.

² К. Уоткинс в настоящее время признал эту интерпретацию (устное сообщение), хотя в своей работе 1965 г. он рассматривал хетт. *nekuz* как аналог лат. *nox* в наречном значении.

³ Сам жертвенник обозначен именем *sowineja*, производным от *sowanō*; предполагается возможная связь с *ξόανον* "деревянное изделие".

⁴ Пример акродинамической формы – **déa-ter/!déa-tyz* (греч. *δαῖτωρ*, др.-инд. *dātar/datúr*); протеродинамической – **suéadu/!suədəus* (греч. *ἑδύς/ἑδῆος*, др.-инд. *svādus/svadās*), гистеродинамической – **ur-én/!ur-n-és* (греч. *ἄρην/ἄρηνος*), амфидинамической – **uek-ent-luk-ut-és* (греч. *ἑκόν/ἑκόντος*, др.-инд. род.п. *ucutās*).

Теорию для интерпретации всех этих феноменов предложили Л.Г. Герценберг и В. Хок. По мнению Л.Г. Герценберга [Герценберг 1981; 1989а], индоевропейская морфема могла характеризоваться высоким (притягивающим акцент) или низким (отталкивающим акцент) тоном. В зависимости от сочетания морфем формировался акцентный контур словоформы. Акростатический тип сформировался из сочетания высокого и низкого тона, протеродинамический – из сочетания двух высоких тонов, гистородинамический – низкого и высокого, амфикинетический (голокинетический) – двух низких тонов. При соотношении подобной схемы с обычным атематическим склонением естественно возникает вопрос: каким тоном обладали морфемы окончаний косвенных падежей? Если низким, то почему они притягивали к себе ударение с корня? Если высоким, то как могли возникнуть односложные акростатические формы типа **dém̄s*? Модель В. Хока [Hock 1993-1994] сложнее. Автор отмечает прежде всего тенденцию к окситонности в индоевропейской словоформе. Параметры акцентологии следующие: "сильные"/"слабые" морфемы, первые делятся на динамические, способствовавшие иммобилизации ударения, и нединамические, не приводившие к ней. Динамические морфемы подразделялись на преакцентные (удерживающие ударение после себя), постацентные (ударение перед ними) и акцентные. При сочетании двух "сильных" и двух "слабых" морфем ударение падало на последнюю; то же происходило при сочетании постацентной и преакцентной морфемы. В статье Хока сделана попытка вывести из этих тоновых характеристик все особенности акцентуации большинства грамматических форм, которые сведены в специальную таблицу. Эта работа солидно документирована, в ней нет стремления вместить индоевропейское ударение в прокрустово ложе одного-двух параметров.

Но при привлечении нового материала и концепция Хока не объясняет всех явлений. Обратившись к типу *bhárati/tudáti* в древнеиндийском глаголе, Хок полагает, что корень *bher-* является акцентным, *tud-* – преакцентным, а тематический гласный – постацентным. Но если бы это было так, то следовало бы ожидать, что корень **bher-* всегда был бы ударным и характеризовался полной ступенью вокализма, **tud-* – наоборот. Но нам хорошо известны примеры, противоречащие такому утверждению. Ср. греч. φάρμακον (<**bhr̥-*) "лекарство", δῖ-φορος "повозка"⁵. Корень же *tud* обнаруживает полную ступень в перфекте *tutóda*, пофонемно соответствующем лат. *tutūdi*. Акцентуация древнеиндийского перфекта заставляет предположить праформу **téud-e*. Ср. также корневое имя *todá* "погонщик; жало" с полной ступенью, несмотря на окситонность. Идентичные, но по-разному акцентированные морфемы Хок разделяет. По его мнению, суффиксы *nom̄inum agentis* *-ter* и *-tér* (др.-инд. *dāt̄ar/dāt̄ár*, греч. δῶτωρ/δοτήρ) – разные морфемы, так же, как суффикс *'-e/-o-*, трактуемый как показатель *nom̄inis actionis*, и *-é-* (суффикс *nom̄inis agentis* и *rei actae*). Безударные морфемы Хок именует постацентными, а их ударные варианты – доминантными. Такое описание по сути означает признание системы, близкой к тому, что мы называем ААП. Идентичные по фонемному составу морфемы формально различаются ударностью/безударностью, а содержательно – своей функцией. Считать же место ударения характеристикой словоформы в целом или отдельной морфемы – это при отсутствии экспериментально-фонетических данных скорее вопрос терминологии. Некоторые косвенные аргументы могут быть получены путем стандартной логической верификации. Представляется, что признание морфем **-ter/-tér*, **-e/-é-* разными языковыми единицами не отвечает известному требованию, именуемому "бритвой Оккама": сущности не должны умножаться без необходимости. Поэтому более

⁵ Следует отметить, что корни структуры TeR и TeT вообще редко принимали участие в апофонических чередованиях. Редукция гласного происходила обычно при наличии префикса или суффикса, когда в основе появляется дополнительный гласный. Ср. др.-инд. *pat*, род.п. *padāḥ*, редуцированная основа – *upá-bdā* (<**upo-pd-as*) "шум", греч. ἔ-σχοι "я овладел", Гл.м.ч. σχόμεν. Гл.оптатива σχόλι, инфинитив σχεῖν < σχέ-ειν. Исключение из общего правила – императив σχεε, но у императива всегда есть тяготение к краткой форме. Таким образом, корень типа TT и TR может возникнуть по преимуществу в основе TeTeT(e). Это обстоятельство, по-видимому, и создало иллюзию корня с неподвижным ударением.

удобным представляется такое описание, которое бы признало их акцентологическими вариантами единой праформы с более широким значением. Вопрос же о полной реальности реконструкции относится не к науке, а к убеждениям ученого. Поэтому при решении дилеммы реконструкции предпочтительнее более компактное описание реконструированных данных.

Добавим также, что характер ряда морфем Хок определил неполно. Так, бесспорно акцентным он считает суффикс причастия и отглагольного прилагательного *-tó-. Действительно, оно во всех языках присоединяется к корню в 0 ступени и ударно всюду, где сохранились следы древнего силового ударения. Но в греческом прилагательным на -tó- соответствуют существительные на '-то-: потός "пьяный" – πότος "пьянство, попойка", кúρτός "изогнутый" – кúρτος "кривизна". Определение морфемы *pominis actionis* *-ti- как слабой также не объясняет окситонезы др.-инд. *bhṛtis, matls*, лит. *miniis* пофонемно соответствующего последнему.

Таким образом, даже такая тщательная работа не объясняет всех передвижений индоевропейского акцента с позиции тоновой теории. Попробуем взглянуть на проблему с иной точки зрения.

2. При обзоре группы "акростатических" презенсов бросается в глаза ее неоднородность. Основная черта, их характеризующая, – это отсутствие 0 ступени корня в "слабых" формах. В зависимости же от репрезентации "сильных" форм их можно разделить на следующие группы. А. Формы, всюду сохраняющие полную ступень: 3 л. ед. ч. *çáye* – мн. ч. *çeré* "лежать", 3 л. ед. и мн. ч. *óhate* "наблюдать", 2 л. императива *cáksi*, 3 л. ед. ч. *cáste*, 3 л. мн. ч. имперфекта *çaksur*, также ср. тематический презенс *çaksati; vástē/vasate* "одеваться". Корни *çáye, vástē, óhate* суть *media tantum*; корень *caks* в атематическом спряжении – также. В. Корни с продленной ступенью в "сильных" и "слабых" формах: *āste – āsate* "сидеть", *çāsti/çāsate* "учить, сообщать". С. Корни продленной ступенью в "сильных" и полной в "слабых" формах: *tāstī/takṣati* "строить". D. Корни с остатками 0 ступени в "слабых" формах: *stauti* – медий *stāve* – 3 л. мн. ч. *stuvānti* "хвалить". Следует заметить, что от того же корня образована несколько загадочная форма с инактивно-модальным значением *stusé*, которую можно считать инфинитивом; однако еще Б. Дельбрюк отмечал, что эта форма синтаксически близка к личному глаголу, т. к. служит обычным предикатом [Delbrück 1893: 325–7]. Сопоставление ее с медием *stavé* действительно говорит о функциональном сходстве: 1) *bhāsvati netrī sūnftānām divā stavé duhitā gótamebhīh* (I 92, 7) "Сияющая водительница благ, дочь неба Готамами восхваляется"; 2) *stusé sá vām varuṇa mitra rātīr* (I 122, 7) "(да будет) хвалим этот ваш дар, о Митра и Варуна!" Различие между этими высказываниями в том, что *stavé* обозначает реальное претерпевание, снабженное именем актора, тогда как *stusé* – претерпевание потенциальное, без указания на конкретный объект.

Таким образом, обзор формальных показателей свидетельствует о том, что группа протеродинамических презенсов неоднородна по своему составу. Следовательно, все эти презенсы не могут быть архаичными. На мой взгляд, формирование продленной ступени в "сильных" формах удачно объяснил С. Инслер [Insler 1968; 1972]. Он отметил, что в корне *dāç* наличествует ларингал; 0 ступень корня присутствует в деизидеративе *dīkṣāti* "посвящать, освящать", который на синхронном уровне воспринимается как самостоятельный глагол [Whitney 1885]. От протеродинамического же презенса *çāsti* образован тематический аорист *áçisat* с закономерной 0 ступенью корневого вокализма. Корень же древнеиндийского презенса на синхронном уровне был устойчив в том смысле, что в нем была тенденция не менять качества гласного, а выравнять его по аналогии. Ср. *dádhāti/dádhanti* (<*dheH/dhH), *dádāti/dádanti* (<*doH/dH), а также медий с редуцированным корнем *dhatté, datté* при исконной 0 ступени в "слабых" формах корневого аориста *ádhita, ádita* и перфектном причастии *hitāh*. Иными словами, корни с ларингалом не образовывали в презенсе фонологически закономерной 0 ступени. Поэтому их функционирование как протеродинамических презенсов может объясняться действием аналогии. Еще один важный вывод Инслера

состоит в том, что протеродинамические презенсы образуют апофонические ряды подобно сигматическим аористам, где ударение также неподвижно, "сильные" формы характеризуются продленной ступенью корневого вокализма, "слабые" – полной. Окончание 3 л.мн.ч. медиы *-ata* <**ṛta* вполне подобна протеродинамическому *ati* <**ṛti*, *-ate* <**ṛtoi*: *ástosata* "они были хвалимы", *ámamṣata* "они думали" и *tākṣati* "они устанавливают", *cāksate* "они видят". Сходство сигматических аористов и протеродинамических презенсов можно наблюдать и в конъюнктиве, характеризующемся полной ступенью корневого вокализма: аористы *jéṣat*, *pārṣat*, *yákṣat* – протеродинамические презенсы *čāsati*, *dāčati*, *tāksati* – обычные атематические презенсы *dyat*, *dvéṣat*, *dóhat*. Как видим, корни на ларингальный характеризуются в конъюнктиве долгой гласной, являющейся закономерным проявлением полной ступени; у корня *taks* она закономерно исчезает, как и в тематическом варианте презенса *taksati* (который может иметь общее происхождение с конъюнктивом).

Долгая ступень вокализма в древнеиндийском сигматическом аористе была, на наш взгляд, исчерпывающе объяснена Е. Куриловичем [Kurylowicz 1956: 358–63; 1964: 163–5], согласно которому корень структуры *TeT-s(-T)* (*T* – любой шумный согласный, *-T* – согласный флексии) по фонетическим причинам не мог образовывать 0 ступени в слабых формах. Пропорция $T\acute{e}T\acute{s} : T\acute{e}T\acute{s} = TeRT : TRT$ при невозможности структуры **TTs* привела к образованию нового кластера *T\acute{e}T\acute{s}*. Таким же образом образовался презенс *tāṣti*; пропорция *tāṣṭi* (<*takṣ-ti*): *áṣrāk* (<*á-sraj-s-t*) = *tākṣati* (<*taks-ṛti*): *avāksata* (<*a-vah-s-ṛta*). Корни *taks*, *caks*, *čās* <**keHs-*, *dāč* <**deHk* демонстрируют структуру, аналогичную основе сигматического аориста; долгий гласный как отражение полной ступени с ларингалом также способствовал развитию апофонии протеродинамических презенсов. Корень *takṣ* может представлять непосредственный аналог или греч. $\tau\acute{\iota}\kappa\tau\omega$ <* $\tau\acute{\iota}\kappa\omega$, древняя редупликация, или лат. *texo* "плести" и, возможно, греч. претерит $\acute{\epsilon}\pi\acute{\epsilon}\tau\omicron\sigma\sigma\epsilon$, аористное причастие $\acute{\epsilon}\pi\tau\acute{o}\sigma\sigma\alpha\iota\varsigma$ "привязывать, доставлять". Во всех этих основах не засвидетельствовано продленной ступени корня, что наводит на мысль о том, что протеродинамический презенс – внутрииндийское или индоиранское явление.

Остаются корни *ās*, *ūh*, *stu*, *či*. Долгота первого из них объясняется достаточно просто. Это редулицированный корень **es-*; основа **e-es-* представлена также в греч. $\eta\sigma\tau\alpha\iota$ и кетт. *esa(ri)* "сидеть". По происхождению это перфект, который, втянувшись в презентно-аористную систему в древнегреческом и древнеиндийском, получил медиальные окончания, тогда как исконный перфект *āsa* сохранил синхронную связь с корнем *as*. В хеттском старый перфекто-презенс сохранился потому, что вся его парадигма приобрела новый морфологический статус – медиопассив спряжения на *-hi*⁶.

Но для корней *ūh*, *stu*, *či* подобные объяснения не годятся, так как у них иная структура. Но показательно, что именно у этих корней есть индоевропейские аналоги, напоминающие своей апофонией протеродинамический презенс: др.-инд. *čáye* (<**kei-e-i*), послевед. *čéte* (<**kei-to-i*) – греч. $\kappa\epsilon\tau\tau\alpha\iota$; *ohate* – $\epsilon\upsilon\chi\omicron\mu\alpha\iota$, аор. $\epsilon\upsilon\chi\omicron\tau\omicron$; *stáuti*, *stáve* – $\sigma\tau\epsilon\upsilon\tau\alpha\iota$, претерпит $\sigma\tau\epsilon\upsilon\tau\omicron$. И. Нартен полагает на основании подобных параллелей возможным проецировать протеродинамический презенс на праиндоевропейский уровень. Однако еще Вакернагель отмечал, что формы типа $\sigma\tau\epsilon\upsilon\tau\omicron$, $\epsilon\upsilon\chi\omicron\tau\omicron$ могут быть отражением древних сигматических аористов ($\sigma\tau\epsilon\upsilon\sigma\text{--}\tau\omicron$, $\epsilon\upsilon\chi\sigma\text{--}\tau\omicron$) [Wackernagel 1916]. Следует также указать на 0 ступень корневого вокализма, возможную у данных корней. Сопоставим перфект *ūhé* и меди *ohate*: *jiṣṇúr vām anyāh sūmakhasya sūrír divó anyāh subhđgah putrá ūhe* (I 181, 4) "один из вас, победоносный владыка имеющего хорошую жертву, другой считается любимым сыном неба"; *ayám yó hótā kír i sá yamśya kām āpy ūhe yát samañjānti deváh* (X 52, 3) "этот, кто хотар, кто он у Ямы, как он может наблюдать, что боги смазывают салом?"; *áva sprđhi pitáram*

⁶ Связь глаголов "быть" и "сидеть" хорошо документирована. Ср. др.-исл. *sitan*, которое может означать и то, и другое. В докладе [Tanaka 1997] было высказано соображение о том, что корень **sed-* "сидеть" – это расширенный корень **es* в Бенвенистовом состоянии II: **Hes-* + *-ed-* > **Hséd-*. Впрочем, это представляется нам спорным.

yóddhi vidvān putró yás te sahasaḥ sūna uhé (V 3, 9) "возьми отца под защиту отрази, мудро (врагов от него), он себя твоим сыном считает, о сын мощи". Значение перфекто-презенса *úhé* можно определить как неактивное, эвентуальное, т.е. выражающее внутренние свойства, могущие быть обнаруженными ("считать себя", "считаться", "наблюдать"). Медяльный же презенс *óhate*, согласно Грассману, имеет значение "achten, beachten, wahren", т.е. ментальное действие, совершаемое субъектом для себя, в своей внутренней сфере. Такое распределение основ (полная ступень – контролируемое действие, 0 ступень имеет тенденцию к выражению неконтролируемого, вероятного состояния) в общем отвечает правилам ААП.

В корне *stu-* 0 ступень наличествует и в презенсе; ср. еще императив *stuhi*, причастие *stutd*, пассив *stuydte*, отглагольные имена *stut* "хвала", *su-stú* "хорошо хвалимый, похвальный". Медяльно-инфинитивной форме *stusé* соответствует медяльный сигматический аорист *ástosi* (1 л.), *astosta* (3 л.), активные конъюнктивы *stósāni*, *stósat*. В авестийском выступают в качестве параллели презенс *staoti* (= *stáuti*), *staotar* (= *stotár* "хвалитель"), *staoma* (= *stóma* "хвала"). 0 ступень вокализма засвидетельствована в инфинитиве *stuye*: *ainghe frača stuye* (Y I, 21) "что-то кому-то восхвалять". Следует отметить также авестийское причастие *staota*, на основании которого можно постулировать индоиранские дублеты **stutó-/stéuto-*. Сохранение полной ступени в некоторых слабых формах может быть объяснено противопоставлением реального медия *stáve* и потенциального *stusé* (см. выше). Ср. еще пассивный аорист *astavi* "он был хвалим" и сигматическую форму *astosi*, лишенные потенциального значения. Впрочем, можно предложить и иное объяснение. Дело в том, что продленная ступень корня характерна не только для "протеродинамических" основ, но и для глаголов с корневой финалью **-eu-*: *táuti* "быть большим", *yáuti* (медий *yuté*) "соединять", *sáuti* "порождать, давать жизнь". При этом у глаголов *táuti*, *sáuti* есть варианты *táviti*, *stáviti*, которые указывают на наличие здесь *set-*корня, т.е. основы на ларингал. Именно ларингал и способствовал удлинению корневого вокализма. Бездентальный же медий представляет чистую основу слабой формы. Возможно, именно поэтому она аттрагировалась к сильной основе этого корня (по упоминавшейся нами пропорции *vṛddhi* : *guṇa* = *guṇa* : 0 ступень).

Параллели с полной ступенью медия существуют и для глагола *çáye/çete*, ср. греч. *κεῖται*; ступень вокализма в хетт. *kittari* остается неясной. 0 ступень характеризует такие производные, как *suona-çi* "лежащий на мягком ложе", *çilam* "обыкновение, сущность" (с долгим слоговым элементом), возможно, *ni-çita* "ночь" (<"всюду лежащая"). Из других индоевропейских аналогов отметим гот. *heims* "дом", лит. *šeimýna*, *šeimà* "семья", возможно, и *kiemas* "двор", *káimas* "деревня, село", ц.-слав. *сѣмь* "личность", *сѣмиа*. Интерес представляет лит. *káimas* с акутированным корнем, склоняющееся по 1 (неподвижной) парадигме. Может быть, именно акутовая интонация объясняет и долготу в др.-инд. *suona-çi*, *çilam*, и возможное сохранение 0 ступени. Во всяком случае, Л.Г. Герценберг именно с акутом связывает "сильную" (удерживающую ударение) интонацию слога.

Корень *vas* вообще не засвидетельствован в 0 ступени (ср. греч. *ἔννιци* "одевать", *ἑσθής* "одежда", лат. *vestis*, хетт. *vesten* "одевайте", лув. *çasta* "он одел(ся)", гот. *wasjan* "одевать", тохар. В *wāsti* "одежда". Следует, впрочем, заметить, что данный корень является сигматическим вариантом **eu-lu-*: ц.-слав. *об-оути*, русск. *обуть*, *изуть*, лит. (*ap*)*aiūti* "обувать", лат. *ind-uo* "надевать". Может быть, сигматическая основа законсервировала Бенвенистово состояние II, наиболее архаичное для нее [Kuiper 1934].

Итак, характерные черты протеродинамических презенсов могут объясняться как результат сравнительно поздних фонетических и морфонологических процессов. Вместе с тем аномалии в корнях *uh*, *stu*, *vas*, *çi* имеют не фонетическую природу и не полностью объясняются морфосемантическими процессами. Все предложенные нами объяснения довольно гипотетичны. Возможно, они действительно как-то соотносятся с

суперсегментными особенностями морфемы, удерживавшей ударение. Но обращает на себя внимание то, что только для корня *çi* в одном из его литовских соответствий можно реально увидеть то, что считается иммобилизующим фактором – акутовую интонацию (при том, что все другие варианты демонстрируют циркумфлекс). Отметим и системную близость протеродинамических презенсов к ААП, заключающуюся в том, что продленная ступень в них занимает место полной, полная – нулевой (что является проявлением общего принципа Куриловича – общий морфологический принцип реализуется различными формальными средствами [Kuryłowicz 1964]).

3. Теперь перейдем к именной акцентуации и апофонии. Здесь совершенно очевидно больше разнообразие моделей по сравнению с глаголом: в акростатических формах нет количественного аблаута, в протеродинамических нет апофонии падежей (вместо ожидаемого окончания генитива **-ésj-ós* имеем простое *-s*; только гистеро- и голокинетические парадигмы соответствуют правилам ААП (ударный корень/суффикс vs. ударная флексия, т.е. вокальный элемент непосредственно перед ее консонантной частью). Вместе с тем нетрудно видеть, что та развернутая классификация, которую можно наблюдать у Айхнера и Рикса, при диахроническом взгляде существенно редуцируется. Во-первых, трудно уловить какие-нибудь различия между акро-, месо- и телевостатическими формами, тем более, что большинство упоминаемых в литературе акростатических форм односложны. Во-вторых, в рамках этого типа могут быть выявлены по крайней мере две разновидности: 1) односложные с качественным аблаутом (**dom: déms*), 2) двусложные – имена деателя и родства на *-tar*: др.-инд. *pitár* (N): *pitúr* (Gen) < **pə-tér: *pə-tf-s; dātár: dātúr* < **dēa-ter: dēa-tf-s; dātár: dātúr* < **dā-tér: *dā-tf-s*, 3) Шиндлер к этой категории относит также некоторые односложные имена с мобильным ударением, не образующие генитива на **-os* (подробнее см. ниже). В-третьих, гистеро- и голокинетический тип могут рассматриваться как по сути единая парадигма, ибо в них противопоставляется ударная основа ударной гласной флексии. Различие же в трактовке корней и суффиксов связаны с требованиями эвфонии и трактовки безударных гласных. Сравним примеры Рикса (см. прим. 4): а) "амфидинамический тип" **yek-ónt-s: *uk-nt-ós* (греч. *Ἰεκόν, Ἰεκόντος* "добровольный", др.-инд. *uṣán, uṣatáh*⁷); б) "гистеродинамический" **urén: *urnós*. Сходство обоих типов очевидно. Попутно заметим, что хеттское соответствие этому корню *uēkzi* Эттингер относил как раз к протеродинамическому типу, и наличие амфидинамического причастия от этого корня никак не свидетельствует об архаичности данной классификации. См. еще хетт. *aís*, род.л. *issas* "рот" и *zahhais*, род.л. *zahhiias* "битва". Первое имя должно, очевидно, трактоваться как голокинетическое, второе как гистеродинамическое, но совершенно очевидно, что они являют собой идентичную аблаутно-акцентную модель. Если же основа слова состоит из нескольких морфем (корня и суффикса), то вывести полную и 0 ступень их вокализма из гипотетического характера морфемных интонаций, как это делают Рикс и Хок, достаточно сложно. Всегда можно предложить альтернативное объяснение, связанное с теорией корня Бенвениста и Кэйлера, первичным распределением редукции безударных гласных и последующим выравниванием по аналогии. Итак, реально можно выделить только 3 типа именной акцентуации, resp. аблаута: 1) (acro)статический, когда ударение в склонении не сдвигается со своего места направо, а перед флексией не появляется вокальный ауслат; 2) протеродинамический, когда ударение сдвигается на гласный,

⁷ Вопрос об огласовке этой основы представляется не до конца ясным. По мнению Рикса, основу номинатива репрезентирует греческий, а генитива – санскрит. Но возможна и совсем иная реконструкция. Согласно формуле *SWSWS* (*S* – strong, т.е. нередуцированная гласная, *W* – weak, редуцированная, *S* – ударная [Schmalstieg 1980]), номинатив этого причастия следует восстанавливать как **uk-ónt-s*, генитив – **yek-nt-ós*. Первая форма засвидетельствована в санскрите, вторую можно экстраполировать на прагреческий. Замена ее на *Ἰεκ-ónt-ós* произошла потому, что суффикс *-ónt-* в большинстве индоевропейских языков обобщил свою полную ступень.

стоящий перед последним согласным основы, причем этот последний может в безударном положении быть синкопирован, символически: CVC(V)C-s : C(V)CVC-s (C – любой согласный, () – знак редукции и возможной синкопы); 3) гистеродинамический (голокинетический) тип, когда в "слабых" формах ударение падает на гласный, стоящий непосредственно перед флексией: им.п. -s- род.п. -ós и т.д. (см. табл. 1). Такие имена прежде всего и отвечают сформулированным правилам ААП. Предметом дальнейшего рассмотрения будет соотношение ААП с акростатическими и протеродинамическими именами.

Здесь мы сразу можем отметить те же особенности, что и в протеродинамических презенсах. Хотя у имен двух первых типов наличествует грамматический способ, материально иной, чем ААП, системные соотношения здесь идентичны.

Акростатический тип	Протеродинамический тип	ААП
Nom. *dóH-ter/*dH-tér	*suéHdu-s	*pód-s/*péd-s
Gen. *dóH-tr-s/*dH-tf-s	*suHdéu-s	*podó-s/*podé-s

Как видим, в акростатическом двусложном типе наблюдается оппозиция суффикса в полной (номинатив) и 0 ступени вокализма, вполне идентичная ААП, ср. греч. πατήρ/πα-τρ-ός, лат. *pa-ter/pa-tr-is*. В протеродинамическом же типе чередование ударений вполне отвечает правилам ААП: оппозиция корневого vs. некорневого акцента⁸. Очевидно и то, что парадигмы *dātār|dātúr* и *svādúh|svadóh* не могут принадлежать к одному временному пласту: первая могла появиться лишь во время ослабления силовой компоненты акцента, когда только и могли появиться слоговые сонанты под ударением.

Теперь перейдем к каждому из этих типов по отдельности.

3.1. Односложные акростатические имена представлены немногими примерами. По сути дела, нам удалось диагностировать лишь четыре корня, от которых действительно образуется генитив (или нечто ему подобное), отличающийся от номинатива только качеством корневого гласного. Это прежде всего упоминаемое Шиндлером греч. δεσπότης "хозяин, господин" (<*dems-pot-), ср. однокоренные авест. *dəng patoiš* с бесспорной ступенью *e* первого слова, др.-инд. *dāmpati* "хозяин дома", причем в двух контекстах Ригведы это словосочетание встречается с инверсионным порядком слов: *pati dán* (I 120, 6), *pátir dánn* (I 149, 1). Генитив *dems должен противостоять номинативу *dóm (гомер. δῶ). Однако Шиндлер оставил без внимания микенский аналог *dopota* (PY Tn 316) "владыке" (дат.п., имя божества, которому жертвовались золотые чаши [Chadwick-Vaumbach 1963: 183]), которое, очевидно, репрезентирует ступень *o* вокализма первой основы⁹. Таким образом, мы либо должны признать, что в этом композите встречаются два генитива *dems/*doms, причем последний омонимичен номинативу, что довольно маловероятно, либо дать первому элементу композита иное толкование. Вопрос должен быть поставлен так: в чем причина формальной оппозиции *dem(s) и *dom, и каковы их функциональные различия? Проблема осложняется тем, что односложность и отсутствие тематической гласной вовсе не является характеризующей чертой именно этого корня. Он хорошо известен в 0 ступени вокализма, ср. греч. δμῶς "раб" (<"захваченный"); Шиндлер [Schindler 1967] отмечает также, что армянский генитив *tan* восходит к *dm-melos, в авест. *dātana* также наличествует 0 ступень (<*dm-meno-). Тематическую основу см. в греч. δόμος, лат. *domus*, др.-инд. *dama*, слав. *домъ*, с вариацией – и лит. *nāmas*. Таким

⁸ Разумеется, тестом для обнаружения акцента служит количественный аблаут. С синхронной точки зрения номинатив греч. ἄδης и др.-инд. *svādúh*, конечно, окситонны.

⁹ По мнению Н.Н. Казанского и В.П. Казанские [Предметно-понятийный словарь 1986: 142], в форме *dopota* первая основа находится в 0 ступени. Слоговые рефлекссы сонантов в микенском греческом действительно подвержены вариации, ср. *peto: petā* отперцо : отперца; однако вопрос об огласовке *dopota* остается sub iudice; существенно, однако, что это – не ступень *e*.

образом, никакой мистической силы, привязывающей корень **dem-/dom* именно к акростатической парадигме, нет.

В специальной публикации, посвященной рассмотрению и.-е. **dems-pot-* и гомеровскому *δῶ*, мы отметили, что форма **dems* всегда ударна; она обычно занимает первую позицию в предложении (или синтагме), но сохраняет ударение и после первого слова. Напротив, *δῶ* всегда находится в конце стиха, т.е. по метрическим условиям стоит в безударной позиции. Циркумфлексная интонация здесь выражает то, что вторая мора долгого слога была безударна; безударным, очевидно, было и имя в целом. Существенно, что это имя всегда встречалось с определениями, некоторые из них могут претендовать на статус формульных и проецироваться на праиндоевропейский уровень: *πατρός, μητρὸς δῶ* <**patrós, mātrós dom, Alδὸς δῶ* <**sm-(ŋ)uidós dom*. Следовательно, **dems* и **dom* противостоят как определение и определяемое, первый и второй члены атрибутивной синтагмы, безударный и ударный ее члены. Ударность определения в индоевропейском предложении вытекает из двух обстоятельств. 1. На раннем этапе существования индоевропейского праязыка атрибутивная синтагма состояла из окситонного определения и баритонного определяемого; в этих условиях функционально значимым было именно ударение первого члена, так как оно указывало на грамматическое отношение (такой тип синтагмы хорошо запечатлен в вышеприведенных гомеровских формулах с *δῶ*). 2. На более поздней стадии подчеркнуто ударным становилось начало синтагмы (предложения и колона). Иными словами, в атрибутивной синтагме ударение падало на стоящее в препозиции определение. Таким образом, ударность **dems* и безударность **dom* тесно связаны с их позицией, *gesp.* с функцией.

Итак, **dems* выступало в роли определения, **dom* – в роли определяемого. Нам представляется, что такой подход снимает ряд вопросов, которые возникали при попытке приписать этим словоформам падежные характеристики. Падеж – категория реляционная (или – в терминах Куриловича – инфлекционная), она характеризуется жесткой функцией и более-менее однозначным грамматическим способом. Во всяком случае, трудно представить себе падеж, который бы маркировался и своим собственным грамматическим способом (в нашем случае – ступенью *e*), и парадигматически противопоставленным ему (ступенью *o*, характеризующей – по Шиндлеру – номинатив). Кроме того, генитив, заменяя другой падеж, видоизменяет значение и функцию соответствующего члена предложения. Греч. ἔρχονται πεδίοιο (вместо πεδίου) "они идут по равнине", русск. выпить воды (вместо воду) указывает на то, что действием охвачен не весь его объект, а лишь его часть. В позиции номинатива генитив имеет также партитивное значение: авест. *kat ta paḥa frayan paṣvam va staoram va naram va na'rinam* (пример взят из [Brugmann 1922: 565] "по этому пути да придут (кто-нибудь из) мелкого или крупного скота, мужчин или женщин". Никаких подобных семантических различий между номинативом и "акростатическим" генитивом не удастся обнаружить. Определение же, как категория деривационная, не требует жестких формально-синтаксических ограничений. В функции одного и того же члена предложения могут выступать разные классы слов: русск. *Зеленая трава* как синтагма не отличается от *зелень-трава*; греческий дательный предела функционально может быть близок винительному отношению.

Трактовка оппозиции ***dems/dom-* как позиционно-синтаксической проясняет и качественный аблаут ее членов. Дело в том, что в сравнительно поздний период индоевропейского языкового состояния, когда силовая компонента ударения заметно ослабела, безударные гласные не синкопировались, а меняли свой тембр: безударное *e* изменялось в *o*: греч. φῆνυ – ἄφρωι, πατήρ – εὐπάτωρ, др.-инд. *bhára* "ноша; несущий" (<*bhéro-*)–*bhārá* "то же" (<**bhoró-é-*) [Manczak 1960]. Алофония *déms/dom-*, очевидно, того же происхождения. Это обстоятельство позволяет уточнить относительную хронологию возникновения подобного рода "акростатических" форм. Они появились во время, значительно более позднее, чем функционирование ААП.

В литовском греческому $\beta\epsilon\sigma\tau\acute{o}\tau\eta\varsigma$ соответствует *viēšpats* "хозяин, господин", первая часть которого сравнивается с греч. $\acute{o}\kappa\omicron\varsigma$ "дом", лат. *vicius* "деревня", др.-инд. *viç* "место жительства; племя, община". Литовский композит реконструируется как **vėik-pati* > **vėiš-pati*¹⁰; Шиндлер также относил его первый элемент к "акростатическим" генитивам [Schindler 1967; 1972]. Но др.-прусс. *waispattin* "госпожа" (вин.п. ед.ч. в III 69, 5 и дат.п. мн.ч. в III 95, 20) соотносится с лит. *viēšpats* как микен. *dopota* с $\beta\epsilon\sigma\tau\acute{o}\tau\eta\varsigma$. Следовательно, здесь можно предложить то же решение. Кстати, лит. *viēš-* и однокоренные ему слова характеризуются циркумфлексной интонацией, следовательно, в этом корне едва ли можно обнаружить тон, ведущий к иммобилизации акцента.

Несколько уточнений требует и этимология первого элемента. Помимо связи с и.-е. **vėik-* "селение, община, семья, дом" можно предположить родство с др.-инд. *viçva* "весь". Правда, другие прилагательные с тем же значением предполагают корневой ауслат *-s*: лит. *višas*, ц.-слав. *вьсь*. Но лит. *viēšas* "общественный, публичный" можно связать и с семой "всеобщий". Вероятно, впрочем, что корни **vėik-* и **vėis-* суть расширения корня **vėi-* "вить, тянуть(ся)" (>"распространять(ся)"). Такая этимология может объяснить и специфическое значение др.-инд. *viçāti* "входить, вступать, попадать": глагол пространства.

В санскрите данному композиту соответствует *viçpāti* "глава общины, старейшина". 0 ступень корневого вокализма первого элемента явно противоречит возможности образования от него "акростатического" генитива. 0 ступень могла появиться по аналогии с самостоятельным *viç* (род.п. *viçáh*) "дом, община". Присутствие 0 ступени в первом члене композита, по-видимому, имело последствием необязательность постановки на нем ударения; имя *viçpāti* акцентуировано на втором корне, как большинство имен типа *tatpuruṣa* (с первым элементом, обозначающим обладаемый предмет). Синонимичное ему *jāspati* <**gnə-s-pāti* предполагает наличие гипотетических имен типа **gén(H)-s-pHti* / *gonH-s-pHti*.

О хетт. *nekuz* выше уже упоминалось. Оно может стоять в контексте и в отсутствии *mehur*: *mahhan-ma nekuz kisat* (KUB I 13 IV 26) "и затем ночь наступила". Это сильно затрудняет вопрос о грамматическом статусе *nekuz*. Шиндлер полагал, что в контекстах, подобных процитированному, имел место эллипсис номинатива. Ср. *mahhanma nekuz MUL uatkiḫi* (KUB IX 22 III 38) "и ночь(ю) звезда поднимается"; и в том же тексте (II 46) *mahhanma nekuz mehur kisari MUL uatkiḫi* "когда ночь (ночи) время настает, звезда поднимается". Но с нашей точки зрения, отсутствие в первом контексте оборота *mehur kisari* никак не доказывает генитивного характера формы *nekuz*. Она выражает основной смысл синтагмы, и в этом отношении первый контекст может быть сопоставлен с лат. *Si luci, si nox, si mox si iam data est frux* (Епп. Анн. 431) "или днем, или ночью, или в ближайшее время дан плод". Следует заметить, что первый член синтагмы *UD-az* (= *siuaz*) *taksan* "день – середина", традиционно сопоставлявшейся с *mehur nekuz*, Шиндлер считал номинативом. Это никак не вносит ясность в проблему. Почему номинатив *siuaz* и генитив *nekuz* оказались совершенно изофункциональны? Представляется, что если мы припишем форме *nekuz* атрибутивную функцию, то на этот вопрос будет дан удовлетворительный ответ. Атрибут по законам метонимии вполне может занять место определяемого.

Далее оппозиция номинатива со ступенью *o* и генитива *e* прослеживается в авест. *hvarə/xvəng* "солнце". Здесь разделение функций четко, но в свете вышесказанного вполне объяснимо. У атрибута есть тенденция становиться генитивом (некоторые примеры см. ниже), которая в данном случае реализовалась. То же относится и к *haxman/haxməng* "потомство" (<**sek^u-mon/sek^uméns*). Впрочем, это уже двусложная основа, в которой качественные чередования могли возникнуть не только под воздействием синтаксической позиции.

¹⁰ Знак акцента указывает только на его место, а не характер.

Другие примеры Шиндлера выглядят менее убедительно: *g^uou-lg^{eu}- "корова" (без указаний на рефлексы последнего варианта); *g^uon-lg^{en}- "жена, женщина", причем последнюю форму можно видеть в др.-ирл. *ben*. Но это – номинатив (ср. гот. *qīno* и *qens* с той же ступенью *e*), генитив же *mna* < *g^unās представляет собой закономерную основу с 0 ступенью корня. Ее наличие в номинативе, также закономерное при суффиксе *-a-*: со слоговым сонантом – см. греч. γυνή (бесот. βαύά). О вед. *veḥ* "птица" (им. и род.п.) сказать что-либо трудно, так как не вполне ясны его индоевропейские аналоги (лат. *avis*?). Др.-ирл. *imb*, род.п. *imbe* (<*ŋ-gⁿ-l/*ŋ-g^{ens}) "масло", *ainm/lanme* (<*Hn-mn/*Hn-mens) "имя" представляют оппозицию 0 и полной ступени. Характер же генитива на *-éns будет рассмотрен чуть ниже.

Пока же подытожим некоторые результаты. Формы со ступенью *e* не находятся в строгой и жесткой оппозиции к формам с *o*, они могут взаимозаменяться, выполняя одну и ту же синтаксическую функцию. Но отметим, что соотношение основы номинатива со ступенью *o* и "слабых" падежей с *e* наблюдается не только в односложных словах. Ср. греч. γένος/γένεος (<*γένεος), лат. *genus/generis* (<*geneses) "род", *homo/hominis* (<*hem-on-s/*hem-en-es) "человек", лит. *arūdas/arūnės* (<*ar-mon-s/*ar-men- "пашня", *meniū/menės* (<*men-os-s/*men-es-eis) "месяц" (с окончанием, заимствованным из основ на *-i-*), *sesuo/sesės* (<*s(u)esor-s/*s(u)eser-) "сестра". Следовательно, качественный аблаут как показатель падежной оппозиции существует, что совершенно справедливо отмечал Шиндлер [Schindler 1972; 1975]. Но он не ограничивается только падежами. В основах на *-es-* в греческом он разделял классы имен: γένος – εὖ – γενής (ср.п. εὖ-γενής) "благородный", κλέος "слава" – ἐύκλής (κλέFές) "славный". Конечно, подобное изменение значения вообще характерно для префигурованных форм (русс. *рок-про-рок*, лат. *ops* "сила" *-in-ops* "бессильный"). Однако подобная же семантическая оппозиция встречается и в беспрефиксальных формах: ψεῦδος "обман" – ψευδής "лживый". Формально эти имена противопоставлены местом ударения и качественным аблаутом; семантически – как имя действия vs. имя лица, имеющего отношение к действию; морфологически – как существительное vs. прилагательное; синтаксически – как имя определяемого vs. имя определения (аппозиция). Все эти соотношения напоминают описанную несколькими абзацами выше оппозицию *dém/s/dóm. Качественный аблаут сыграл существенную роль в противопоставлении общего и конкретного имени деятеля: вед. *dātár*, греч. δῶτωρ именуя "дарителя" как постоянное свойство, *dātár*, δωτήρ – как ситуативное, сиюминутное [Benveniste 1948]. Оппозиция ступеней суффиксального вокализма здесь возникла благодаря передвижению акцента: *e* под ударением vs. *o* в безударной позиции. Но это обстоятельство привело к тому, что и сам качественный аблаут приобрел семантическое наполнение: ступень *e* стала ассоциироваться с именами определений, действующих, претерпевающих лиц, ступень *o* – с именами действия. В древнеиндийском у тематических имен наблюдаются следующие оппозиции: *śóka* "блеск" – *śucá* "блестящий", *róga* "болезнь" – *rujá* "разрушитель"; иногда передвижение акцента приводит только к изменению тембра тематической гласной, а не корневого вокализма: *bhóga* "удовольствие" – *bhojá* "щедрый", *árka* "луч" – *arcá* "блестящий". В некоторых парах передвижения акцента не происходят, и окситонные абстрактные/конкретные имена различаются только качеством тематического гласного: *roká* "свет" – *rucá* "светлый", *bhagá* "часть" – *bhajā* "участник", *bhógá* "кольцо" (<*согнутое) – *bhuja* "хобот" (<*сгибающийся). Первым описавший это явление Э.Г. Пэллейбланк [Pulleyblanc 1965] связывал эту семантическую оппозицию с тем, что ступень *e* репрезентирует немаркированную гласную фонему, а ступень *o* – маркированную "интравертным" тембром. Но, возможно, причиной их семантического различия явилось именно ударение.

Передвижение акцента – это вообще очень сильный грамматический способ для раннего общеиндоевропейского языкового состояния. Именно оно различало абстракт-

ные и конкретные, самостоятельные и аппозитивные, субстантивные и адъективные имена. Древнегреческий и древнеиндийский тип τόμος – τομός должен быть скорее переименован в тип φῶρ – φόρος · φόρος: первичной была оппозиция атематического и окситонного тематического имени (на праязыковом уровне – *bhór_os – *hh_orós); новые баритонные имена появились в тот период, когда смещение ударения уже не приводило к редукции и синкопе безударных гласных. В отличие от старых атематических, новые баритонные имена обозначали почти исключительно само действие или его результат, но не действующее лицо. Возможно, что в корнях типа TVR и TVT, где по причинам эвфонии гласный не мог синкопироваться, он изменял в безударном положении свое качество. Далее, при передвижении акцента снова на корневой гласный менял качество безударный тематический гласный; так образовалась форма типа λόυος, которая находилась в формальной и семантической оппозиции к изначально баритонному λέξις¹¹. В древнегреческом в тематическом гласном генерализовалась ступень *o*, в древнеиндийском остались следы старой оппозиции. Именно она явилась причиной того состояния, на которое обратил внимание Э.Г. Пэллейбланк: *e* – показатель "экстравертного" значения, *o* – "интравертного".

Итак, удастся реконструировать два базовых грамматических способа: передвижение акцента и качественный аблаут, который, по-видимому, был произведен от предыдущего, но на каком-то этапе эволюции праиндоевропейского приобрел самостоятельное значение. Для установления семантики этих способов целесообразно использовать следующую цепочку сем: абстрактные имена/ имена действия/имена результата действия/имена деятеля (субстантивы)/аппозитивные имена (со значением деятеля или претерпевающего/прилагательные (с тем же значением). Баритонные и маркированные ступенью *o* (корневого и/или суффиксального вокализма) имена стремятся в левый край этого ряда, окситонные и маркированные ступенью *e* – в правый. Эта корреляция носит вероятностный характер, что представляется методологически вполне оправданным при реконструкции. Именно такой подход позволяет правильно объяснить чередования типа δεσπότης – *dopota*, *viēšpatis/waispattin*. Позицию первого элемента композита можно считать слабой для различения существительных и прилагательных. Словосложение в индоевропейских языках может осуществляться без участия каких-либо специальных морфем. Так, в русском *дом-о-владелец* формант *-o-* является соединительной гласной и не передает сам по себе никаких грамматических отношений. То же относится к именам *долг-о-ног(ий)* и *бел-о-эмигрант*. Первый тип сложного имени называется в древнеиндийской грамматической традиции *tatpuruṣa* (др.-инд. *agnim-iddhá* "зажженный огнем", *deva-datta* "богоданный"), второй – *bahuvrīhi* или possessивное сложное слово (*sáha-vatsa* "сопровождаемый теленком", *dīrgha-mukha* "длинноклювый"), третий – *karmadhāraya* (*prathama-jā* "первороджденный", *maha-vīra* "большой-человек, великий герой") [Macdonnell 1916: 159]. Границы между тремя типами нежестки: *dīrghabahu* может означать как "длинная рука" (*karmadhāraya*), так и "длиннорукий" (*bahuvrīhi*); *sūrya-tejas* – "блеск солнца" (*tatpuruṣa*) и "обладающий блеском солнца" (*bahuvrīhi*) [Зализняк 1987: 874–6]. Исходя из этого, можно предположить, что композиты с аппозитивным первым элементом (**déms-pot-*, **uék-pot-*) представляли тип *karmadhāraya*, а с неаппозитивным (**dom-pot-*, **quoik-pot-*) – *tatpuruṣa*. Следует заметить, что *tatpuruṣa* в древнеиндийском характеризовались ударностью второго элемента. Помимо приведенных выше примеров см. *rāja-putra* "имеющий сына-царя" (*bahuvrīhi*) vs. *rāja-putrá* "сын царя" (*tatpuruṣa*). Следы этой же оппозиции двух типов сложных слов прослеживаются и в греческом: имя деятеля γεωργός "земледелец" противопоставлено possessивному κακοῦρος "злодей" (= "имеющий злые дела"). Ф. Бадер [Bader 1965: 103] объясняет разницу между κακοῦρος и гомеровским

¹¹ По-видимому, исходя из вышесказанного, склонение односложных атематических имен структуры TVT можно реконструировать так: номинатив **péd-s* (под ударением)/*pod-s* (без ударения); генитив *podés* [ср. Schindler 1975; Герценберг 1989]; ступень *e* была обобщена в лат. *pedis*, *o* – в греч. ποδός.

как *οεργός* тем, что первое обозначает постоянного деятеля, иначе – деятеля-посессора, второе – сиюминутного агенса¹². Существование композитов типа **dom-pot*, **κοικ-pot* с неударным первым членом позволяет экстраполировать этот акцентуационный тип на праиндоевропейский языковой уровень.

Теперь вернемся к грамматической характеристике имен со степенью *e* и окситонных, которую мы выше определили как аппозитивно-атрибутивную. Еще раз подчеркнем, что аппозиция в отличие от генитива не требует жестких грамматико-синтаксических отношений. Определяемый член может быть опущен. С другой стороны, жестких границ между аппозицией и генитивом также нет, и первое легко может выполнять функцию второго. Судя по всему, лидийский генитив на *-l* является по происхождению прилагательным, родственным притяжательному местоимению и соответствующему адъективу в других анатолийских языках. Ср. им.п. *artamus* "Артемиды", род.п. *artamul*; им.п. местоимения 3 л. ед.ч. *his* "он" – притяжательное местоимение *hilis* "его". В ликийском этот суффикс маркирует притяжательные прилагательные: *trmul* "термилский"; в хеттском при именах он имеет посессивную функцию (*karu* "рано, ранее" – *karuilis* "прежний"), при местоимениях – генитивную (*kuis* "кто" – *kuel* "кого", *apas* "тот" – *apel* "того", *uk* "я" – *ammel* "меня", *zik* "ты" – *tucl* "тебя") [ср. Миттельбергер 1980]. Родственные им формы в других индоевропейских языках суть местоименные прилагательные: лат. *qualis* "какой", *talis* "такой", греч. *τῆλικός* "сколь большой", *τῆλικός* "столь большой". Прилагательные с суффиксом *-lis* иногда по значению уподобляются генитиву, причем не только субъектному, но и объектному: *metus hostium* "страх врагов (= перед врагами)" – *metus erilis* "страх господина (= перед господином)". В хеттском имя свойства может быть лишено формальных отличий от генитива: *uastul* "грех" – род.п. *uastulas* – конкретное имя *uastulas* "грешник". Поэтому нет ничего удивительного, что имена рассмотренного выше типа уподобились генитивам. Но по приведенным выше соображениям мы их определяем именно как деривационные категории.

Таким образом, односложные "акростатические" генитивы обязаны своим существованием не акцентологическим свойствам морфемы. Как раз те имена, которым обычно приписывается акростатика, характеризуются различными степенями корневого вокализма в разных языках и позициях. Их литовские параллели характеризуются циркумфлексной интонацией, т.е. не предполагающей иммобилизации акцента¹³. Возникли они благодаря сложным процессам и взаимодействию разных уровней – от фонетического до синтаксического.

3.2. Теперь обратимся к "акростатическим" именам, образующим 0 степень вокализма в суффиксе. Сама по себе она не должна вызывать недоумения: при генитиве **-ésl-ós* естественна редукция предыдущего гласного: лат. *pater/patris*, греч. *πατήρ/πατρός*, гот. *broþar/broþrs*. Проблема заключается в аномальном окончании генитива *-s*. Следует заметить, что генитив типа *pitúr* вместо общеиндоевропейского **pə-tr-ós*, явившегося прототипом греческой, латинской и готской формы, аномален и с точки зрения индийской парадигмы: в слабых падежах находим: дат. ед.ч. *pitré*, инстр. *pitra*; род.п. дв.ч. *pitros* (последнее имеет непосредственный аналог в авест. генитиве

¹² Любопытно, что оппозиция постоянного и сиюминутного деятеля возникает в различных морфологических подсистемах, связанных с передвижением акцента. Э. Бенвенист выявил ее на примере разноударного суффикса **-ter/*-tér*, автор этих строк [Krasuchin 1996], рассматривая взаимоотношение атематических и окситонных тематических имен, отметил, что первые нередко обозначают постоянные качества, а вторые – временные, возникающие лишь в определенной ситуации свойства: *οκέπτορα* "видеть" – *οκίψ*, *κίψ* "хищная птица" – *οκοτός* "стражник; цель" (чисто ситуативное имя предмета). Противопоставление постоянного и сиюминутного – важная семантическая составляющая аблаутно-акцентной парадигмы, сыгравшая большую роль в развитии индоевропейских глагольных категорий.

¹³ Попутно замечу, что вопрос о прямой связи литовских интонаций с индоевропейской акцентологией остается неясным до конца. Ни одно передвижение акцента, обусловленное интонационным контуром, описанное законами Фортунатова-Соссюра, Шахматова, Иллич-Свитыча, Дыбо, не имело следствием сиюминутного гласного. Не говорит ли это о том, что связь с интонацией – примета позднего, неслогового индоевропейского акцента?

ед.ч. *pitro*); соответственно генитив от авест. *data* "даритель" – *dabro*. Таким образом, формы *-tur* < **-tfs*, по-видимому, являются инновациями. Их происхождение, скорее всего, обусловлено аналогическими процессами. Сравним: генитив и аблатив ед.ч. *pitúr/mātúr/dātúr/dātúr*: генитив-локатив дв.ч. *pitróš/mātróš/dātróš/dātróš* – генитив мн.ч. *pitṛṇām/mātṛṇām/dātṛṇām/dātṛṇām* – аблатив *pitṛbhyas/mātṛbhyas/dātrbhyas/dātṛbhyas* – локатив *pitṛsu/mātṛsu/dātṛsu/dātṛsu*. Таким образом, для большинства форм генитива и синкретичных ему падежей характерна 0 ступень корневого вокализма. В плюралисе же сонант стоит под ударением и имеет слоговой призвук. Кроме того, в именах деятеля корневой вокализм подвергался унификации. Имя *dātar* < **dóH-tor-s* образовывало генитив согласно формуле *SWŠWS* **doH-tr-ólés*, *dātár* < **dH-tér-s* по той же формуле при передвижении акцента должно было бы выглядеть также как **doH-tr-ólés*, но фонологическое различие обеих форм должно было закрепить 0 ступень корня. С другой стороны, окситанное имя деятеля как будто имеет тенденцию к иммобилизации ударения на суффикс; об этом косвенно может свидетельствовать обобщенная продленная ступень суффиксального вокализма (*δοτήρ-δοτήρος*). Следовательно, мы можем предположить и наличие генитива **dH-tér-s* (*dH-tér-os*). Формы **doH-tr-és* и **dH-tér-(o)s*, по-видимому, контаминировали в **dóH-tṛ-s/dH-tṛ-s*. Это предположение может быть подтверждено и тем что в древнеиндийском в обоих вариантах имени деятеля наличествует полная ступень вокализма; они различаются только местом ударения.

Еще одно возможное объяснение – аналогия с основами на *-i-/u-*: род.п. ед.ч. *agnéh*: дв.ч. *agnóh*, resp. *sunóh*: *sunóh* → **pitfs* > *pitúr*: *pitróh*. Ударение стремится на ауслат основы, который приобретает слоговое качество.

4. Для объяснения различий между протеро- и гистеродинамическими именами, помимо тоновой гипотезы, привлекались и соображения, связанные со структурой корня. О. Семереньи полагал, что распределение флексий **-éis*/**-iés* зависит от типа основы имени. "Легкая" база, т.е. имеющая один согласный перед конечным *-il-u-*, сочеталась с "закрытой" флексией (**-jes*), "тяжелая", т.е. основа с долгим гласным или несколькими согласными перед *-i-/u-* – "открытой" флексии (**-eis*). Ср. др.-инд. *krátukrátvah* "сила", *árljaryáh* 1. "благочестивый", 2. "враг"; но *agnh/agnéh* (< **agnḍis*) "Агни, огонь", *bāhulbāhóh* "рука" [Семереньи 1980, 186–190]. Развивая его идеи, Р. Фальк строит модели формирования открытой и закрытой флексии, опираясь на теорию моновокализма К. Боргстрёма [Borgström 1949]. Согласно ей, каждая согласная в раннем протоиндоевропейском сопровождалась вокальным призвуком. Слово имело одно ударение, безударные гласные, не соприкасавшиеся непосредственно с ударной, могли получать вторичное ударение. Синкопе подвергались абсолютно безударные гласные; вторично ударные могли сохраняться [Fulk 1986: 85], что и приводит к упоминавшейся нами формуле *SWŠWS*. Раннеиндоевропейские прототипы "легких" и "тяжелых" баз выглядят так: 1) номинатив **Háwayas*: генитив **Háwayās* → **Héw₂s*: **Hewyós*; 2) **mánatayas*: **mánatayās* → **mént₂ys*: **mentóys* (вед. *ávihlávyah* "овца", *matḥ/matéh* "мысль"). Впрочем, в интерпретации Фалька остаются непроясненные вопросы: каким образом вторичное ударение, исчезающее в номинативе как более слабое, превращается в генитиве в первичное. Еще раз приходится подчеркнуть: единственное непротиворечивое объяснение разноударности сильных и слабых падежей – ААП.

Гипотеза Семереньи – Фалька выглядит убедительной для отдельных имен. Но существует ряд обстоятельств, не укладывающихся в нее. Прежде всего: какова относительная хронология этого распределения флексий? Окончания **-eis*, **-ous* имеют явно общеиндоевропейские истоки: они находят параллели в итальянских и балто-славянских языках. Ряд же "тяжелых" баз стали таковыми только в индоиранской языковой истории: *dāru/dróh* "дерево", авест. *dauru/draoš* (греч. *δῶρυ* "копье"), *jānu/jóh* "колени" (греч. *γόνυ*). По-видимому, *sānu/snóh* "горный хребет" также

репрезентирует ступень *o*. Правда, можно предположить, что эти основы уподобились тяжелым базам по аналогии, в результате отождествления ступени *o* с продленной. Но в *āyuyōh* "жизнь", авест. *āyuyaoš* долгота корневого гласного выглядит вторичной, так как не подтверждается параллелями типа лат. *aevum*, греч. *αἰών*. Чередование с *o* ступенью в слабых падежах также не подтверждает исконность ступени *v̄ddhi*. По-видимому, эти формы должны реконструироваться как **āHiu/*Hiéus*. Может быть, основа с ларингальным уподобилась тяжелой базе. Аналогией можно объяснить и соотношение *ksú/ksóh* "еда": здесь вторично сочетание согласных, так как этот корень имеет структуру CVC-, отраженную в глаголе *ghasati* "есть". Однако остается неясным вопрос о дублетах, хорошо известных в Ригведе и Авесте:

Ригведа	Авеста
<i>krátvah/krátoh</i>	<i>xraθwo/xraθauš</i>
<i>vásvah/vásoh</i>	– <i>vangauš</i>
<i>mádhváh/mádhoh</i>	– <i>mædauš</i>
<i>pácvah/pácōh</i>	<i>pasvo/pasauš</i>
–	<i>arəzvolərazōš</i>

(Таблица заимствована из работы [Miller 1969: 211].) Список дублетов расширится при привлечении параллелей за пределами индоиранского. Так, *jānujīdh* может быть сопоставлено с греч. *γόνυ*/гомер. *γουνός* <**γouFós*, итога – праформы генитива **gnéus/gnouós*; *dāru/dróh* и расширенная форма *druṇáh* – с *δῆρου/δῆρατος* <**δῆrF-ṽ-т-δῆrós* <**δῆrFós*, а также с *δρῦς/δρῦός* (генитивы **dréus/doruós/druós/dru-n-ós*). Генитив *dyóh* может быть сопоставлен с лат. *Jovis* (пренестинский аблатив *Diove*, норберийский *Diovo*¹⁴), тогда как *diváh* – с *ΔιFós*.

Миллер [Miller 1969: 212] упоминает также дублеты, где оппозиция генитивов связана с чередованием основ: женский род на долгий гласный, противостоящий краткогласному мужскому роду: *ágru* "холостой" (Nom.pl. *ágravas*) – *agrú* (генитив *agrúvas*) "незамужняя", *kádru* "бурый" – *kadrú* (*kadrúvas*) – ж.р.; *tānu* "вытянутый" – *tanú* "тело" (<"вытянутое"), *jātu* (ср.р.) "суть, случай" – *jatú* "летучая мышь". Имена женского рода имеют гистерокинетический генитив, но его особенность в том, что ударение не сдвигается со слогового сонанта, и он не теряет своего слогового качества. Имена же на краткий гласный характеризуются "открытой" флексией, ср. вед. *páragoh*, род.п. от *páragiḥ* "секира". Пример тем более показательный, если учесть, что это слово, по-видимому, не исконно индоевропейское: др.-инд. *páragi*, греч. *πέλεκυς* (род.п. *πελεκέως*, ион. *πελεκέος*), авест. *paravi*, по-видимому, заимствовано из аккад. *pilakku* (впрочем, Шантрэн в этой связи замечает, что аккадское слово означало не "топор", а "ветерено" [Chantraine 1974: 875]). Следовательно, протеродинамические флексии развивались и в заимствованиях, что свидетельствует о продуктивности процесса. Вообще, при обзоре основных индоевропейских языков становится очевидным, что "открытая" флексия вытесняла "закрытую". В латыни, балтийских, славянских и готском имелось только "открытое" спряжение, в греческом и индоиранском "открытые" парадигмы количественно заметно превосходили "закрытые". Из 50 имен на *-u*, в Ригведе, рассмотренных нами методом случайной выборки, только 3 (*vásu*, *mádhv*, *pácu*) образовывали, наряду с "открытым" и "закрытые" генитивы. Во всех остальных "слабые" падежные формы маркировались основой *-av-*. Протеродинамическая флексия внедрилась и в производные имена. Она характеризует большинство основ на *-tu-*: *tri-dhatú* – *tridhatávas* (*gāvas*) "владеющие тройным добром (коровы)"; *yatú* "колдовство; колдовское существо, демон (обычно в мн.ч.) – им.п. мн.ч.

¹⁴ По фонетическим законам латыни **ei + V > av*, греч. *ιέFος* – лат. *novus*.

yatdvas, *ῥτή* "время" – *ῥτός*, *vastu* "жилище" – *vastos* (ср. греч. ἄστυ – ἄστεως). Исключения: *krātu* "сила" – *krátos/krátvas*, *pitú* "жидкость, питье" – *pitvás*. Но несмотря на преобладание "открытых" флексий, для этого типа несомненна исконность "закрытых". Наряду с соответствием *vastos/ἄστεος* в греческом засвидетельствована форма ἄστός (*ἄστFός*) "горожанин", репрезентирующая архаический генитив с исконной окситонностью. В древнеиндийском архаические производные также отражают гистеродинамическое спряжение: наречие *kítvas* "раз" происходит из вин.п. мн.ч. незасвидетельствованного прилагательного **kítu* "единичный" (ср. наречие *sa-kít* "однажды"). Другие производные от суффикса **-tu-* также демонстрируют гистеродинамический тип: слав. *въ-твъ*, русск. *бу-тва*, *бру-тва*.

Как же соотносились протеро- и гистеродинамические имена? По мнению Э. Бенвениста [Бенвенист 1955], имена с закрытой флексией первичны, с открытой – морфологически производны. Е. Курилович [Курилович 1964] связывал эту оппозицию с категорией одушевленности неодушевленности. Имена среднего рода *páçu*, *mádhu*, *vásu* склоняются как гистеродинамические, соответственно м.р. *vásu*, *púça*, *mádhu* – как протеродинамические. Но Миллер на это с полным основанием возражает, что имя *páçu* относится к мужскому роду и не может поэтому считаться неодушевленным. Он же указывает на то, что чисто количественно протеродинамические формы сильно уступают в Ригведе гистеродинамическим: 6 *dyóh* – свыше 400 *diváh*, 13 *mádhoh* – 67 *mádhvah*, 8 *vásoh* – 38 *vásvah* (правильная цифра – 41). В этом заключается некоторый парадокс: "открытая" флексия в древнеиндийском явно преобладает. Но у имен, допускающих "открытые" и "закрытые" дублиеты, явно преобладают последние. Это может свидетельствовать именно о том, что продуктивный протеродинамический тип в основах на *-u-* вытеснял гистеродинамический. Заслуживает внимания и то, что между генитивами на *-vas* и *-os* можно наблюдать некоторые (пусть неявные, сугубо вероятностные) семантические различия. Первые проявляют тенденцию маркировать имена среднего рода. Так, по Грассману, из 67 форм *mádhvas* 51 относится либо к прилагательному ср.р. "сладкое", либо к существительному ср.р. "мёд"; из 41 *vásvas* 36 относится к имени ср.р. "добро, благо".

Оба типа Миллер с основанием относит к индоевропейским. Следует отметить своеобразное отражение форм **pékulpekú* в латыни. Имя среднего рода *pecus* (*pecoris*) "мелкий рогатый скот" должно было иметь генитив **pecvis*, но уподобилось сигматическим именам ср.р. типа *tempus* (*temporis*). Имя же женского рода *pecūs* (*pecūdis*) "крупный рогатый скот" образовало генитив путем расширения **pecūs* (<**pekéus*), по аналогии с именами ж.р. типа *palus* (*palūdis*). Латинские данные косвенно подтверждают версию Миллера: "закрытая" флексия тяготеет к среднему роду неодушевленным именам, "открытая" – к одушевленным именам.

Отвечая на вопрос о соотношении протеро- и гистеродинамических типов, Миллер высказывает чрезвычайно важное положение: в праиндоевропейском существовала особая основа имени типа **medhéu*, которая могла быть либо прилагательным, либо наречием. Нужно заметить, впрочем, что наречная функция у этих форм реально не наблюдается, так что они могли быть либо прилагательными, либо существительными. Существуют ли непосредственные отражения этой основы в зафиксированных языках? Очевидно, здесь можно указать на основы, образующие номинатив с дифтонгом *-ei-*, *-eu-*: хетт. *harnaus* "ложе родильницы", др.-перс. *dahyaus* "страна", авест. *aš-bāzaus* "сильноногий", *pərəsau-* "ребро" (вин.п. *pərəsaum*); греч. βασιλεύς "царь", χελεύς κισάρα (Hes.) "кифара, лира", также имена деятеля типа γονεύς "родитель", γραφεύς "писец", φονεύς "убийца; убийственный". Все эти имена следует разделить на две группы: производные имена и *nomina agentis*. Этимология хетт. *harnaus* неясна; авест. *ašbāzaus* соотносится с *bāzu-*, др.-инд. *bāhu* "рука", греч. πῆχυς "локоть". Эта форма репрезентирует основу косвенного падежа (ср. *bazu-*, однотипное с *xrauis* – род.п. *xrauis*; др.-инд. *bāhu* – *bāhoh*, греч. πῆχυς – πῆχης), функционирует

же как адъектив; следовательно, формально и семантически она очень близка к восстановленной Миллером форме **medhéus*. Др.-перс. *dahyauf* находится в таком же соотношении с др.-инд. *dasyu* "враг". На первый взгляд, связь понятий "враг" и "страна" кажется непонятной; но если предположить, что древнеиндийское имя означало сперва "чужой" (ср. однокоренное *dasa*¹⁵ "чужой"). Такая семантическая связь понятий "страна" и "чужой" можно считать семантической фреквенталией: русск. *стран-ный* (заимствовано из церковнославянского, где означает также "чужой, другой"), *сторонний*, *посторонний*, *сторониться*. Механизм образования этой фреквенталии вполне понятен: "страна" (как отдельная область) > "отдельная страна" > "чужая страна" (развитие значений могло идти и в обратном порядке). Наконец, греч. *χέλευς* есть производное от *χέλυς* "черепаха", т.е. "черепаховый", изготовленный из панциря черепахи инструмент.

Таким образом, именам на *-*eu*- невозможно приписать некоторое априорное качество. Не все из них являются прилагательными или одушевленными. Так что придется прибегнуть к иным дефинициям. Те из них, которые соотносятся с именами на *-*u*-, могут быть названы производными, так как обозначают сущности, производные от именуемых основами на -*u*-. Имя *aṣṭbāzauš* указывает на принадлежность к классу, образованному свойством, именуемым *bazu*; *dahyauf* называет свойство, связанное с **dahyu* (др.-инд. *dasyu*), *χέλευς* – имя, производное от *χέλυς*. Выражение имени принадлежности к классу, подобия и производного имени – одна из важнейших функций ААП в словообразовании. Мы уже упоминали генитивы, перешедшие в номинативы (хетт. *tajazil* – *tajazilas*, также *ṽastul* "грех" – *ṽastulas* "грешник"); приведем еще несколько примеров: греч. *Fάστυ* "город" – *FάστΓός* "горожанин", *ὑβύυ* "колени (<"выпуклость")" – *ὑβύύς* "холм (<"выпуклый, подобный колени")", др.-инд. *iṣ* "жертвенное питье" – *iṣāḥ* "относящийся к жертвенному питью". Взаимоотношение **médhu* "мед" и *m.dhéus* "медовый" формально и семантически близко к взаимоотношению **bhéh₂s* "носитель" (основной, постоянный признак); "ноша" и **bh₂rélós* "несущий" (частный, ситуационный признак), а также генитив от предыдущего. Иными словами, протеродинамические основы обязаны своим появлением все той же аблаутно-акцентной парадигмы, которая разделяет корневые имена на баритонные (атематические) имена классов и постоянных признаков и окситонные тематические имена принадлежности к классу и временных признаков.

Теперь сопоставим реконструированную основу с некоторыми из приведенных выше фактов. Ясно, что, поскольку она определяется как аппозитивная, то прежде всего она сохраняется в прилагательных. Это очевидно не только в древнеиндийском, но и в хеттском, ср. *genu* – *geniuas* "колени", но *assu* – *assauas* "хороший" (ср. [Lamberterie 1990: 47]; еще более показательны существительные и прилагательные на -*i*: в первых наличествует номинатив -*ai*- /слабая основа -*ia*- (<**-ó-i-ió-*), *zahhais/zahhijas* "битва", *lingais/linkijas* "клятва", в прилагательных, наоборот, -*i*- представлено в прямых падежах, -*ai*- – в косвенных: *suppis/suppaias* "чистый", *sallis/sallaias* "большой". Имена типа *zahhais*, *lingais* заимствовали полногласие номинатива от гистеродинамических основ типа *tekan/tagnas* "земля", *laman/lamnas* "имя". Что же касается адъективов, то редукция основы в номинативе объясняется, по-видимому, аналогией с атематическими основами: *medhuós*: *médhu* = *medhéus*: *medh₂ús* > **medhéus*: *medhús*. Окситонеза отличила эту новую производную основу от старой баритонной. Так объясняется номинатив прилагательных на *i*-, *-u*-. Вместе с тем можно отметить и важное различие существительных и прилагательных, образованных от древней аппозитивной производной основы на **-éi-/éu-*: эта основа может сохраняться и в

¹⁵ Возможно, что тот же корень присутствует и в греч. *δοῦλος*, микен. *doero* <**doselos* "чужой" > "пленный; раб". Впрочем, сейчас многие ученые считают это имя заимствованным из какого-то неиндоевропейского языка [Frisk 1954, s.v. *δοῦλος*].

номинативе; процесс редукции субстантивных номинативов (*-*éu-s* → -*us*) охватил все существительные в древнеиндийском, но не затронул часть древнегреческих, также древнеперсидские, авестийские и хеттские имена.

Следует отметить, что одушевленные имена нередко оформляются как морфологически производные (*taiazil* – *taiazilas*, ἄστν - ἄστός). Женский род также образуется с помощью формантов производного имени: лат. *genitor* "родитель" – *genitrix* "родительница" (родовая оппозиция), но *mater* "мать" – *matrix* "кормилица" (первичное имя – производное имя, обозначающее подобие). Ср. с тем же суффиксом *-*iH-*: др.-инд. *vřkas* "волк" – *vřki* "волчица", греч. *λύκος* "волк", но *λύσσα* (<**λύκiα*) "бешенство (<"свойство волка")". Поэтому производная аппозитивная основа типа **medhēus* приняла участие в образовании имен женского рода *kadrū*, *agrū*, *jaiū*. Такое утверждение противоречит наличию у них гистеродинамических генитивов. Однако, как мы отметили, род.п. -*īvas* вторичен, о чем свидетельствует ударность и сохранение слогового качества сонанта; исконный генитив имел вид *-*uós* > -*vás*. Эти имена возникли из основы **medhēu-* путем стяжения второго слога (по аналогии с именами на -*u-*). Следом этого прототипа явилась их окситонность и фиксированность ударения в склонении.

В греческих же именах деятеля на *-*éu-* изменения основы в номинативе не произошло. Происхождение этих имен было предметом дискуссии. Я. Вакернагель [Wackernagel 1879] сравнивал их с др.-инд. суффиксом прилагательных на -*u-*, присоединившимся к тематической основе (*ασναυί* "любящий лошадей") К. Бругман [Brugmann 1900: 185] полагал, что они образованы от фреквентативных глаголов на *-*eio-*, подобно тому как ц.-слав. *ласкавъ* – от *ласкати*. Но нам удалось найти однокоренные глаголы на -*ew* только для двух имен: *φορεύς* "носильщик" – *φορέω* и *отроφεύς* "дверной крюк" – *отроφέω*. Для остальных 13 имен такой словообразовательной связи непосредственно найти не удастся. Нам представляется, что обзор форм на -*εύς* целесообразно начать с тех, которые не соотносимы с первичными глаголами. Это *ιερεύς* "священник" (*ιερός* "святой") и *ιππεύς* "всадник" (*ιππος* "лошадь"). Здесь совершенно очевидно, что мы имеем дело с производным именем, означающим "имеющий отношение к" (депотату, обозначенному как существительным, так и прилагательным). Такая интерпретация объясняет и отглагольные имена на -*εύς*. Их естественно связать с отглагольными именами типа *τόμος* - *τομός*: от этого корня имеем *τομεύς* "нож; отсекающий". Ср. также *δρομος* "бег" – *δρομεύς* "бегущий"; *φόνος* "убийство", *φονός* "убийственный" – *φονεύς* "убийца; губительный"; *πομπός* "сопровождающий" – *πομπεύς* "проводящий, спутник; участвующий в процессии"; *φόρος* "ноша", *φορός* "несущий; попутный ветер" – *φορεύς* "носильщик; вьючный". Ряд имен на -*εύς* функционируют не только как существительные, но и как прилагательные одного окончания. Это доказывает правильность нашего определения древней производной базы на *-*éu-*, лежащей в их основе.

Но у имен на -*εύς* и существительных на -*v-* есть важное отличие от прилагательных на -*v-*: анофония косвенных падежей. В первом случае гласный перед -*v-* удлиняется, во втором остается кратким: *ιερεύς* – *ιερῆος* (позднее *ιερέως*), но *ὄξυς* – *ὄξεος*. Судя по всему, долгота гласного должна была характеризовать и номинатив этих имен, ср. упоминавшееся авест. *ašbāzauš*. На наш взгляд, это объясняется аналогией с остальными атематическими именами, у которых в номинативе происходило удлинение гласного: **bhor-s* > *φάρ*, **dōtor-s* > *δάτῆρ*, *δῶτωρ*, **dotér-s* > *δάτῆρ*, *δοτήρ*. В ряду случаев продленная ступень вокализма обобщалась и в косвенных падежах: греч. *φάρος*, *δοτήρος*¹⁶.

¹⁶ У нас нет возможности сейчас рассмотреть проблему происхождения продленной ступени в именах в полном объеме. Укажем лишь на основополагающие работы [Streitberg 1894], где длительность гласного связывается с выпадением *-*s#* и заместительным удлинением; [Pisani 1932], где высказано предположение о психологических причинах удлинения.

Развитие основы * *medhéu* мы можем представить в виде следующей схемы:

→ // *-*tér* → * *medhéus* (существительное, помен agentis)

* *medhéu-*

→ // * *pód_es* → ×
* *medhús* (производное существительное, прилагательное)

(// – знак аттракции, × – дистракции; обе категории легко могут быть разъяснены в рамках концепции В.К. Журавлева [Журавлев 1991]: аттракция – усиление морфологической нейтрализации, дистракция – морфологической оппозиции)

Реконструкция основы типа * *medhéu-* хорошо соотносится с нашими наблюдениями над акростатическим склонением. В самом деле, чем оппозиция * *dom-ldéms* отличается от * *médhu-/medhéus*? Только тем, что в первом случае вокальный элемент (в односложной основе) в безударном положении не редуцируется, а меняет качество, во втором, при наличии слогообразующего сонанта – редуцируется. Таким образом, на основании изучения как акростатических, так и протеродинамических имен мы можем восстановить основу типа *R-éC* (*R* – корень). Она могла функционировать как аппозитивный и генитивный атрибут. Отсутствие синкопы безударной гласной у "акростатических" имен объясняется фонетическими условиями. Так, упоминавшееся авест. *hvarə*, род. п. *xvəng* (* *suols/syens*) могло быть образовано по аналогии. Индо-европейские соответствия этому корню демонстрируют ступень *e*: лат. *sol* < * *suel*, также др.-инд. *svar*. Несколько иная ступень корня представлена в греч. ἥλιος < * *sāuelios*, ср. хетт. *ḪUTU-liias* "бог солнца [Puhvel 1992]; в лит. *saūle*, лтп. *saule* наличествует бенвенистова основа I; слав. слъно-, гот. *sunno* репрезентируют 0 ступень как корня, так и суффикса. Таким образом, основа этого имени отличалась богатством (* *sayél/syél/sul/sun*) вариаций, что делает допустимым предположение о возникновении формы * *suol-* > авест. *hvarə* в синтагматически безударной позиции. Др.-ирл. *ainm/anme*, как мы отмечали, относится скорее к протеродинамическим, чем к аристократическим именам: оно репрезентирует пракельт. * *anim/anme-ns* < и.-е. * *anm̥/ən-méns*. В этой связи целесообразно сопоставить древнеирландское имя с древнепрусским. Здесь находим: номинатив *emmens* (*twais emmens* "твое имя" в I, 9, 15) и *emnes* (*twais emnes* в III, 47, 15), accusativ *emnen* (*thou nu tur schan emnen twaise deiwas nu anterpisquan menentwey* (I, 5, 6) "ты не должен имя господ твоего без нужды упоминать"); ср. предложные конструкции *en emnen* "во имя" (II, 11, 15; III, 59, 15) и *sta emnan* (III, 27, 15). Делая поправку на известное несовершенство записи прусских текстов, отметим, что они дают основание предположить наличие двух вариантов: *emmens* (< * *en-mens* < * *ən-mén-s* и *emnes* < * *emnes* < * *ən-mn-és*). Показатель номинатива -s закономерно чередуется в парадигме с accusativным -n (< *-m). Форма *emmens* пофонемно совпадает с ирландским генитивом *anme*. Но она функционирует как номинатив и восходит к неоднократно упоминавшейся нами аппозитивной основе. Вариант *emnes* есть, очевидно, гистеродинамический генитив от основы * *anm̥* или ее тематизация. Его семантическая оппозиция с атематической основой ослабла. Такой процесс хорошо известен, ср. лат. *termin*, греч. *térma*, "граница, предел" = *terminus*. В чем состояла особенность семантики прусского *emmens/emnes* – трудно сказать из-за ограниченности контекстов (5 словоформ); кроме того, все связанные прусские тексты суть переводные. Однако вполне очевидно, что морфологическая оппозиция, представленная в этих вариантах, достаточно архаична.

Обратим внимание и вот на что. Форма * *ən-m̥*/* *ən-méns* выступает как протеродинамическая. Образованное же с помощью родственного суффикса авест. *haxman* / род. п. *haxmang* "потомство" трактуется уже как акростатическая форма. Но в чем состоит их различие? Только в том, что в форме * *ən-m̥* суффикс находится в 0

ступени корневого вокализма. Эта особенность связана не с фонологической или акцентологической характеристикой суффикса, а исключительно с его морфологической функцией: вариант *-*nīl*- маркирует имена среднего рода (неодушевленные), а *-*monl*-*men* – имена мужского рода (одушевленные). Таким образом, различие между акростатическим и протеродинамическим типом обусловлено не тоновой характеристикой слога и морфемы, а сложным комплексом морфосемантических функций акцента.

Архаизмом является и качество гласного перед флексией номинатива, наблюдаемое в прусс. *emnex*. Степень *e* тематического гласного находит параллель в др.-инд. прилагательных типа *gucá*, *bhujá*. Кроме того, ее следы обнаруживаются в латыни. Г. Надь [Nagy 1970, ch. I] обратил внимание на то, что ряд прилагательных содержит морфему *-es-*, стоящую непосредственно перед адъективным суффиксом: *modus* – *modes-tus*, *ager* – *agres-tis*, *domus* – *domes-ticus*. Особенно показателен дериват от *honos* "честь" – *honestus* "почтенный". Имя *honos* склоняется с сохранением ступени *o* в косвенных падежах (род. п. *honoris*); однако эта парадигма сигматических имен в латыни явно менее архаична, чем склонение с чередованием гласных. Ср. *tempus/temporis*, но древняя производная основа сохранялась в *temperare*, *tempestas*. Сама же сигматическая основа, по мнению Нады, есть не что иное, как распространение флексии номинатива на всю основу. В этом отношении показателен дублет: *pondus* "вес", род. п. *ponderis*, но в архаической латыни встретилась форма аблатива *pondo* (XII Tab., III, 3), предполагающая тематическую основу *pondus* – **pondi* [Nagy 1970: 113]. К этому можно прибавить еще несколько примеров обобщенной флексии номинатива: им. п. *vis* "сила", аккузатив *vi* – множественное число *vires* < **vīses*; номинатив *spes* – производный глагол *spero* < **spesai-o* "я надеюсь". Надь полагает, что между суффиксом *-es-* и флексией номинатива *-s* отсутствует семантическая оппозиция. На латинской почве это справедливо; насколько такое состояние допустимо экстраполировать в праязык – вопрос спорный. Но в целом наблюдение Г. Нады (которое я бы назвал открытием) позволяет реконструировать особый класс имен в латыни. В самом деле, если *ager* "поле", *agrestis* – "полевой", *resp. modus* "мера", *modestus* – "умеренный", и в основе прилагательных лежат имена **agres*, **modes*, то можно попытаться определить и их грамматико-семантические характеристики. Понятна условность таких попыток: оппозиция между различными разрядами имен могут нейтрализоваться (в чем можно убедиться и по материалам нашей работы), но процедура системной реконструкции требует нахождения для каждого морфемного комплекса присущего только ему значения. Можно предположить, что имя **agres* (< праиталийск. **agrés*) отличалось и от имени неодушевленного предмета *ager*, и от адъектива *agrestis* тем, что обозначало не отдельный признак, а некоторое качество одушевленного лица: "полевой житель", соответственно в основе *domesticus* лежит имя **domes*, *honestus* – **hones*, которое можно определить примерно так же.

Такая реконструкция находит подтверждение в наблюдаемых языковых фактах. В латыни есть небольшая класс имен, образованных от существительных, обозначающих деятеля, лицо, имеющее отношение к предмету, и маркированных суффиксом *-es*, род. п. *-itis*. К примеру: *pes* "нога" – *pedes* "пешеход", *equus* "лошадь" – *eques* "всадник". Показательно, что именно от таких существительных образуются адъективы: *pedes-ter* "пеший", *eques-ter* "конный". Своей морфологической структурой и функциональной ролью эти субстантивы близки к реконструированным на *-es*. Что же касается морфемы **-t-*, то она иногда может выступать как субститут **-s-*: греч. γέλως (< **γέλα-ος*, ср. глагол γελάω < **γελάσω*, причастие γελαστός) – генитив γέλωτος, ἔρως (**ερα-ος*, ср. ερω < **ερασω*, имя деятеля εραστής) – ἔρωτος; совершенное причастие λελυκός – λελυκότος. Об исконности *-s-* свидетельствует др.-инд. *vidvān* "знающий" – род. п. *viduśás*. Однако форма среднего рода *vidvat* как будто свидетельствует о том, что оба варианта причастного суффикса – **uos-* и **-uot-* – могут быть экстраполированы в праязык.

Если предложенное сопоставление верно, то можно говорить о существовании класса *nomina copulata* с суффиксом *-és-/s-ét-. В древнегреческом этот словообразовательный тип был продуктивным. Большинство имен, образованных с его помощью, образовано от глаголов, но связь с корневыми глагольными именами тоже бессловна: γόος "крик" – γοής¹⁷ "колдун; обманщик"; γόνος "рождение" – ἑτερο-γυής "принадлежащий к чужому роду" (параллельно с сигматическим ἑτερο-γένης); πλάγιος "блуждание, отклонение" – πλανής "бродяга"; φορβόν "пища" – φορβήτες ἰομεῖς (Hes.) "птахи". Этот тип имен образован тем же грамматическим способом, что и рассмотренная выше основа *medhéu-: передвижением акцента на гласный, предшествующий последнему консонанту основы. Таким образом, мы можем утверждать, что образование этих форм ничем принципиально не отличается от типа φῶρ – φορβς. Передвижение акцента в именных основах образует имена, которые условно можно назвать конкретными, а для более их точной характеристики целесообразно прибегнуть к уже упоминавшемуся нами ряду сем: абстрактные имена/имена действия/имена результата/имена деятеля/аппозиции/адъективы. Имя со сдвинутым вправо ударением стремится в правую часть этого списка. Такая закономерность была нами прослежена на материале древнеиндийских и древнегреческих имен типа φορβς, σκοπός [Krasuchin 1996]; она может наблюдаться и в более широком классе имен, характеризующихся сдвигом акцента.

Суффикс (é)s- оказался идентичен флексии номинатива. На основании аргументов Г. Нады мы можем полагать, что они имеют общее происхождение. Семантика аффикса *-s давно уже была определена как выражение единичности предмета [Lehmann 1958; Erhart 1967]. Надо сказать, что сигматические имена на *-osl*-es- в общем отвечают этой характеристике. Так, имя γένος = лат. *genus* = др.-инд. *jānas* в отличие от γόος "рождение" обозначает нечто предметное и компактное. Такая определенность значения, по-видимому, способствовала тому, что и в греческом, и в латыни это имя превратилось в научный термин. Таким образом, словоформа, оканчивающаяся на *-és#, могла развиваться двояко: ауслат мог обобщиться и выступать как показатель основы, и в этом случае формировалось сигматическое склонение; ауслат номинативной формы мог чередоваться с другими флексиями, ложась в основу тематического склонения. При этом некоторые флексии тематического спряжения демонстрируют явную близость к иному типу: *genes-ós – *ul^hos-io. Первый генитив образован присоединением стандартной генитивной флексии к сигматической основе, второй – формантом местоименного происхождения, присоединившемся к номинативу [Knobloch 1951]. В обоих случаях собственно сигматическая основа остается неизменной. Не углубляясь во все вопросы, связанные с реконструкцией индоевропейского склонения, отметим, что сигматическая форма, таким образом, характеризуется теми же базовыми чертами, что и многое реконструированные единицы: они могут принадлежать к различным грамматическим категориям. Окситонное имя функционирует как номинатив и генитив баритонного; сигматическая словоформа – как номинатив сигматического и асигматического имени. В предыстории слова может меняться его формальная и основная (в фортунатовском смысле слова) принадлежность [Фортунатов 1956]; примеры подобной эволюции слова см. в [Hoenigswald 1960: 45–8]. Это явление требует дальнейших исследований.

5. Для исторической акцентологии большое значение имеет и исследование передвижений ударения в многосложной основе. В лингвистике давно рассматривалось понятие *Schwebeablaut* (подвижный аблаут) [Anttila 1969]; именно на нём основана и теория корня Э. Бенвениста [1955], различающая состояние I (CVCC) и II (CCVC). Эта теория подвергалась критике за ее статичность [Макаев 1970]. Но следует заметить, что независимо от Бенвениста сходную теорию предложил и Ф. Кёйпер [Kuiper 1937]. С его точки зрения, присоединение аффикса к корню происходило следующим образом: корень CVC- + аффикс VC → новая структура CCVC, которая

¹⁷ Все приводимые формы имеют в косвенных падежах основу -т-.

затем по аналогии могла изменяться в CVCC. Г. Надь развил идею динамического корня следующим образом: к структуре CVCC мог присоединяться новый аффикс ϵ C (ϵ – любой гласный), так что образовывалась новая структура CCC ϵ C, которая получает наименование состояния Π_2 . Соответственно структура CC ϵ CC, возникшая по аналогии, именуется состоянием I_2 . Следовательно, динамика корней приводит к формированию структур Π_n (с ауслаутом – ϵ C-) и I_n (- ϵ CC-). Этот процесс Надь [Nagy 1970: 117–8] иллюстрирует на примере корня с первичным набором согласных **dr*: I (исходный вариант) **dér* + **-éu* → **dréu*- (состояние Π_1 , вед. *dró-h* "дерева"); состояние I_1 **deru*- (вед. *dâru*, греч. *dôru*, о.-слав. **dervo*, хетт. *taru*, лит. *dervà* "смола"). Путем наращенния аффикса от основы Π_1 может быть образована основа I_2 **dreu-s*. Именно такая форма (с обобщением *-eu* в склонении) в данном словообразовательном гнезде не зафиксирована, но др.-перс. *dahyaus*, авест. *ašbāzauš*, греч. $\chi\epsilon\lambda\epsilon\upsilon\varsigma$ относятся к состоянию I_2 . Далее образуется новая основа Π_2 **dru(u)-ós*: греч. генитив *δρυός*, обще-слав. **drъvo* (русск. *дрова*), авест. *drvaena* "деревянный", от нее – Π_3 **drun-os*: вед. генитив *drunáh*; с тем же детерминативом – вариант I_2 **dréu-n*: др.-инд. *drónah* (< **dréunos*) "дерево (материал), деревянная бочка".

С помощью таких несложных операций удается описать целые словообразовательные ряды для того этапа индоевропейского языкового состояния, когда словообразование омушествовалось благодаря детерминативам. Здесь, впрочем, мы должны сделать существенную оговорку. Отличие детерминатива от словообразовательного суффикса и словоизменительного форманта, как его понимал основатель учения о детерминативе П. Перссон [Persson 1899], заключается в том, что детерминатив не придавал корню какого-то особого дополнительного значения. Но такая точка зрения на детерминатив, по-видимому, экстраполирует данные засвидетельствованных языков на праиндоевропейский. В живых языках корни с детерминативами действительно могут не различаться по значению друг от друга. В чем различие, например, греч. $\acute{\alpha}\xi\omega\nu$ "ось" и лат. *axis* "то же"? Но фронтальное обследование детерминативов позволяет все же выявить следы их грамматических значений. Так, Ф. Кёйпер [Kuiper 1937: 17–19] полагал, что в составе глагольного корня детерминатив **-s*- обозначал завершенность и/или интенсивность действия, а **-m*- – его длительность. Таким образом, различие между суффиксом и детерминативом состоит не в том, что последний обязательно асемангичен. Суффикс в отличие от детерминатива переводит слово в иной грамматический класс, т.е. сообщает ему свойственные именно для этого класса формальные показатели и синтаксические валентности. Вполне возможно, что детерминативы тоже обладали такими же свойствами, т.е. были полноценными суффиксами, но затем утратили свое специфическое значение. Как было показано выше, для них оказывается существенным значение не столько отдельных элементов, сколько их акцентуация. Ср. различия имен на **-u* и **-éu*. Поэтому закономерен вопрос: какие существуют различия между состояниями I и II корня? В некоторых корнях семантические различия не прослеживаются: вед. *vivakti* "говорить" значит то же, что авест. *aok-* (**cek^u-/*euk^u-*); ср. также греч. $\epsilon\acute{\iota}\pi\omega\nu$ < **éFeup-*. Соответственно, греч. $\sigma\kappa\epsilon\lambda\epsilon\tau\acute{o}\varsigma$ "сухой" синонимичен $\sigma\kappa\lambda\eta\rho\acute{o}\varsigma$; суффиксы могут присоединяться к корню в обоих состояниях: греч. $\gamma\acute{\epsilon}\nu\epsilon\sigma\iota\varsigma$ (< **genə-*)/ $\tau\mu\eta\sigma\iota\varsigma$ (< **tmeə*). Поэтому мы можем выделить два типа отношений между состояниями корня. 1. Равнозначность (примеры выше). 2. Неравнозначность: др.-инд. *páriman* – греч. $\pi\lambda\eta\rho\acute{\eta}\varsigma$, лат. *plēnus* (**pelə/*pleə-*); первое имя абстрактно, второе конкретно. Аналогично соотносятся греч. $\gamma\acute{\epsilon}\nu\epsilon\sigma\iota\varsigma$ "рождение" – $\gamma\eta\tau\acute{\iota}\sigma\iota\varsigma$ "родственный", $\sigma\kappa\acute{\epsilon}\lambda\omicron\varsigma$ "бедро, голень" – $\sigma\kappa\lambda\eta\rho\acute{o}\varsigma$ "твердый, сухой". Имена в состоянии II стремятся в правый край нашего списка имен, а в состоянии I – в левый. В глаголах заслуживают внимания варианты **genə/*gnəə*. Первый из них означает "рождать", второй получает специфическое значение "знать" (греч. $\gamma\acute{\iota}\gamma\nu\omega\sigma\kappa\omega$, аор. $\xi\gamma\upsilon\omega\nu$, др.-инд. аор. *djñāṣīt*, лат. *nosco*). Как показывает близкий по семантике корень **ueid-luid-*, значение "знать" отличается от иных, выражаемых

данным корнем, направленностью на внутреннее состояние субъекта и выражается перфектным, т.е. восходящим к окситонному, вариантом (греч. *oída*, др.-инд. *véda*). Таким образом, корень * *gno-* оказывается близким к окситонному (с ударным вокальным ауслутом). Другой пример – греческие дериваты от корня * *tel-*/*tl-*/* *tlatle-*. Этот корень в значительной мере дефектен. От него образуется только аорист *táλασαι/τλήναι* и перфект с основой *tétla-*. Какой-либо дифференциации в значении между сигматическим и корневым аористом не наблюдается. Но некоторые производные формы (*τάλασα* "пряжа", *τελάμων* "перевязь") наводят на мысль о том, что корень * *téla* мог означать "нести, тащить", а его вариант * *tle-* – "сносить, претерпевать" (*τλήμων* "несчастный"). Оппозиция I и II состояний глагольного корня реализуется в плане содержания как оппозиция внешнего действия и внутреннего состояния, она оказывается изоморфной оппозиции атематического и окситонного глагола типа др.-инд. *dógdhi* "(человек) доит" и *duhé* "(корова) доится, дает молоко" [Krasuchin 1996; Krasuchin 1998]. Но в глаголе перенос ударения на детерминатив оказался связан не столько с диатезными, сколько с аспектно-временными категориями [Ehant 1975; 1989], поэтому примеры диатезной оппозиции у корней типа *CVCC/CCVC* редки.

В именах же передвижение акцента не на абсолютный ауслут, а просто вправо создает оппозиции, аналогичные типу *tómos – torós*. Они не столь грамматически регулярны, потому что инлаут основы не связан с грамматическими показателями так тесно, как ауслут. Однако полученных данных достаточно для следующего утверждения. Передвижение акцента вправо имело строго определенное значение, описанное в концепции аблаутно-акцентной парадигмы. Именно поэтому все известные примеры акростатического и протеродинамического спряжения по сути образованы одним и тем же грамматическим способом: передвижением акцента вправо (или как вариант – ударностью / безударностью односложного имени).

7. Данный грамматический способ отчасти сохранял свое значение и в период ослабления силовой компоненты индоевропейского акцента. В это время получили широкое распространение словоформы, имеющие в своем составе более одного гласного. В раннеиндоевропейском они появлялись благодаря формуле *SWWS*; однако эта формула имеет исключений не меньше, чем правил, так как вокализм корня и аффиксов менялся под воздействием аналогии. Напротив, в позднеиндоевропейском множественность гласных в слове обуславливалась его сложной структурой – наличием корня и суффиксов. В этот период безударные гласные не синкопировались, а теряли лишь некоторые различительные черты – переднерядность или напряженность¹⁸. Так сформировалась оппозиция типа * *génos – genés*. Качественный и количественный аблаут суффикса стал важным средством его грамматической характеристики. Общие правила здесь таковы: суффикс в полной степени обозначает имя деятеля; он же с тематической гласной – пассивное или модальное прилагательное. Соответственно, суффикс в 0 степени маркирует имя действия. Степень *o* у полнозначных суффиксов маркирует абстрактные имена, степень *e* – конкретные имена и/или основу косвенного падежа. По такой модели построены варианты суффиксов **-men*: *nomina agentis* – греч. *ἡγεμών* "вождь", *πομπήν* "пастух", *nomina actionis* – греч. *πλήρωμα* "полнота", лат. *flumen* "река" (< "течение"), стативное прилагательное – медиопассивное причастие на **-menol*-*мно-*: греч. *-μενος*, др.-инд. *-māna*, также лат. *alu-mnus* "питомец", оппозиция **-mon*/**-men* – упоминавшиеся авест. *haxman/haxmang*, лит. *akmuð/jakmeiš*; **-ter*: *nomina agentis* – общий и абстрактный деятель – др.-инд. *dātār*, греч. *δῶτωρ* (вариант **-tor*), сиюминутный и конкретный – др.-инд. *dātār*, греч. *δοτήρ*; *nomina actionis* – **-trom*: др.-инд. *patrá* "чаша" (*pibati* "пить"), греч. *λέκτρον* (*λεχ* – "лежать"), лат. *spectrum* "взгляд" (*specio* "глядеть"). В хеттском имеется суффикс *nominum actionis -tar*: *lahhijatar* "поход" (*lahhija-* "отправлять"). Тот же суффикс образует и имена от прилагательных:

¹⁸ Как отмечалось, переход *e* в *o* в безударном положении мог происходить и в раннеиндоевропейском в условиях, неблагоприятных для синкопы.

idalayatar "злость" (*idalu* "плохой, злой"). В склонении он образует гетероклизу: *papratar* "осквернение" – род. п. *papranas*, *lahhiatar* – датив *lahhianni*. Суффикс *-ann-* < **-otn-* имеет слабую ступень вокализма; он представлен также в инфинитиве типа *aku-anna* "пить", *kun-anna* "убить" (чистая тематизированная основа). Эти инфинитивы имеют модально-эвентуальное значение [Фридрих 1952: 145; ср. Красухин 1996]. Полная ступень обнаруживается в литовских пассивных прилагательных долженствования: *dūrbtinas* "должный быть сделанным" (*dūrbti* "делать").

8. Таким образом, наличие протеродинамических презенсов, акростатических и протеродинамических косвенных падежей не противоречат правилам ААП. Все эти явления подчиняются единому правилу, которое мы можем назвать законом акцентного сдвига вправо. Этот сдвиг формировал слово, производное с формальной, грамматической и семантической точки зрения. Действие этого закона можно представить в следующей таблице:

Стандартное склонение	Акростатическое склонение		Протеродинамическое склонение	
	1-сложное имя	многосложное	адъективы	субстантивы
* <i>péd-s</i>	* <i>pətrós dom</i>	* <i>ák-mon,</i> * <i>génos</i>	* <i>medhú-s</i>	* <i>medheu-s</i>
* <i>podé-s</i>	* <i>déms potis</i>	* <i>akmén-s,</i> * <i>genés</i>	* <i>medhéu-s</i>	* <i>medhéu-s</i>

(в верхних строках "сильные" формы, в нижнем – "слабые").

В заключение мы должны с сожалением отметить, что несвоевременная публикация фундаментальных работ способна существенно задержать развитие науки. Пока что не издана и практически недоступна диссертация Й. Шиндлера – по крайней мере для тех, кому не предоставилась возможность посетить Вюрцбургский университет (я сужу о ней по заметке А. Баммесбергера [Bammesberger 1996]). Хотя значительный материал представлен в многочисленных статьях Шиндлера, но, будучи собран в монографии, он, конечно, значительно бы выиграл в наглядности. Еще меньше повезло диссертации Д.Г. Миллера. Хотя ее автор – очень деятельный лингвист, написавший много содержательных работ, в его известных мне публикациях вопросы индоевропейской морфонологии не рассматривались. По счастью, я получил возможность ознакомиться с этой диссертацией в библиотеке Лингвистического департамента Гарвардского университета. Думаю, что, появившись обе работы своевременно, они бы немало способствовали прогрессу индоевропейского языкознания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бадер Ф. 1988 – Флексии сигматического аориста // Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 21: Новое в современной индоевропеистике. М., 1988.
- Барроу Т. 1976 – Санскрит. М., 1976.
- Бенвенист Э. 1955 – Индоевропейское именное словообразование. М., 1955.
- Герценберг Л.Г. 1981 – Опыт реконструкции индоевропейской просодии. Л., 1981.
- Герценберг Л.Г. 1989 – Ближайшие перспективы индоевропеистики // Актуальные вопросы сравнительного языкознания. Л., 1989.
- Герценберг Л.Г. 1989а – Проблемы акцентологической реконструкции // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей: Реконструкция на отдельных уровнях языковой структуры. М., 1989.
- Журавлев В.К. 1991 – Диахроническая морфология. М., 1991.
- Зализняк А.А. 1987 – Краткий грамматический очерк санскрита // Кочергина В.А. Санскритско-русский словарь. М., 1987.
- Иванов Вяч.Вс. 1965 – Индоевропейская, анатолийская и праславянская языковые системы. М., 1965.

- Красухин К.Г. 1989 – Значение оппозиции тематических и атематических глагольных основ для индоевропейской реконструкции // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей: Реконструкция на отдельных уровнях языковой структуры. М., 1989.
- Красухин К.Г. 1990 – Некоторые проблемы реконструкции индоевропейского синтаксиса (в связи с выходом книги Ю.С. Степанова "Индоевропейское предложение") // ВЯ. 1990. № 6.
- Красухин К.Г. 1996 – Система индоевропейских инфинитивов и связанных с ними отглагольных имен // Вестник Московского университета. Сер. 9 "Филология". 1996. № 6.
- Макаев Э.А. 1970 – Структура слова в индоевропейских и германских языках. М., 1970.
- Миттельбергер Г. 1980 – Генитив и адъектив в анатолийских языках // Древние языки Малой Азии. М., 1980.
- ППС 1986 – Предметно-понятийный словарь греческого языка: Крито-микенский период. Л., 1986.
- Семереньи О. 1980 – Введение в сравнительное языкознание. М., 1980.
- Фортунатов Ф.Ф. 1956 – Сравнительное языковедение: Т. 1. М., 1956.
- Фридрих И. 1952 – Краткая грамматика хеттского языка. М., 1952.
- Шуриков О.С. 1983 – История греческого языка. М., 1983.
- Anttila R. 1969 – *Schwebeablaut*. N.Y.; L., 1969.
- Bader F. 1965 – *Les composés grecs du type DEMIOURGOS*. Paris, 1965.
- Bader F. 1976 – *Le présent du verbe être en indo-européen* // BSLP. 1976. V. 71.
- Bader F. 1977 – *Emplois récessifs d'un suffixe indo-européen *-tu* // BSLP. 1977. V. 72.
- Bammesberger A. 1996 – New publications: Recent Work on Proto-Germanic // UCLA Friends and Alumni of Indo-European studies newsletter. Jan.-Feb., 1996.
- Beekes R.S.P. 1985 – *The origins of Indo-European nominal inflection*. Innsbruck, 1985.
- Beekes R.S.P. 1995 – *Introduction in the historical and comparative linguistics*. Amsterdam; Philadelphia, 1995.
- Benveniste E. 1948 – *Noms d'agent et noms d'action en indo-européen*. Paris, 1948.
- Borgström C. 1949 – *Thought about Indo-European vowel-gradation* // NTS. V. 15. 1949.
- Brugmann K. 1900 – *Griechische Grammatik*. Leipzig, 1900.
- Brugmann K. 1922 – *Kurze vergleichende Grammatik der indogermanischen Sprachen*. Leipzig, 1922.
- Chadwick J., Baumbach L. 1963 – *The Mycenaean Greek vocabulary* // Glotta, 1963. Bd. 41.
- Chantraine P. 1974 – *Dictionnaire étymologique de la langue grecque*. V. III. Paris, 1974.
- Delbrück B. 1893 – *Vergleichende Syntax der indogermanischen Sprachen*. Halle/Saale, 1893.
- Eichner H. 1973 – *Die Etymologie von hethitischen mehur* // MSS. 1973. Hf. 31.
- Erhart A. 1967 – *Zur indoeuropäischen Nominalflexion* // Sborník praci filosofické fakulty Brněnské University. A 7. 1967.
- Erhart A. 1975 – *Der indoeuropäische Akzent und seine Funktion* // Sborník filosofické fakulty Brněnské University. A 13. 1975.
- Erhart A. 1989 – *Das indoeuropäische Verbalsystem*. Brno, 1989.
- Frisk H. 1954 – *Griechisches etymologisches Wörterbuch*. Heidelberg, 1954. Bd. 1.
- Fulk R. 1986 – *The origins of Indo-European quantitative Ablaut*. Innsbruck, 1986.
- Georgiev V.I. 1975 – *Zur Entstehung der indoeuropäischen Verbalkategorien* // Linguistique balkanique. 1975. V. 18.
- Hirt H. 1900 – *Der indogermanische Ablaut mit seiner besondern Beziehung zum Akzent*. Straßburg, 1900.
- Hock W. 1993-1994 – *Der indogermanische Flexionsakzent und die morphologische Akzentkonzeption* // MSS. 1993-4. Hf. 54.
- Hoenigswald H. 1960 – *Language change and linguistic reconstruction*. Chicago, 1960.
- Insler S. 1968 – *Sanskrit ipsāti and irtsāti* // IF. 1968. Bd. 73.
- Insler S. 1972 – *On proterodynamic root inflection* // MSS. 1972. Hf. 30.
- Jasanoff J. 1992 – *Morphological reconstruction: The role of o-grade in Hittite and Tocharian nominal inflection* // *Reconstructing languages and cultures*. Berlin; New York, 1992.
- Knobloch J. 1950 – *Zur Vorgeschichte des indogermanischen Genitivs des o-Stammes auf sju* // Sprache. 1950. Bd. 2.
- Krasuchin K.G. 1996 – *Studien zur Beziehungen zwischen indoeuropäischen Verben und Nomina* // IF. 1996. Bd. 101.
- Krasuchin K.G. 1997 – *Vollstufe versus Schwundstufe im indoeuropäischen Verbalsystem* // *The XIII International Conference on Historical Linguistics*. Düsseldorf, 1997.
- Krasuchin K.G. 1998 – *The indo-European Root *dheugh-: Morphology, meaning, etymology (with the comparison to the similar forms)* // JIES. 1988. V. 26.
- Kuiper F.B.J. 1934 – *Zur Geschichte der indo-iranischen s-Präsentia* // Acta orientalia, 1934. V. 12.
- Kuiper F.B.J. 1937 – *Die indogermanische Nasalpräsentia*. Amsterdam, 1937.
- Kuiper F.B.J. 1942 – *Notes on the Vedic noun inflection* // Meddelingen van Koninksten Netherland Akademie. 1942. V. 5.

- Kurylowicz J.* 1956 – L'apophonie en indo-européen. Wrocław, 1956.
- Kurylowicz J.* 1964 – The inflectional categories of Indo-European. Heidelberg, 1964.
- Lamberterie Ch. de* 1990 – Les adjectifs grecs en-ús. Louvaine-la-Neuve, 1990.
- Lehmann W.P.* 1958 – On earlier stages of the Indo-European nominal inflection // *Language*. 1958. V. 34.
- Macdonnell A.A.* 1916 – Vedic grammar for students. Oxford, 1916.
- Manczak W.* 1960 – Origines de l'apophonie *e/o* en indo-européen // *Lingua*. 1960. V. 9.
- Miller D.G.* 1969 – Studies in the forms of genitive singular in Indo-European: Dissertation Ph.D., Harvard University. Cambridge (MASS), 1969.
- Nagy G.* 1970 – Greek Dialects as the transformation of an Indo-European process. Cambridge (MASS), 1970.
- Narten J.* 1968 – Zum proterodynamischen Wurzelpräsens // *Pratidanam: Studies to honour F.B.J. Kuiper*. Hague, 1968.
- Oettinger N.* 1979 – Die Stammbildung des hethitischen Verbums. Nürnberg, 1979.
- Pedersen H.* 1926 – La cinquième déclinaison latine. København, 1926.
- Persson P.* 1899 – Beiträge zur indogermanischen Wortbildung. Uppsala, 1899.
- Pisani V.* 1932 – Le allungamento indo-europeo // *Revista italiana greco-latina*. 1932. V. 6.
- Putvel J.* 1992 – Philology and etymology, primarily in Anatolian // *Reconstructing languages and cultures*. B.: N.Y., 1992.
- Pulleublanç E.G.* 1965 – The Indo-European vowel system and qualitative ablaut // *Word*, 1965. V. 21.
- Rikov G.T.* 1986 – The Indo-European *ex*-conjugation and the origin of proterodynamic verb inflection // *Linguistique balkanique*. B., 1986. V. 29.
- Rikov G.T.* 1987 – The origin of Proto-Indo-European proterodynamic verb // *Proceedings of the XIV World congress of linguists*. B., 1987.
- Rix H.* 1976 – Historische Grammatik der griechischen Sprache. Darmstadt, 1976.
- Schindler J.* 1967 – Zum hethitischen *nekuz* // *KZ*. 1967. Bd. 81.
- Schindler J.* 1972 – L'apophonie des noms-racines indo-européens // *BSLP*. 1972. V. 67.
- Schindler J.* 1975 – L'apophonie des thèmes indo-européens *-r/-n* // *BSLP*. 1975. V. 70.
- Schmalstieg W.* 1980 – The Indo-European linguistics: A new synthesis. University Park. 1980.
- Streitherg W.* 1984 – Die Entstehung der Dehnstufe // *IF*. 1894. Bd. 3.
- Tanaka T.* 1997 – Remarks on the Germanic copula: A Reconsideration of PIE * *es-* and * *wes-* // *The XIII International conference of historical linguistics*. Düsseldorf, 1997.
- Wackernagel J.* 1879 – Gr. *τινευ* – skr. *asvayo* // *KZ*. 1879. Bd. 24.
- Wackernagel J.* 1916 – Studien zum griechischen Perfektum. Heidelberg, 1916.
- Watkins C.* 1965 – Latin *nox* 'by night': A problem in syntactic reconstruction // *Symbolae grammaticae in honorem Georgii Kurylowiczii*. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1965.
- Whitney W.D.* 1885 – Die Wurzel, Verbalformen und primären Stämme der Sanskrit-Sprache. Leipzig, 1885.

© 1998 г. Т.В. ТОПОРОВА

ОБ ОППОЗИЦИИ
 'ТЕМНЫЙ МИР' – 'СВЕТЛЫЙ МИР'
 В ДРЕВНЕГЕРМАНСКОЙ КОСМОГОНИИ*

В соответствии с древнегерманской космогонической концепцией, отраженной в двух наиболее важных древнеисландских памятниках письменности, в которых реализуется мифопоэтическая модель мира, – поэтическом эпосе "Старшая Эдда" (рукописи датируются второй половиной XIII – началом XIV вв.) и прозаической "Младшей Эдде", произведениях Снорри Стурлусона (1222–1225 гг.), предполагается существование двух первоначальных стихий – воды и огня, воплощенных в двух мифологических локусах – **Нифльхейме** и **Муспелльсхейме**. Приведем все фрагменты "Младшей Эдды", в которых речь идет о возникновении вселенной в результате взаимодействия первоначальных стихий – воды и огня. Ср. SnE 3: *Fyrr var þat morgum qldum, en iqrð var scqrubð, er Niflheimr var gorr, ok í honum miðium liggir bruðr sá, er Hvergelmir heitir ok þaðan af falla þær ár ... Fyrst var þó sá heimr í suðrhalfu, er Múspell heitir; hann er líóss ok heitr – sú átt er logandi ok brennandi – ok ófærr þeim, er þar eru útlendir ... Sá er Surtr nefndr, er þar sitr í landz-enda til landvarnar; ... ok í enda veraldar mun hann fara ok heria ok sigra qll goðin ok brenna allan heim með eldi...*¹ "За многие века до создания земли уже был сделан *Нифльхейм*. В середине его есть поток, что зовется Кипящий источник, и вытекают из него реки... Всего раньше была страна на юге, имя ей *Муспелль*. Это светлая и жаркая страна, все в ней горит и пылает. И нет туда доступа тем, кто там не живет... Суртом называют того, кто сидит на краю *Муспелля* и его защищает. ... когда настанет конец мира, он пойдет войною на богов и всех их победит и сожжет в пламени весь мир"; SnE 4: ... *Ar þær, er kallaðar Elivagar, þá er þær váru svá langt komnar frá uppsrettum, at eitrvika sú, er þar fylgði, harðnaði sva, sem sindr þat, er renn ór eldinum, þá varð þat íss, ok þa er sá íss gaf staðar ok rann eigi, þá hélði yfir þannung, en úr þat, er af stóð eitrinu, fraus at hrímini, ok iók hvert hrímit yfir annat alt í Ginnungagap. ... Ginnungagap, þat er vissi til norðrættar, fytisk með þunga ok hofugleik íss ok hríms ok inn í frá úr ok gustr; en enn syðri hlutr Ginnungagaps, létisk móti gneistum ok sium þeim, er flugu ór Múspellzheimi. ... Svá sem kalt stoð af Niflheimi ok allir hlutir grimmir, svá var alt þat, er vissi námunda Múspelli, heitt ok líóst, en Ginnungagap var svá hlætt sem lopt vindlaust; ok þá er mætti hríminu blær hitans, svá at braðnaði ok draup – ok af þeim kviku-dropum kviknaði með krapti þess, er til sendi hitann, ok varð mannz líkandi, sá nefndr Ymir, en hrítmþursar kalla hann Aurgelmi, ok eru þaðan komnar ættir hrítmþursa...*

*Статья выполнена при финансовой поддержке Российского Гуманитарного научного фонда по проекту № 98-04-06369.

¹В статье приняты следующие сокращения: SnE – Edda Snorra Sturlusonar; Vm. – Vafðrúðnismál. Древнегерманские тексты цитируются по: Edda. Die Lieder des Codex Regius nebst verwandten Denkmälern / von Gustav Neckel. Bd. I. Text. Vierte, umgearbeitete Auflage von Hans Kuhn. Heidelberg, 1962; Snorri Sturluson. Edda. Udvigen af Finnur Jonsson med bidrag af professoreernes fritryksskonto. København, 1990; Переводы текстов цитируются по:

Младшая Эдда. Издание подготовили О.А. Смирняцкая и М.И. Стеблин-Каменский. Ленинград, 1970.

Старшая Эдда. Древнеисландские песни о богах и героях. Перевод А.И. Корсуна. Редакция, вступительная статья и комментарии М.И. Стеблин-Каменского. Москва, Ленинград, 1963.

"Когда реки, что зовутся Эливагар, настолько удалились от своего начала, что их ядовитая вода застыла подобно шлаку, бегущему из огня, и стала льдом, и когда окреп тот лед и перестал течь, яд выступил наружу росой и превратился в иней, и этот иней слой за слоем заполнил Мировую бездну. ... Мировая бездна на севере вся заполнилась тяжестью льда и инея, южнее царили дожди и ветры, самая же южная часть Мировой бездны была свободна от них, ибо туда залетали искры из *Муспелльсхейма*. ... И если из *Нифльхейма* шел холод и свирепая непогода, то близ *Муспелльсхейма* всегда царили тепло и свет. Когда же повстречались иней и теплый воздух, так что тот иней стал таять и стекать вниз, капли ожили от теплотворной силы и приняли образ человека, и был тот человек Имир, а инейистые великаны зовут его Аургельмиром. От него-то и пошло все племя инейистых великанов...". Этому же сюжету посвящена строфа "Старшей Эдды": *Of Elivagom stucco eitrdropar, / svá óx, unz varð ór íqunn* (Vm. 31) "Из Бурных волн падали капли яда, / они так росли, что из них произошел великан".

На основании приведенных фрагментов и этимологических данных можно реконструировать древнегерманские представления о хаосе как о *зиянии* (др.-исл. *ginnunga* (< и.-е. **ǵhēi-*, 'зиять' [IEW 418]) *gar* (**ǵhǣb-* 'зиять') 'зияний зияние', ср. также уподобление Мировой бездны воздуху в безветренный день (SnE 4)). Первоначальный пространственный комплекс *Нифльхейм* ассоциируется с *влагой* и *темнотой*: первый элемент композита – др.-исл. *nifl-* возводится к и.-е. **enebh-*, **nebh-*, **embh-* 'сырой, вода' (< 'пар, туман, облако'), ср. д.-в.-н. *nehul* 'туман', др.-сакс. *nebal* 'туман, темнота', др.-исл. *niól* 'тьма, ночь' [IEW 315]. Особого внимания заслуживает включение древнеисландского *Нифльхейма* как нижнего водного царства в индоевропейский миф, "главным героем которого является божество по имени **Nep(ō)t* ..., ср. др.-инд. *Apat Napat*, авест. *Apat Napat*, лат. *Neptunus*, ... ирл. *Nechtan* [МНМ 1980, I, 531]. Древнеисландские данные позволяют отождествить *Нифльхейм* с подземным миром, царством *смерти*, ср. общий элемент *nifl-* в *Niflheimr*, букв. 'мир тумана' и *Niflhel*, букв. 'Хель тумана', обозначение загробного мира, а также свидетельства древнеисландских текстов, напр., [Младшая Эдда 1970, 31]: "А великаншу *Хель* Один низверг в *Нифльхейм* и поставил ее владеть девятью мирами, дабы она давала приют у себя всем, кто к ней послан, а это люди, умершие от болезней или от старости".

Рассмотрим подробнее основные характеристики *Нифльхейма*, среди которых можно выделить *субстантивные*, *атрибутивные* и *предикативные* классификаторы.

1) Субстантивные классификаторы

а) Локальные:

'Север' и 'низ': *Ginnungagap, þat er vissi til norðrættar, fylltisk með þunga ok hofugleik íss ok hríms* (SnE 4) "Мировая бездна на севере вся заполнилась тяжестью льда и инея"; ... *þat er fyrsta hogg, er hausinn brotnaði í smán mola, ok sendi hann niðr undir Niflheim* (SnE 41) "... первый же удар вдребезги разбил ему череп, и он отправился вниз в [букв. 'под'] *Нифльхейм*".

б) Темпоральные:

'Раньше': *Fyrr var þat morgum qldum, en íqrð var scqruð, er Niflheimr var gqrr* (SnE 4) "Раньше, за многие века до создания земли уже был сделан *Нифльхейм*".

в) Концептуальные:

'Вода, влага': *úr þat, er af stóð eitrinu, fraus at hrímní* (SnE 4) "яд выступил наружу влагой и превратился в иней"; *Ginnungagap ... fylltisk með þunga ok hofugleik íss ok hríms ok inn í frá úr ok gustr* (SnE 4) "Мировая бездна ... заполнилась тяжестью льда и инея, влаги и порывов ветра".

'Река': *er Niflheimr var gqrr, ok í honum miðium liggir brúðr sá, er Hvergelmir heitir ok þaðan af falla þær ár, er svá heita: Svgl, Gunnþrá, Fjorm, Fimbulþul, Sliðr ok Hrið, Sylgr ok Ylgr, Við, Leiptr, Gjöll ...* (SnE 3) "когда был сделан *Нифльхейм*, в середине его есть

поток, что зовется Кипящий источник, и вытекают из него реки: Свель, Гуинтра, Фьерм, Фимбультуль, Слид и Хрид, Сюльг и Ульг, Вид, Лейфт, Гьелль..."; *Ár þær, er kallaðar Elivágar, þa er þær váru svá langt komnar frá uppsprettum, at eitrvíka sú, er þar fylgði, harðnaði svá, sem síndr þat, er renn ór eldinum, þá varð þat (ss... (SnE 4) "Когда реки, что зовутся Бурными волнами, настолько удалились от своего начала, что их ядовитая вода застыла подобно шлаку, бегущему из огня, и стала льдом..."; 'Ór Elivágotm stucco eitrdropar, / svá óx, unz varð ór iqtunn (Vm. 31) "Из Бурных волн падали капли яда, / они так росли, что из них произошел великан".*

'Источник': *er Niflheimr var gqrr, / honum miðium ligr brúðr sá, er Hvergelmir heitir ok þaðan af falla þær ár (SnE 3) "когда был сделан Нифльхейм, в середине его есть поток, что зовется Кипящий источник, и вытекают из него реки".*

'Капля': *Ar þær, er kallaðar Elivágar, þá er þær váru svá langt komnar frá uppsprettum, at eitrvíka sú, er þar fylgði, harðnaði svá, sem síndr þat, er renn ór eldinum (SnE 4) "Когда реки, что зовутся Бурными волнами, настолько удалились от своего начала, что их ядовитые капли застыли подобно шлаку, бегущему из огня"; 'Ór Elivágotm stucco eitrdropar, / svá óx, unz varð ór iqtunn (Vm. 31) "Из Бурных волн падали капли яда, / они так росли, что из них произошел великан".*

'Иней': *Ginnungagap ... fyltisk með þunga ok hqfugleik (ss ok hríms ok inn / frá úr ok gustr (SnE 4) "Мировая бездна ... заполнилась тяжестью льда и инея, влаги и порывов ветра"; ok þá er mætti hríminu blær hitans (SnE 4) "Когда же повстречались иней и теплый воздух".*

'Лед': *ok þá er sá íss gaf staðar ok rann eigi, þá héldi yfir þannung (SnE 4) "и когда окреп тот лед и перестал течь и вылился оттуда"; Ginnungagap ... fyltisk með þunga ok hqfugleik íss ok hríms ok inn / frá úr ok gustr (SnE 4) "Мировая бездна ... заполнилась тяжестью льда и инея, влаги и порывов ветра".*

'Пар, порыв ветра': *Ginnungagap ... fyltisk með þunga ok hqfugleik íss ok hríms ok inn / frá úr ok gustr (SnE 4) "Мировая бездна ... заполнилась тяжестью льда и инея, влаги и порывов ветра".*

'Молния': *Leiptr* (гидроним).

d) Персонажные

'Хель': *Hel kastaði hann í Niflheim ok gaf henni vald yfir IX heimum (SnE 33) "А великаншу Хель он [Один] низверг в Нифльхейм и поставил ее владеть девятью мирами".*

II. Атрибутивные

a) Адъективные

α) Нейтральные

'Холодный': *Svá sem kalt stod af Niflheimi (SnE 4) "И если из Нифльхейма шло холодное"; Svgl 'прокладная' (гидроним).*

'Тяжелый': *Ginnungagap ... fyltisk með þunga ok hqfugleik íss ok hríms ok inn / frá úr ok gustr (SnE 4) "Мировая бездна... заполнилась тяжелыми и массивными льдом и инеем, влагой и порывами ветра".*

'Широкий': *Víð* (гидроним).

'Узкий': *Ginnþrá* '(в) битве стесненная [þrungva 'сдавливать']' (гидроним).

β) Кваликативные

'Страшный, опасный, угрожающий': *Slíðr* (гидроним), *Ylgr* (гидроним).

'Пожирающий': *Sylgr* (гидроним).

b) Колористические

'Темный': *nifl* 'темный', ср. д.-в.-н. *nebul* 'туман', др.-сакс. *nebal* 'туман, темнота', др.-исл. *níðl* 'тьма, ночь'.

c) Квантитативные

'Деять': *Hel kastaði hann í Niflheim ok gaf henni vald yfir IX heimum* (SnE 33) "А великаншу Хель он [Один] низверг в Нифльхейм и поставил ее владеть девятью мирами".

III. Предикативные

'Быть сделанным': *Fyrr var þat mǫrgum öldum, en iqrð var scopuð, er Niflheimr var gort* (SnE 3) "За многие века до создания земли уже был сделан Нифльхейм".

'Удаляться': ... *Ar þær, er kallaðar Elivágar, þá er þær váru svá langt komnar frá uppsprettum, at eitrvíka sú, er þar fylgði, harðnaði svá, sem síndr þat, er renn ór eldinum, þa varð þat íss ...* (SnE 4) "Когда реки, что зовутся Бурными волнами, настолько удалились от своего начала, что их ядовитая вода застыла подобно шлаку, бегущему из огня, и стала льдом...".

'Двигаться': *Fjgrm < fara* 'двигаться' (гидроним).

'Нападать': *Hríð* 'буря, нападение' (гидроним).

'Останавливаться, стоять': *þá er sá íss gaf staðar ok rann eigi* (SnE 4) "и когда остановился тот лед и перестал течь"; *en úr þat, er af stóð eitrunu, fraus at hrímnú* (SnE 4) "влага, выделившаяся [букв. 'стоящая'] из яда, замерзла в иней".

'Затвердевать': *Ar þær, er kallaðar Elivágar, þá er þær váru svá langt komnar frá uppsprettum, at eitrvíka sú, er þar fylgði, harðnaði svá, sem síndr þat, er renn ór eldinum* (SnE 4) "Когда реки, что зовутся Бурными волнами, настолько удалились от своего начала, что их ядовитая вода затвердела подобно шлаку, бегущему из огня".

'Замерзать': *en úr þat, er af stóð eitrunu, fraus at hrímnú* (SnE 4) "влага, выделившаяся из яда, замерзла в иней".

'Превращаться': *þá varð þat íss* (SnE 4) "тогда стал лед"; *ok varð mannz líkandi, sá nefndr Ymir* (SnE 4) "и стал образ человека, и называется он Имир"; *Or Elivágom stucco eitrdropar, í svá óx, unz varð ór iqtunn* (Vm. 31) "Из Бурных волн падали капли яда, / они так росли, что из них стал великан".

'Наполнять': *Ginnungagap, þat er vissi til norðrættar, fyllisk með þunga ok höfugleik íss ok hrfms ok inn í frá úr ok gustr* (SnE 4) "Мировая бездна на севере заполнилась тяжестью льда и инея, дождей и порывов ветра".

'Увеличиваться, набухать': *en úr þat, er af stóð eitrunu, fraus at hrímnú, ok iók hvert hrímit yfir annat alt í Ginnungagap* (SnE 4) "яд выступил наружу росой и превратился в иней, и этот иней увеличился надо всем остальным в Мировой бездне"; *Fimbul-þul* 'великая набухающая' (гидроним); *Or Elivágom stucco eitrdropar, í svá óx, unz varð ór iqtunn* (Vm. 31) "Из Бурных волн падали капли яда, / они так росли, что из них стал великан".

Другой предпространственный комплекс Муспелльсхейм воплощает стихию огня с неизменными атрибутами – светом и жаром. Характерно, что Муспелльсхейм фигурирует не только при описании хаоса, но и занимает центральное место в древнегерманской эсхатологии, символизируя всемирный пожар (ср. также эсхатологические термины – д.-в.-н. *mūspilli*, др.-сакс. *tud-spelli* 'конец мира'). Несомненно, древнеисландская форма представляет собой ингвеонское заимствование (ср. нетипичный для скандинавского ареала вокализм корня); элемент *spellr* < др.-исл. *spella* 'уничтожать' явно обладает эсхатологическими коннотациями: *Mu-spells-heimr*, букв. 'мир уничтожения времени' (ср. др.-исл. *tund* 'время' < 'цель, к которой стремятся' др.-исл. *tunda* 'стремиться'). Наличие заимствованного языкового элемента (*mu-*) в рамках эсхатологического мифа ни в коей мере не должно умалять значения древнеисландских фактов, тем более что исконно древнеисландская форма фигурирует в космогоническом мифе. Речь идет об отце Месяца *Mundil-fari*, букв. 'временами движущийся', в номинации которого зафиксированы представления о цикличности времени. Др.-исл. *tund*, как и родственные лексемы в других древнегерманских языках, восходят к и.-е. **mendh-* < **m̥dh-* 'направлять ум на что-либо, быть бодрым' (др.-инд. *mēdhā* 'мудрость, ум',

авест. *mazda* 'память, воспоминание', греч. μαθησάω 'учить', русск. *мудрый* и др.) [IEW 730]. В семантической мотивировке др.-исл. *tund* реализуется мотив особого возбуждения физической и интеллектуальной природы, которое в космогонической концепции может восприниматься как источник спонтанных изменений, потенциально способных преобразовать исходное состояние первопространства.

Для описания Муспелльсхейма, как и Нифльхейма, используются классификаторы, подразделяемые на несколько разрядов:

I. Субстантивные

а) Локальные:

'Юг': *Fyrst var þó sá heimr í suðrhalfu, er Múspell heitir* (SnE 3) "Всего раньше была страна на юге, имя ей Муспелль"; *en enn suðri hlutr Ginnungagaps létisk móti gneistum ok síum þeim, er flugu ór Múspellzheimi* (SnE 4) "самая же южная часть Мировой бездны была лишена их, ибо туда залетали искры из Муспелльсхейма".

б) Темпоральные:

'Прежде всего': *Fyrst var þó sá heimr í suðrhalfu, er Múspell heitir* (SnE 3) "Всего раньше была страна на юге, имя ей Муспелль".

в) Концептуальные

'Огонь': *Sá er Surtr nefndr ... ok í enda veraldar mun hann fara ok heria ok sigra qll goðin ok brenna allan heim með eldi...* (SnE 3) "Суртом называют его ... когда настанет конец мира, он пойдет войною на богов и всех их победит и сожжет в огне весь мир".

'Искра': *en enn suðri hlutr Ginnungagaps létisk móti gneistum ok síum þeim, er flugu ór Múspellzheimi* (SnE 4) "самая же южная часть Мировой бездны была свободна от них, ибо туда залетали искры из Муспелльсхейма".

'Порыв (жара)': *þá er mætti hráminu blær hitans* (SnE 4) "Когда же повстречались иней и теплый воздух".

г) Персонажные

'Муспелль': *goð brú er Bifröst, en engi hlutr er sá í þessum heimi, er sér megi treystask, þáer Múspellz-sonir herja* (SnE 12) "добрый мост Биврест, но ничто не устоит в этом мире, когда пойдут войною сыны Муспелля".

'Сурт': *Sá er Surtr nefndr, er þar sitr í landz-enda til landvarnar; ok í enda veraldar mun hann fara ok heria ok sigra qll goðin ok brenna allan heim með eldi* (SnE 3) "Суртом называют того, кто сидит на краю Муспелля и его защищает. Когда настанет конец мира, он пойдет войною на богов и всех их победит и сожжет в пламени весь мир".

II. Атрибутивные

а) Адъективные

'Горячий': *Fyrst var þó sá heimr í suðrhalfu, er Múspell heitir; hann er líóss ok heitr – sú átt er logandi ok brennandi* (SnE 3) "Всего раньше была страна на юге, имя ей Муспелль. Это светлая и жаркая страна, все в ней горит и пылает"; *svá var alt þat, er vissi námunda Múspelli, heitt ok líóst* (SnE 4) "близ Муспелльсхейма всегда было жарко и светло".

'Недосягаемый': *Fyrst var þó sá heimr í suðrhalfu, er Múspell heitir ... ok ófærr þeim, er þar eru útlendir* (SnE 3) "Всего раньше была страна на юге, имя ей Муспелль. ... И недоступна она тем, кто там не живет".

б) Колористические

'Черный': др.-исл. *Surtr* < о.-герм. **swartzaz* 'черный' [Vries 1977, 562].

'Светлый': *Fyrst var þó sá heimr í suðrhalfu, er Múspell heitir; hann er líóss ok heitr* (SnE 3) "Всего раньше была страна на юге, имя ей Муспелль. Это светлая и жаркая страна"; *svá var alt þat, er vissi námunda Múspelli, heitt ok líóst* (SnE 4) "близ Муспелльсхейма всегда было жарко и светло".

III. Предикативные

‘Называться’: *Fyrst var þó sá heimr í suðrhalfu, er Múspell heitir* (SnE 3) "Всего раньше была страна на юге, которая называется Муспелль".

‘Гореть, сжигать’: *Fyrst var þó sá heimr í suðrhalfu, er Múspell heitir; hann er líóss ok heitr – sú átt er logandi ok brennandi* (SnE 3) "Всего раньше была страна на юге, имя ей Муспелль. Это светлая и жаркая страна, все в ней *горит* и *пылает*"; *Sá er Surtr nefndr, er þar sitr í landz-enda til landvarnar; ok í enda veraldar mun hann fara ok heria ok sigra qll goðin ok brenna allan heim með eldi* (SnE 3) "Суртом называют того, кто сидит на краю Муспелля и его защищает. Когда настанет конец мира, он пойдет войною на богов и всех их победит и *сожжет* в пламени весь мир".

‘Лететь’: *en enn suðri hlutr Ginnungagaps léttisk móti gneistum ok síum þeim, er flugu ór Múspellzheimi* (SnE 4) "самая же южная часть Мировой бездны была свободна от них, ибо туда *залетали* искры из Муспелльсхейма".

Для *prima materia*, возникшей в результате взаимодействия Нифльхейма и Муспелльсхейма, типичны следующие характеристики, выражаемые

а) *существительными*

‘Капля жизни’: *ok þá er mætti hríminu blær hitans, svá at braðnaði ok draup – ok af þeim kviku-dropum kviknaði með krapti þess, er til sendi hitann, ok varð mannz líkandi, sá nefndr Ymir* (SnE 4) "Когда же повстречались иней и теплый воздух, так что тот иней стал таять и стекать вниз, *капли* ожили от теплотворной силы и приняли образ человека, и был тот человек *Имир*".

‘Имир, Аургельмир (букв. ‘влаги шумящий’): *ok af þeim kviku-dropum kviknaði með krapti þess, er til sendi hitann, ok varð mannz líkandi, sá nefndr Ymir, en hrímþursar kalla hann Aurgelmi* (SnE 4) "Когда же повстречались иней и теплый воздух, так что тот иней стал таять и стекать вниз, *капли* ожили от теплотворной силы и приняли образ человека, и был тот человек *Имир*, а инейстые великаны зовут его *Аургельмиром*".

б) *прилагательными*

‘Теплый’: *en Ginnungagap var svá hlætt sem lopt vindlaust* (SnE 4) "И Мировая бездна была такой *теплой*, как безветренный воздух".

с) *глаголами*

‘Течь’: *ok þá er mætti hríminu blær hitans, svá at braðnaði ok draup* (SnE 4) "Когда же повстречались иней и теплый воздух, так что тот иней стал таять и *стекать* вниз".

‘Встречаться’: *ok þá er mætti hríminu blær hitans, svá at braðnaði ok draup* (SnE 4) "Когда же *повстречались* иней и теплый воздух, так что тот иней стал таять и стекать вниз".

‘Таять’: *ok þá er mætti hríminu blær hitans, svá at braðnaði ok draup* (SnE 4) "Когда же повстречались иней и теплый воздух, так что тот иней стал *таять* и стекать вниз".

‘Оживать’: *ok þá er mætti hríminu blær hitans, svá at braðnaði ok draup – ok af þeim kviku-dropum kviknaði með krapti þess, er til sendi hitann, ok varð mannz líkandi, sá nefndr Ymir* (SnE 4) "Когда же повстречались иней и теплый воздух, так что тот иней стал таять и стекать вниз, *капли* ожили от теплотворной силы и приняли образ человека, и был тот человек *Имир*".

Для хаоса характерно смешение, *недифференцированность* первоначальных стихий; *двойная* референция некоторых лексем, обозначающих и *воду*, и *огонь*, получает удовлетворительное объяснение в рамках космогонической модели мира, если учесть *общий* источник номинации – *интенсивное движение*, сопровождающееся выделением тепловой энергии: ср. др.-исл. *vágr* ‘море, огонь’ (< и.-е. **yeǵh-* ‘двигаться, вздыматься’ [IEW 1119]); восходящие к одному и тому же индоевропейскому корню др.-исл. *brunnr* ‘источник’, *brim* ‘море, прибой’, *brenna* ‘гореть’ (< и.-е. **bher-* ‘вскипать, бурлить’ [IEW 144]). Синкретизм языковых элементов, кодирующих первоначальные стихии, породившие космос, выражается также в идентичных семантических мотивировках

горячего и холодного, основных атрибутов воды и огня, фигурирующих в приводимых выше космогонических фрагментах "Младшей Эдды", ср. др.-исл. *hr'ín* 'иной; сажа; копоть', букв. 'налет. наслоение' (< и.-е. **krei-* 'касаться' [IEW 618]), др.-исл. *sindr* 'лед; шлак' (< и.-е. **sendhro-* 'застывшая, затвердевшая, сгустившаяся жидкость' [IEW 906]), др.-исл. *kaldr* 'холодный' (< и.-е. **kel-* 'застывать, холодный; теплый' [IEW 551]), др.-исл. *fríðsa* 'замерзать' (< и.-е. **preus-* 'замерзать; гореть' [IEW 846]). Идея возникновения жизни имплицитно представлена в кодировании элементами Нифльхейма признаков, типичных именно для Муспелльсхейма, то есть противоположного в космогонической модели мира пространственного комплекса: показательно сравнение застывшей воды со шлаком, бегущим из огня, или номинации реки молнией. Внутренняя противоречивость актуальна и по отношению к Муспелльсхейму: ср. объединение прилагательных со значением 'с в е т л ы й' и 'ч е р н ы й'.

Слияние, нерасчлененность первоэлементов, послуживших субстанцией для создания космоса, реализуется в выборе глаголов космогонического описания, обозначающих либо *переходное* состояние, либо *заполнение* "пустого" хаоса, распространение вовне, вширь, рост, символизирующие изобилие, плодородие и жизненную силу. К первой группе относятся др.-исл. *hardna* 'затвердевать' ('превращаться из жидкого состояния в твердое'), *verða* 'становиться', *bráðna* 'таять' ('превращаться из твердого состояния в жидкое'), *fríðsa* 'замерзать' ('превращаться из жидкого состояния в твердое'), *giósa* 'течь' ('перетекать', то есть 'объединять крайние состояния – жидкое и твердое'), *driúpa* 'капать'. Два последних глагола заслуживают особого внимания, поскольку они образуют промежуточное звено между названными выше категориями глаголов, так как в их семантике органически сплавлены идеи *преобразования* материи, приобретения нового статуса и *увеличения* в объеме, роста, отождествляемых в космогонической модели мира с утверждением жизни и процветанием. На основании этимологических данных для обоих глаголов постулируется общее семантическое развитие: 'течь, заставляя течь (лить)' > 'капля' (с совмещением двух сем – 'стекающая' и 'круглая') > 'изобилие, плодородие' > 'форма' (как воплощение наивысшей ценности космозированной вселенной в отличие от бесформенности и бесструктурности хаоса). Ср. др.-исл. *driúpa* 'капать', *dropi* 'капля', < и.-е. **dhreu-* 'падать, стекать', др.-греч. τρυφή 'изобилие' [IEW 274–275]; др.-исл. *gióta* 'лить', д.-в.-н. *giōzo* 'текущая вода', *gissa* 'наводнение', *urgusi* 'избыток', др.-швед. *giuta* 'форма для литья' < и.-е. **gheu-* 'лить' [IEW 447–448], вероятно родственного и.-е. **gheu-* 'зевать' [IEW 449], др.-исл. *ginnunga gap* 'зияний зиянье', обозначение хаоса, если принять во внимание, что представление о заполнении первоначальной бездны водами ('любящимися') зафиксировано во многих мифопоэтических традициях. Предлагаемая выше семантическая реконструкция верифицируется как на индоевропейском (ср. и.-с. **dherebh-* 'стекать, застывать, округляться, густой' [IEW 257–258]), так и на германском материале (SnE 4: ... *ok af þeim kviku-dropum kviknaði með krafti þess, ... ok varð mannz Ifkandi, ok er sá nefndr Ymir "... капли ожили от теплотворной силы и приняли облик человека, названного Имиром"*, где обозначения *капли* (др.-исл. *kvika*) и *жизни* (др.-исл. *kvikr*) располагаются в непосредственной близости и кодируются *одним и тем же* корнем – и.-с. **g^hej-* 'жить' [IEW 467, Vries 1977, 338]).

Идея *роста*, увеличения в объеме и образы *капли*, *шара* или его плоскостной проекции – *круга* помимо приведенных примеров реализуются в семантических мотивировках понятий, фигурирующих в космогоническом описании "Младшей Эдды". Упоминание в SnE 4 ядовитых капель (*eitrkvika*) или яда (*eitrini*) первоэлемента вод не кажется странным, если обратиться к внутренней форме древнеисландской лексемы, актуализировавшейся в космологическом контексте. Др.-исл. *eitr* возводится к и.-е. **oid-* 'набухать', **oidos* 'опухоль', **i-n-dro-* 'набухший, сильный' (др.-инд. *īndu-* 'капля' < 'вздутие, шар', др.-греч. οἰδάω 'набухать', οἰδα 'морской прилив', д.-в.-н. *eiz* 'опухоль, нарыв, гнойник' и метонимически яд – др.-исл. *eitr*, русск. *яд* и др. [IEW 774]). Функционирование др.-исл. *eitr* в космологическом фрагменте "Младшей Эдды" нельзя

считать случайностью, поскольку и.-е. **oid-* кодирует основного персонажа ведийской космологии Индру (др.-инд. *Indra-*), осуществляющего демиургическую деятельность. Поскольку и.-е. **oid-* используется также в номинации понятий из ментальной сферы (ср. метафорическое употребление др.-исл. *eitr* 'ярость, бешенство', вост.-фриз. *eitel* 'гневный', слов. *jaditi* 'сердиться', русск. *ядренный*), уместно сопоставление с Индрой главного героя германской космологии Одина, имя которого мотивируется сходным образом: др.-исл. *Óðinn*, букв. 'одержимый', ср. др.-исл. *odr* 'ярость'. Мотив происхождения космоса путем *сгущения* вод отражен во многих мифопоэтических традициях, ср., например, древнеиндийскую космогоническую версию о пахтанье океана [МНМ 1980, II, 224].

Семантические мотивировки других "космологических" глаголов и существительных из SnE 3–4 отсылают к уже известным по предыдущим примерам представлениям о *полноте* (ср. др.-исл. *fyliask* 'наполняться' < и.-е. **pel-* I с семантическим комплексом, аналогичным и.-е. **gheu-* [IEW 446–447], **dherebh-* [IEW 257–258], ср. также персонафицированный образ полноты – др.-инд. *Puruṣa*, в древнеиндийской мифологии имя первочеловека, принесенного богами в жертву, расчлененного на части, из которых возникли основные элементы социальной и космической организации [МНМ 1982, II, 351; IEW 798–801], *набухании* (др.-исл. *hlær hitans* 'теплый воздух' < и.-е. **bhel-* 3, **bhlē-* 'надувать(ся)' [IEW 120–122], синонимичного и.-е. **oid-* [IEW 774]), *посме* (др.-исл. *auka* 'расти' < и.-е. **aueg-*, **aug-*, **ug-* 'умножаться, возрастать' [IEW 84–85], ср. обозначение жреца – лат. *augur*, изофункционального демиургу в мифопоэтической модели мира).

Ключевые понятия, характеризующие древнегерманские космологические представления в SnE 3–4, отсылают к образу *шара / капли* как символа локально-темпорального комплекса (хронотопа), ср. др.-исл. *driiþra* 'капать' – *Draupnir*, обозначение *кольца* (букв. 'капающего', поскольку каждую девятую ночь из него капает восемь колец такого же веса), символизирующего "круг времени" (ведь Один возложил его на погребальный костер Бальдра, убийство которого нарушило гармонию и космический порядок); др.-исл. *hlær* 'теплый' (< *hlewia*) наряду с *hlýrn* 'чередование дня и ночи, небесный свет, солнце, месяц' (< **hlewia-*) [Vries 1977, 241], отражающим мифологический мотив *кругового* движения дня и ночи по небу [Младшая Эдда 1970, 19]).

Космогонические фрагменты "Младшей Эдды" позволяют сделать вывод о восприятии хаоса как *смешения* первоэлементов (ср. *синкретизм* понятий, денотатами которых являются *вода* и *огонь* или кодирование при помощи *одного и того же* индоевропейского корня 'горячего' и 'холодного'), которое имплицитно противопоставление первоначальных стихий (в SnE 3–4: *Niflheimr* 'мир тумана' – *Muspellsheimr* 'мир света', *norðr* 'север' – *sudr* 'юг', *dr* 'вода' – *eldr* 'огонь', *caldr* 'холодный' – *heitr* 'горячий', *nifl-* 'темный' – *lióss* 'светлый', *lauss* 'пустой' – *fullr* 'полный', *renna* 'мчаться' – *gifa staðar* 'останавливаться'). В древнегерманской мифопоэтической модели мира космогенез представлен как цепь превращений, исходным пунктом которых оказывается некое аморфное, нерасчлененное, недифференцированное целое, распадающееся в ходе эволюции на отдельные элементы, противопоставленные друг другу и вступающие во взаимодействие. Иными словами, космогонический процесс можно описать, используя следующую схему: 'импликация оппозиций первоэлементов – их экспликация – и нейтрализация'. Таким образом, трактовка хаоса как изначально амбивалентного состояния – бездны, аморфной и бесструктурой, и *prima materia* – получает логическое завершение в восприятии космоса как *синтеза* первоэлементов (ср. имя первочеловека *Ymir* < и.-е. **ǵemo-* 'двойной плод, близнец' или глаголы, описывающие космозированную вселенную с семантикой, в которой доминирует идея *взаимности*, например, 'встречаться', стремления *навстречу друг другу* – 'двигаться', 'лететь'), изменения наиболее релевантных признаков на проти-

воположные (ср. идею *остановки* хаотического движения в Нифльхейме, зафиксированную в предикатах 'останавливаться', 'затвердевать', 'замерзнуть'). Характерно, что при описании преобразования хаоса в космос употребляются глаголы, обозначающие *переходное* состояние ('замерзнуть', 'таять', 'затвердевать' и др.), а для изображения космозированной вселенной привлекаются глаголы с положительно-креативной семантикой ('наполняться', 'увеличиваться', 'расти'). Зарождение жизни на *границе* двух миров (ср. мотив удаления Бурных волн от центра к периферии) ассоциируется с *шаром, кругом* ('каплей'). Космогонический процесс можно представить в виде цепи превращений: 'набухшая капля' > 'лед, застывший подобно шлаку' > 'влага, выделенная из льда' > 'яней' и 'порыв жара' = 'капли жизни' > 'Имир' (др.-исл. *eitrkvika* > *íss* > *úr* > *hrím ok blær hitans* = *kviku-dropar* > *Ymir*), конечным и начальным пунктом которых является *капля*, частица *воды*, потенциальная способность которой к продуцированию жизни – набуханию, увеличению в объеме реализуется под влиянием стихий *огня*. Таким образом, **Нифльхейм** воплощает *женскую* ипостась творения (ср. Хель, его владелицу), *объект*, *пассивный* аспект демиургического акта (ср. ключевой предикат 'быть сделанным'), служит в качестве *материала* (субстанции) для создания космоса, а **Муспелльсхейм** – *мужскую* ипостась (ср. великана Сурга или сыновей Муспелля), *активный* аспект (ср. ключевой предикат существования 'называть'), *субъект* (или *инструмент*) творения. О *первичности* Муспелльсхейма косвенно свидетельствуют два факта: приуроченность его возникновения к самому древнему времени (ср. превосходную степень наречия *fyrst* 'прежде всего') и повествование о нем в "Младшей Эдде" Высокого (*Hárr*), первой ипостаси рассказчика. *Вторичность* Нифльхейма подтверждается указанием на его появление 'ранее' (ср. сравнительную степень наречия *fyr*) и сообщением о нем Равновысокого (*Jafnhárr*). Заслуживает упоминания то обстоятельство, что креативная сила, давшая толчок развитию косной Мировой бездны, имплицитно присутствует в *обоих* локусах первопространства: Нифльхейму свойственна тенденция к разрастанию *вширь* (ср. элемент *eitr-* в *eitr-kvika* 'яда капля' < и.-е. **oid-* 'набухать', также в *интеллектуальном* плане, например, др.-исл. *eitr* 'гневный'), а Муспелльсхейму – особое возбуждение, привнесение *ментального* начала (ср. первый компонент композита *tund-* < **ten-* 'направлять ум на что-либо, быть бодрым' [IEW 730]). Следовательно, отправной точкой космогонического процесса в соответствии с древнегерманской концепцией является *нестабильность*, *специфическое раздражение*, *имманентно* присущее *prima materia* и получающее шанс осуществиться в ходе эволюции.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- МНМ 1982 – Мифы народов мира. Энциклопедия. Т. I, М., 1980. Т. II, М., 1982.
 IEW 1959 – Pokorny J. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I–II. Bern. München, 1959.
 Vries J. 1977 – Altnordisches etymologisches Wörterbuch. Leiden, 1977.

© 1998 г. Д.О. ДОБРОВОЛЬСКИЙ

**НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНАЯ СПЕЦИФИКА
ВО ФРАЗЕОЛОГИИ (II)**

1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Настоящая работа является продолжением опубликованной ранее статьи [Добровольский 1997]. Прежде чем перейти к обсуждению вопросов, которым посвящена данная работа, напомним в тезисной форме ход предшествующих рассуждений.

Характерные для традиционных исследований в области фразеологии утверждения, что идиомы, якобы, изначально наделены некоторой национально-культурной спецификой, представляются весьма спорными. Отсутствие серьезных попыток определить понятие национально-культурной специфики в собственно лингвистических терминах¹ затрудняет использование этой категории при описании плана содержания лексических единиц (как слов, так и фразеологизмов).

Целесообразно выделить два принципиально различных понимания национальной специфики. В первом случае национально-культурная специфика некоторого явления данного языка определяется относительно некоторого другого языка. Такой подход может быть назван сравнительным или сопоставительным. Важно оговорить, что культурно значимыми оказываются не все межъязыковые различия, а лишь те из них, которые являются неслучайными и имеют культурно обусловленные причины и/или культурно значимые следствия. Во втором случае речь идет о представлениях носителей языка о национальной маркированности тех или иных единиц своего языка вне сопоставления с другими языками. Такой подход может быть с известной долей условности назван интроспективным.

Примерами культурно-специфических единиц, выделяемых в рамках сопоставительного подхода, могут служить японские идиомы, содержащие число 'восемь' в его символическом прочтении, схожем по функции с числом 'семь' в ряде других языков; например, *happo fusagari* ("закрыто на восемь сторон") 'положение безнадежно'. Эти различия могут рассматриваться как культурно обусловленные, так как они объясняются ролью числа 'восемь' в синтоизме [Dobrovolskij, Piirainen 1997]. Ср. также употребление числа 'девять' в английской фразеологии: *to be on cloud nine* (букв. "быть на девятом облаке" = русск. *быть на седьмом небе*). Роль концепта 'девять' в английской фразеологии объяснима значением этого понятия в древнегерманской культуре.

Национально-культурная специфика в ее "интроспективном" варианте должна проявляться в наличии ограничений на употребление, не связанных с собственно семантическими параметрами. Ср., например, контекст (1), содержащий модифицированный вариант идиомы *это тебе! вам не у Пронькиных (чай пить)* (кстати, не представленной ни в одном из известных фразеологических словарей).

- (1) Тот, кто думает, что иностранным туристам в одноименном отеле живется легко и привольно, ошибается. Нет, конечно, в "Интуристе", именуемом в рекламных целях "вашим русским домом на время пребывания в Москве", есть все

¹ Ср. рассмотрение национально-культурной специфики идиом с позиций установок "практической филологии" в [Телия 1996: 214–258].

необходимое для того, чтобы иностранец понял, что живет *не у Пронькиных*. А именно: казино "Габриэла", испанский бар "Осборн", китайский и мексиканский рестораны и еще несколько точек культурного досуга и рационального питания. ["Столица"]

Трудно себе представить, что эта идиома могла бы быть употреблена в контексте описания парижских или лондонских гостиниц. Подобные идиомы неуместны также в переводах художественных текстов, особенно в прямой речи персонажей (ср. сходные рассуждения в [Eismann 1995: 101]). В статье [Segura Garcia 1997: 224], посвященной анализу переводов произведений Марио Варгаса Льюсы на немецкий язык, указывается на невозможность перевести распространенную в перуанском варианте испанского языка идиому *el chino de la esquina* ("китаец на углу") 'маленький продовольственный магазин традиционного типа' с помощью семантически эквивалентной немецкой идиомы *Tante-Emma-Laden* ("лавка тети Эммы").

Интроспективный подход основан на представлении о наличии "имманентных" национально-культурных характеристик безотносительно к специфике других языков и культур. Исследовательские эвристики в этой области должны, по-видимому, апеллировать в первую очередь к психолингвистическим методам. Задача исследования формулируется как поиск ответа на вопрос, в чем состоит национальная специфика данного языка глазами его носителей. Наиболее адекватными исследовательскими приемами представляются опрос информантов и различные тесты, направленные на выяснение отношения носителей языка к соответствующим лингвистическим фактам (как к отдельным идиомам, так и к контекстам их употребления типа (1)). Например, сигналом наличия "имманентной" национальной спецификации может быть мнение о неуместности в устах иностранца высказывания, содержащего соответствующую идиому. Показательны также наблюдения над речью носителей языка, в частности употребление ими метакоммуникативных "ограничителей" типа *как говорят в народе*, что может свидетельствовать о национальной маркированности предваряемой таким образом языковой структуры.

Явления, отобранные в качестве специфических на основе сопоставительного подхода, отличаются от явлений, выделенных на основе интроспективного подхода, не только "точкой отсчета", задающей критерии их выделения, но и рядом существенных характеристик. При сравнительном анализе решающим параметром оказывается возводимость наблюдаемых межъязыковых различий к специфике соответствующих культур, в то время как интроспективный подход предполагает обращение к интуиции носителей языка, характеризующих некоторые явления как "свои и только свои", то есть сугубо национальные. Исходя из этого, в дальнейшем мы будем говорить преимущественно о национальной специфике применительно к кругу явлений, выделяемых на основе интроспективного подхода, и о культурной специфике применительно к сопоставительному подходу. Поскольку сопоставительный подход уже был описан в [Добровольский 1997], в дальнейшем изложении целесообразно сконцентрироваться на особенностях интроспективного подхода.

2. ИНТРОСПЕКТИВНЫЙ ПОДХОД

В каждом языке существуют, по-видимому, фразеологизмы, которые воспринимаются носителями этого языка как "свои и только свои". Определение корпуса подобных фразеологизмов и анализ их отличительных черт представляется вполне осмысленной исследовательской задачей. Как уже было сказано выше, для ответа на вопрос, какие фразеологизмы оцениваются носителями языка как специфичные для их национальной культуры, наиболее целесообразно обратиться непосредственно к языковой интуиции говорящих. Ниже приводятся результаты двух экспериментов², кото-

² За помощь в проведении опроса информантов автор благодарит студентов Саарбрюккеского университета – участников семинара по немецкой фразеологии 1992 и 1995 годов.

рые в силу ограниченности языкового материала и числа опрошенных, естественно, не могут претендовать на статус серьезных выводов, но позволяют тем не менее сформулировать некоторые гипотезы.

Суть этих гипотез сводится к следующему: для интуитивного восприятия фразеологизма как национально специфического наиболее значимыми моментами оказываются особенности его формальной организации³. В качестве таких особенностей, с одной стороны, могут выступать факторы осложнения формы (рифмирование, звуковое подобие и т.п. – *авось да небось, сами с усами, тишь да гладь (да божья благодать), ни кола ни двора; куда ни кинь, всюду – клин; огород городить*; ср. подробнее [Dobrovolskij 1995: 36; Баранов, Добровольский 1996: 59]), а с другой – определенная маркированность отдельных компонентов фразеологизма. Сюда относятся, в частности, наличие в структуре фразеологизма национальных имен собственных и их производных (*во всю ивановскую, коломенская верста, показать кузькину мать, шемакин суд*)⁴, персонажей "народной мифологии" (*к лешему*), слов-реалий (*в белый свет как в копеечку, моя хата с краю*), архаичных компонентов (*бить челом*) – в особенности, если они не встречаются за пределами компонентного состава идиом и паремий, то есть являются уникальными (*за тридевять земель, змея подколотная, турусы на колесах*). Сюда же относятся идиомы с нестандартными морфологическими формами компонентов. Употребление этих форм может быть основано на языковой игре (ср. с *таким* в контекстах типа *Конфеты кончились, и пришлось пить чай с таким*), на сознательном искажении формы (ср. идиому *ни туды и ни сюды*, производную от идиомы *ни туда и ни сюда*, которая не обладает соответствующими коннотациями). Наконец, нестандартность морфологической формы компонента может объясняться ее архаичностью (*ничтоже сумняшеся, темна вода во облацех*).

Как это ни парадоксально звучит, носители языка склонны считать "исконно народными" (то есть в высокой степени "своими") единицы, содержащие не вполне понятные элементы, причем часто эти элементы не являются этимологически исконными (например, *ни беломеса не понимать, сбить с панталыку*). Это явление, по-видимому, сродни "процессу сакрализации непонятных текстов", о котором писали Ю.М. Лотман и А.М. Пятигорский [Лотман, Пятигорский 1992: 136].

Обратимся к результатам опросов.

2.1. ДАННЫЕ ЭКСПЕРИМЕНТОВ

В первом эксперименте участвовали 60 носителей немецкого языка в возрасте от 14 до 26 лет. Испытуемые должны были ответить на вопрос, какова была бы их реакция на употребление иностранцами перечисленных ниже идиом.

- (2) *rutsch mir doch den Buckel runter!* ("соскользни с моего горба!") 'выражение говорящим сильного желания прервать любое взаимодействие с партнером по коммуникации';
- (3) *Hansdampf in allen Gassen* ("Ганс-дым во всех переулках"; *Hansdampf* – уникальный компонент) 'лицо (преимущественно, мужского пола), проявляющее чрезмерную активность и претендующее на осведомленность во всех областях';
- (4) *jmdn. in die Mangel nehmen* ("взять кого-л. в гладильный пресс"; *Mangel* – слово, в этом значении вышедшее из активного употребления) 'заставить кого-л. нести ответственность за совершенные им поступки, используя как дозволенные, так и недозволенные приемы';

³ Нестандартность плана выражения фразеологизмов в принципе может выступать как смысловой фактор, оказывая влияние на их употребление. В контексте решения иных задач на это обратил внимание А.Д. Райхштейн [Райхштейн 1980: 50].

⁴ Это касается также и личных имен, связанных с национальной историей, ср. как *Мимий пришел, мимяево побожье*.

- (5) *da fliegt dir doch das Blech weg* ("так у тебя и жесть/жестянка улетит") 'выражение крайнего удивления по поводу неожиданно открывшихся свойств объекта или ситуации';
- (6) *mit leeren Händen dastehen* ("стоять с пустыми руками") 'не достичь желаемого результата';
- (7) *in einem Boot sitzen* ("сидеть в одной лодке") 'быть связанными общими интересами, из чего следует необходимость солидарных действий';
- (8) *das ist nicht mein Bier* ("это не мое пиво") 'это не мое дело';
- (9) *viel auf dem Kerbholz haben* ("иметь много отметок на бирке" – восходит к принятому в старину способу отмечать долги; *Kerbholz* – уникальный компонент) 'совершить поступки, ущемляющие интересы других лиц, и грозящие субъекту серьезными неприятностями'.

Предлагались 7 вариантов ответа:

- [1] совершенно нормально;
- [2] вызывает восхищение;
- [3] я бы не заметил;
- [4] нарушило бы ход коммуникации;
- [5] странно;
- [6] как будто заучено наизусть;
- [7] неестественно.

Варианты ответа формулировались таким образом, чтобы по возможности свести к минимуму роль случайных факторов. Некоторые формулировки сознательно дублируют друг друга, что позволяет усмотреть определенные тенденции в оценке каждой из предлагаемых идиом даже в случае существенного разброса реакций. Так, выражения [1] "совершенно нормально" и [3] "я бы не заметил" по сути синонимичны, а реакции с [4] по [7] в разной форме указывают на то, что информант оценивает употребление соответствующей идиомы как неуместное.

При ответе допускалось использование одновременно нескольких вариантов. Полученные ответы представлены в следующей таблице:

	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
(2)	17	4	6	7	14	4	8
(3)	0	16	1	2	10	11	20
(4)	9	19	5	1	11	8	7
(5)	2	3	1	6	10	8	30
(6)	20	18	12	0	2	5	3
(7)	13	19	9	1	7	6	5
(8)	14	14	11	3	7	6	5
(9)	6	20	4	1	4	12	13

Наиболее негативными реакциями являются варианты ответа [4–7]. Ответ [2] амбивалентен, так как, будучи положительным с формальной точки зрения, свидетельствует тем не менее о том, что употребление соответствующей идиомы иностранцем в некотором смысле нарушило бы ход естественной коммуникации. Таким образом, только варианты ответа [1] "совершенно нормально" и [3] "я бы не заметил" могут квалифицироваться как собственно положительные реакции. Причиной негативной реакции на употребление той или иной идиомы может быть не только представление о том, что она обладает яркой национальной спецификой, но и ее стилистическая маркированность. Неудивительно поэтому, что ни одна из предложенных идиом не была оценена как абсолютно допустимая в устах иностранцев. Меньше всего положительных реакций получили идиомы (3) и (5), далее следуют (9) и (4). Из этих

четырёх идиом три ((3), (4) и (9)) содержат уникальный или квазиуникальный компонент, кроме того, в идиоме (3) присутствует типично немецкое личное имя *Hans*. Таким образом, результаты проведенного опроса позволяют сделать допущение о релевантности наличия в структуре идиомы уникальных компонентов и/или национально маркированных имен собственных.

Результаты, полученные в ходе второго эксперимента, согласуются с этим предположением. Суть эксперимента сводилась к следующему: 15 немецких идиом самых различных структурных и функционально-семантических типов были предъявлены 186 носителям немецкого языка. Опрошенные должны были, согласуясь со своей интуицией, распределить эти идиомы по двум рубрикам: (а) "сугубо немецкие" единицы, предположительно не имеющие коррелятов в других языках и культурах, и (б) "нейтрально-интернациональные" единицы. Следующие идиомы информанты существенно чаще включали в рубрику (а):

- (10) *klipp und klar* ("коротко и ясно"; *klipp* – уникальный компонент; оба знаменательных компонента связаны по форме аллитерацией);
- (11) *Hinz und Kunz* ("всякий встречный-поперечный"; *Hinz* и *Kunz* – уникальные компоненты, представляющие собой устаревшие краткие формы личных имен *Heinrich* и *Konrad* и находящиеся в отношении звукового подобия);
- (12) *grinsen wie ein Honigkuchenpferd* ("ухмыляться как пряничная лошадка"; *Honigkuchenpferd* – квазиуникальный компонент – сложное слово, состоящее из *Honigkuchen* 'медовый пряник, коврижка' и *Pferd* 'лошадь' и визуализированное только как компонент данного сравнительного оборота);
- (13) *dummer August* ("глупый Август"; *August* – традиционное – сегодня практически вышедшее из употребления – личное имя) 'клоун, шутник';
- (14) *ab nach Kassel* ("прочь, в Кассель!" – во время войны североамериканских колоний Англии за независимость Кассель был сборным пунктом немецких рекрутов, проданных Англии немецкими князьями) 'обращенное к партнеру по коммуникации требование как можно быстрее покинуть данное место';
- (15) *ausgehen wie das Hornberger Schießen* ("заканчиваться как хорнбергская стрельба"; в основе внутренней формы лежит легенда о несудачной попытке устроить салют в честь прибытия курфюрста в Хорнберг) 'заканчиваться неудачей'.

Релевантность наличия уникальных компонентов и приемов осложнения формы для отнесения идиомы к национально маркированным единицам особенно наглядно подтверждается противопоставлением квазисинонимичных идиом *klipp und klar* и *kurz und bündig*. Содержащая уникальный компонент и аллитерацию идиома *klipp und klar* была включена в рубрику (а) 109 опрошенными, при том, что 77 опрошенных отнесли ее к рубрике (б). В отношении идиомы *kurz und bündig* голоса информантов распределились следующим образом: (а) 76, (б) 110.

Эти наблюдения частично согласуются с данными психолингвистических экспериментов, описанных в работах [Cacciari, Glucksberg 1991; Cacciari, Rumiati, Glucksberg 1992] и позволяющих утверждать, что образы, вызываемые идиомами в сознании носителей языка, базируются исключительно на прямых значениях отдельных компонентов. Следовательно, если идиома содержит определенным образом маркированный компонент (будь это архаичное слово, имя собственное, слово-реалия, номинация персонажа "народной мифологии" и т.п.), это влияет на ее восприятие. Что касается приемов осложнения формы, то их роль в создании специфически национального колорита довольно очевидна. Поскольку использование таких приемов фиксирует внимание на языковой форме, употребление соответствующих фразеологизмов активизирует поэтическую функцию языка (в смысле Р.О. Якобсона [Jakobson 1960]), то есть языковой знак указывает не только на свой денотат, но и на самого себя. Таким образом, в фокусе внимания оказывается не только означаемый фрагмент действительности, но и его идиосинкретичное означающее, что и создает впечатление неповторимости данного выражения.

2.2. НАЦИОНАЛЬНО МАРКИРОВАННЫЕ ИДИОМЫ В ТЕКСТЕ

Любое свойство единиц языка должно тем или иным образом проявляться в тексте. Следовательно, для того, чтобы убедиться в реальности некоторого гипотетически постулируемого свойства, целесообразно обратиться к текстам. Применительно к обсуждаемому здесь свойству – национальной маркированности фразеологических единиц – это означает, что текст, подчеркнута стилизованный под традиционно-сказочную манеру, должен обнаруживать фразеологизмы (идиомы и поговорки), обладающие описанными выше признаками (ср. 2.1).

В качестве материала, который позволил бы проверить эту гипотезу в первом приближении, мы выбрали соответствующим образом стилизованные главы из романа Саши Соколова "Между собакой и волком" (такие, как "Зайтильщина", "Дзын-зырзлы", "От Ильи Петрикеича"). Используемый в романе модус повествования в значительной степени ориентирован на постмодернистскую эстетику, что предполагает сгущение языковых средств вплоть до пародирования приема. В этом отношении "Между собакой и волком" представляет собой идеальный материал для исследования зависимости реализации художественных целей от выбираемых средств языка, в том числе фразеологии. Намеренное противопоставление различных манер повествования и стоящих за ними фиктивных рассказчиков в отдельных главах позволяет говорить о неслучайном характере различий в употреблении фразеологизмов. Если в таких главах, как "Ловчая повесть" или "Картинки с выставки" фразеологизмы интересующих нас типов практически не представлены, то текст глав, написанных в "народной" манере, подчеркнута перегружен идиомами, обнаруживающими нестандартные особенности формы. В этих главах представлены идиомы с уникальными и квазиуникальными компонентами (16), с нестандартными морфологическими формами компонентов (17), с именами собственными (18), со словами-реалиями (19), а также идиомы, в организации формы которых участвуют такие факторы дополнительного осложнения, как рифмирование, аллитерации, ассонансы и т.п. (20):

- (16) *сбить с панталыку, не ахти, выдeldывать мыслете, и вся недолга, выведать всю подноготную, с покону веков, на шермака, сума переметная, и в заводе нет чего-л., калики переходные, как тать, хоть бы хны, точить лясы, почем фунт лиха, семо и овамо* (Последняя идиома дана в форме *семо-овамо*: Не удивляйтесь, зимой эта публика так и спует *семо-овамо* (...));
- (17) *вынь да положь, темна вода во облацех* (Последняя идиома представлена игровым контекстом: Бог с ней, думаю, пускай гремит, *скрытная вода во облацех*, авось пронссет.);
- (18) *кондрашка* хватил кого-л. (Несколько нестандартная форма, в которой представлена эта идиома, подчеркивает антропонимический характер субстантивного компонента: (...) и *Кондратий* ее с испугу *хватил.*), наобум *Лазаря*, каким *Макаром, Федот* да не тот;
- (19) *не латем щи хлебать, с суконным рылом в калашный ряд* (Последняя идиома представлена в нестандартной форме: (...) нам ли с *нашими бестолковыми моськами в калашный ряд* (...));
- (20) *явился-не запылдлся, днем с огнем не сыскать, и смех и грех, горе горевать, огород городить, ни брат ни сват* (в форме: *Брат и сват* я кому-то (...)), ни дать ни взять, салом по сусалам, ни кожа ни рожа, наш пострел везде поспел, ни шатко ни валко, тишь для гладь, ищи-свищи, взятки гладки с кого-л., с боку припеку.

В последней группе фразеологизмов отдельно могут быть выделены рифмованные присказки, которые, по-видимому, в наибольшей степени ощущаются как национально маркированные единицы: *моряк с печки бряк, живем – хлеб жуем, снова – здорово*. Ряд идиом обнаруживает одновременно несколько обсуждаемых признаков: ср., *Федот да не тот* (имя собственное + рифмирование), *сикось-накось, штучки-дрючки, с бухты-*

бархты, шурь-мурь, тити-мити 'деньги', *тяп да ляп, тары-бары* (рифмование + уникальные компоненты).

Косвенным доказательством того, что нестандартность формы способствует созданию эффекта национальной окрашенности, является тот факт, что в контекстах нестандартных употреблений усиливаются именно эти признаки. Так, уникальные компоненты идиом *попасть впросак* и *бить баклуши* даются в формах, подчеркивающих их необычность (21–22), причем в последнем случае (22) идиома появляется в контексте, построенном на аллитерациях и содержащем малоизвестную форму *обаче*. Содержащая рифмованные компоненты идиома *ни кола ни двора* помещается (в эллиптической форме) в рифмованный контекст, изобилующий аллитерациями и ассонансами (23).

(21) (...) а у ребяток с валенками *просак*; Быть безысходно в *просаках* – Ильи Джьнжирелы удел.; И опять я в *просаке*, когда, гордясь, поручику советую в билет заглянуть.

(22) Много бродил я, трудился и выбивался из жил, *обаче* более бил *баклуши*.

(23) Нет у Коли–Николая *ни кола*, / Лишь *костыльки*. И валит, валит снет. / Непогода. И *галдят колокола*, / И летят куда-то *галки* на ночлег.

Усиление приема имеет место также и в контекстах, содержащих более одной идиомы с рассматриваемыми признаками в пределах одного предложения:

(24) Скорбно и Зимарь–Человеку жену губить, но и он от решенья не отступается. Жаль тебя, он ей плачется, топить ведь везу. А не вез бы, она ему, шельма ветхая, совет подает, сколь годов, оглянись, вместе отбыто. Да вот то-то и оно, Зимарь сетует, столь годов, что терпеть тебя ни дня более не могу, опостынула. Но прошу, продолжает, в положенье мое войди и зла на олуха не держи особенно. Что уж там, она ему отпускает грех, *вольному воля, охулки на руку не клади*, только и ты дружок, не обессудь: вероятно обеспокою порой. Не обязательно, говорит, еженощно жди, ну, а все-таки, нет-нет да и загляну пострацать.

(25) *Сбили, сбили с панталыку* Илью, очутился он *с боку припеку*, потешается публика над его субботамаи.

Понятно, что делать какие бы то ни было серьезные выводы на основе анализа одного произведения преждевременно, так как отмеченные характеристики могут объясняться особенностями индивидуального стиля данного автора. Для получения более объективной картины желательно просмотреть материал по крайней мере еще одного художественного произведения, сопоставимого по манере повествования. Для этих целей мы обратились к материалу "Блохи" Евгения Замятина – пьесы, представляющей собой инсценировку "Левши" Лескова. Поскольку известно, что "Блоха" является одним из блестящих образцов сказовой манеры, естественно предположить наличие в тексте национально маркированных языковых средств, в том числе и фразеологизмов.

Анализ текста подтверждает это предположение. При всем различии художественных задач, решаемых в "Блохе" и "Между собакой и волком", оба текста (хотя и в разных пропорциях) обнаруживают фразеологизмы одних и тех же типов. В пьесе Евг. Замятина представлены идиомы с уникальными компонентами (*ни за (но)нюх табаку, хоть бы хны, ни синь-пороху, распустить нюни, иди ты к ляду*), с именами собственными (*Митькой звали*), со словами-реалиями (*не лаптем щи хлебать*), фразеологизмы, построенные на звуковом подобии (*тяп-ляп, ревя реветь*). Особенно широко представлены рифмованные присказки, ср. в *одном кармане – блоха на аркане, а в другом – мощи тараканы; ни свету, ни совету, ни толку нету; сани до Казани, язык до Киева; жизнь наша – копейка, судьба – индейка*.

В ряде контекстов признак акцентуации формы усиливается с помощью дополнительных приемов, ср. помещение идиом *авось да небось, (не) лаптем щи хлебать* в контекст присказки (26–27).

- (26) А ось! А это слышал: *авоська веревки вьет, небоська петли затягивает?* Нет, вы мне толком скажите: чего вы такое сделаете?
- (27) Захвастали англичане – ну прямо не продыхнешь. У вас-де, говорят, ни свету, ни совету, ни толку нету. У вас-де, говорят, *лантем щи хлебают, гвоздем хлеб ковыряют...*

3. НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Заканчивая рассмотрение национально маркированных фразеологизмов, следует подчеркнуть, что между свойством национальной специфичности и выделенными выше признаками нет взаимно однозначного соответствия. Так, достаточно очевидно, что, например, не все идиомы, содержащие уникальный компонент, ощущаются как "специфически русские". С другой стороны, можно представить себе ряд идиом, не обнаруживающих обсуждаемых здесь признаков и тем не менее воспринимаемых как национально специфические явления, ср. встречающиеся в "Блохе" и "Между собакой и волком" идиомы *зубы заговаривать, от греха подальше, разуть глаза, ляжку тянуть, достаться на орехи, кто-л. не дышло кроен, не лыком шит, не дулей делан*⁵ (ср., например, (28–29)).

- (28) Умные хвалили, дураки хаяли, потому – кроме поехи – кой-кому доставалось на орехи, чего и вам желаю. [Евг. Замятин. Блоха]
- (29) А вы как думали, я скажу, полагали – *лыком я шит, дулей делан?* надеялись – мякина у точильщика в котелке? [Саша Соколов. Между собакой и волком].

В ряде случаев национальные коннотации фразеологизмов, не содержащих соответствующих особенностей плана выражения, могут быть объяснены их "этимологической памятью" (о влиянии "этимологической памяти" на прагматический потенциал слова см. [Апресян 1995: 171–172]). Если идиома или пословица ощущается носителями языка как возводимая к традиционной "народной речи" или произведениям фольклора, она может обнаруживать сходные ограничения на употребление. Ср. фразеологизмы с пометой *folk* или *folk poet* в словаре [REDI], например: *жил-был, буйная головушка, завить горе веревочкой, моченьки нет/не стало, одна радость в глазу*. Значение пометы *folk poet* описывается следующим образом: "*folk poet (folkloric poetic)* – фольклорно-поэтическое; фразеологизм пришел из устного народного творчества, особенно из сказок, и сохраняет в той или иной степени фольклорный поэтический колорит" [REDI 1997: xix]⁶. Поскольку в круг описываемых здесь явлений из числа подобных фразеологизмов попадают только единицы с живой "этимологической памятью", фольклорная мотивированность которых ощущается на синхронном уровне, параметр фольклорного происхождения также не может рассматриваться как надежный критерий. Более того, он обладает, по-видимому, меньшей предсказующей силой, чем критерий нестандартности формальной организации фразеологизма.

В целом можно говорить лишь об определенных тенденциях, помогающих в первом приближении очертить круг явлений, претендующих на национальную маркированность. Может возникнуть вопрос, насколько оправдана подобная постановка задачи. Представляется, что выделение и описание национально маркированных лексических единиц (как фразеологизмов, так и отдельных слов) поможет вскрыть некоторый относительно самостоятельный аспект их плана содержания. Целесообразность подобной задачи на чисто практическом уровне вытекает из необходимости последовательной дифференциации лексических единиц по этому признаку. Не обсуждая

⁵ Впрочем, и в этих случаях может быть отмечена некоторая необычность компонентного состава. Так, слова *дышло*, *лыко* и *дуля* воспринимаются как устаревающие, а в идиоме *зубы заговаривать* может быть обнаружен намек на аллитерацию. В последнем случае (как и для идиомы *тянуть ляжку*), однако, более значимыми оказываются факторы "этимологической памяти" (см. ниже).

⁶ Значение пометы *folk*, реально используемой в [REDI], не эксплицируется в предисловии к этому словарю.

здесь вопрос о способах представления информации этого типа и соответствующих элементах метаязыка, отметим, что существующие фразеологические словари практически игнорируют данные различия. Например, и в [ФСРЯ] и в [REDI] идиомы *к черту* и *к лешему* даются как варианты с идентичным значением и идентичными стилистическими характеристиками (*прост.* в [ФСРЯ] и *highly coll.* в [REDI]). Между тем, контексты типа (30) показывают, что замена выражения *к лешему* выражением *к черту* ведет к определенным изменениям тональности повествования.

(30) (...) а там постреливают, там – командир бравадный, шагом марш, разорвется, не то – пристрелю. Ничего не попишешь – пришлось шагать, ну и оторвало, конечно, и выбросило *к лешему* за фашины. [Саша Соколов. Между собакой и волком]⁷.

Идиомы типа *к лешему* воспринимаются на фоне своих более употребительных и нейтральных синонимов как дополнительно маркированные. Поскольку подобные особенности лексических единиц желательно каким-то образом фиксировать в словарях, описание соответствующего аспекта плана содержания представляется разумной задачей и с собственно лексикографической точки зрения. Пометы типа *фольклорное* и *фольклорно-поэтическое* не выполняют этой функции, так как ориентируются скорее на происхождение фразеологизма, чем на особенности его употребления. Так, среди фразеологизмов, маркированных в [REDI] как *folk* или *folk-poet*, отсутствует большинство обсуждаемых в этой статье единиц. Совпадения наблюдаются в основном в тех случаях, когда фразеологизм содержит один или несколько релевантных формальных признаков (таких, как рифмование, уникальные компоненты, нестандартные морфологические формы), ср. *ни в сказке сказать, ни пером описать*; *в тридевятом/тридесятом царстве/государстве*; *в некотором царстве, в некотором государстве*; *пир на весь мир*; *забубенная головушка*; *змея подколотная*; *по белу свету*.

По-видимому, ни один из внешних по отношению к плану содержания признаков (будь то особенности компонентного состава или происхождение фразеологизма) не в состоянии с полной уверенностью предсказать его поведение в речи. Ограничения, связанные с национальной маркированностью, не являются в этом смысле исключением. Новизна предложенных в данной статье эвристик состоит прежде всего в том, что, помимо таких самоочевидных признаков, как фольклорное происхождение фразеологизма или наличие в его составе слов-реалий, в круг релевантных с данной точки зрения явлений вводится ряд признаков, не обсуждавшихся ранее в этом контексте. Необходимо еще раз подчеркнуть, что в силу ограниченности рассмотренного в статье эмпирического материала наши наблюдения не могут претендовать на статус окончательных выводов. Цель данной работы видится прежде всего в постановке проблемы и обсуждения соответствующих гипотез в первом приближении⁸.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д. 1995 – Коннотации как часть прагматики слова (лексикографический аспект) // Избранные труды. Т. II: Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Баранов А.Н., Добровольский Д.О. 1996 – Идиоматичность и идиомы // ВЯ. 1996. № 6.
- Добровольский Д.О. 1997 – Национально-культурная специфика во фразеологии (I) // ВЯ. 1997. № 6.
- Лотман Ю.М., Пятигорский А.М. 1992 – Текст и функция // Лотман Ю.М. Избранные статьи в трех томах. Т. 1. Таллинн, 1992.
- Райхштейн А.Д. 1980 – Сопоставительный анализ немецкой и русской фразеологии. М., 1980.
- Телия В.Н. 1996 – Русская фразеология. Семантический, прагматический и лингвокультурологический аспекты. М., 1996.

⁷ В данном контексте употребление идиомы *к лешему* дополнительно мотивировано логикой звукоряда (в частности, аллитерациями на *-и-*).

⁸ Первый вариант статьи был прочитан Ю.Д. Апресяном, В.П. Григорьевым, С.Е. Никитиной и А.Я. Шайкевичем, которым автор выражает искреннюю благодарность.

- ФСРЯ – Фразеологический словарь русского языка / Под ред. А.И. Молоткова. 4-е изд., стереотип. М., 1986.
- Cacciari C., Glucksberg S.* 1991 – Understanding idiomatic expressions: The contribution of word meanings // Understanding word and sentence. Amsterdam etc., 1991.
- Cacciari C., Rumati R.J., Glucksberg S.* 1992 – The role of word meanings, transparency and familiarity in the mental images of idioms // Proceedings of IDIOMS. Tilburg, 1992.
- Dobrovol'skij D.* 1995 – Kognitive Aspekte der Idiom-Semantik. Studien zum Thesaurus deutscher Idiome. Tübingen, 1995.
- Dobrovol'skij D., Piirainen E.* 1997 – Symbole in Sprache und Kultur. Studien zur Phraseologie aus kulturemiotischer Perspektive. Bochum, 1997.
- Eismann W.* 1995 – Pragmatik und kulturelle Spezifik als Problem der Äquivalenz von Phraseologismen // Von der Einwortmetapher zur Satzmetapher. Bochum, 1995.
- Jakobson R.* 1960 – Linguistics and poetics // Style in language. Cambridge, Mass., 1960.
- REDI – *Lubensky S.* Random House Russian-English dictionary of idioms. N.Y., 1995 = *Лубенская С.* Русско-английский фразеологический словарь. М., 1997.
- Segura Garcia B.* 1997 – Kulturspezifische Phraseologismen in literarischen Texten und ihre Interferenzen beim Übersetzen vom Spanischen ins Deutsche // Phraseme im Text: Beiträge aus romanistischer Sicht. Bochum, 1997.

© 1998 г. Л.Э. КАЛНЫНЬ

**ВКЛЮЧЕНИЕ ДИАЛЕКТИЗМОВ В ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ
КАК РАЗНОВИДНОСТЬ КОНТАКТА МЕЖДУ ДИАЛЕКТНОЙ
И ЛИТЕРАТУРНОЙ ФОРМАМИ РУССКОГО ЯЗЫКА**

В применении к русской языковой ситуации контакт между литературным языком и территориальными диалектами и его последствия рассматриваются в основном с точки зрения воздействия литературного языка на диалекты. Это воздействие программируется языковой политикой, ориентированной на распространение кодифицированного стандарта в максимально широких слоях общества. В идеале конечной целью такой политики видится устранение варьирования форм языка в обществе – в языковой экспликации каждого его члена исключается любая внеязыковая информация о говорящем (связь с определенной территорией, генерацией, профессией, уровнем образования и др.). Для носителей диалектов это означает замену одного языкового стереотипа другим. Эффективность подобной языковой политики во многом зависит от свойственного обществу отношения к территориальным диалектам – низкий социальный престиж диалектов способствует их нивелированию и сокращению участия в языковой жизни общества.

В русском обществе территориально ограниченные формы языка традиционно оцениваются как социально непрестижные и несовместимые с претензией на образованность. В советский период (20–30-е годы) на это наложилась политическая компрометация русских диалектов. Официально утверждалось мнение, что диалекты представляют собою языковой символ политически отсталых слоев сельского населения, противящихся политике коллективизации [Филин 1938: 127]. Социальный прогресс ассоциировался с исчезновением диалектов – именно поэтому в [История... 1961: 61] было написано, что "исчезновение русских диалектов уже свершившийся факт". Между тем реальное положение не вполне этому соответствовало, поскольку русские диалекты, как средство общения достаточно обширных территориально фиксированных групп носителей русского языка, сохраняются вплоть до настоящего времени. Диалекты проявили онтологическое свойство языкового идиома, так охарактеризованное Соссюром: "Нельзя найти в самом языке возможность прекращения его существования; только случайное событие, насилие или непреодолимая высшая сила внешнего характера могут уничтожить его" [Соссюр 1990: 17].

Диалекты, являясь компонентами русского языка, вступают в разного рода контакты с его кодифицированной формой. При этом они не только выполняют традиционную роль объекта воздействия со стороны литературного языка, но и сами при определенных условиях влияют на него.

Одним из результатов влияния одной формы языка на другую является проникновение в эту последнюю элементов первой. Влияние диалектов на литературный язык может происходить на фоне контакта между литературным языком и диалектом в рамках письменного художественного текста, в который включены элементы обеих форм языка. Этот контакт по способу реализации отличается от устного контакта. При устном контакте выбор одной из форм языка не имеет альтернативы – говорящий пользуется той формой языка, которой он владеет. В соответствии с этим, при устном контакте носителями литературного языка и диалекта являются разные лица – участ-

няки диалога, вступающие в непосредственное общение друг с другом. Иная ситуация имеет место при включении диалектных элементов в письменный текст. В этом случае носителем двух форм языка является одно лицо – это автор текста. Именно он делает выбор, при котором предпочтение отдается диалектному явлению в сравнении с его кодифицированным эквивалентом. Но поскольку текст предназначен читателю, выстраивается трехчленная линия контакта: *автор* (носитель двух форм языка) – *текст* (содержит элементы двух форм языка) – *читатель* (носитель кодифицированной формы языка). Если при устном контакте, по идеи, возможно обоюдное влияние на язык участников диалога, то при контакте, реализуемом через текст, подразумевается воздействие в одном направлении – на язык читателя. Содержащий диалектные фрагменты текст, будучи опубликован, делает контакт диалекта и литературного языка в виде сосуществования их элементов на одной плоскости частью языкового опыта каждого читателя текста на протяжении любого временного отрезка от момента его публикации. Читатель поставлен перед необходимостью принять языковой менталитет автора в том его виде, как он отражен в тексте.

Контакт диалектной и литературной форм языка в рамках художественного текста по своим последствиям отличается от устного контакта между носителями этих же форм языка.

Устный контакт/диалог – явление динамическое, для которого характерно отсутствие временного интервала между языковым намерением, его реализацией и восприятием сказанного. Как отметил Л.В. Щерба – "Сознательная группировка слов свойственна лишь письменной речи... Сознательность же обыденной разговорной (диалогической) речи в общем стремится к нулю" [Щерба 1974; 25]. Каждый речевой акт в диалоге эфемерен – реализовавшись, он в тот же момент перестает существовать, уступая место следующему акту. В этих условиях может возникнуть лишь общее оценочное отношение к речи партнера по диалогу без фиксации, тем более репродуцирования, ее специфических компонентов. Если учесть свойственную носителям русского литературного языка негативную оценку диалектной речи, то станет ясно, что литературно-диалектный диалог не может стимулировать включение диалектизмов в речевой репертуар носителей литературного языка. Говоря так, мы, конечно, не имеем в виду ситуацию, когда литературно говорящий индивидуум на долгое время попадает в диалектную среду. Следует также подчеркнуть, что в условиях диалога исключен момент непонимания, поскольку всегда доступно разъяснение со стороны собеседника.

Художественный текст, в рамках которого контактируют литературный и диалектный варианты языка, выступает как статичная, постоянная величина, способная в одном и том же виде включиться в языковой опыт большого количества носителей данного языка. Статус такого текста поддерживается авторитетом, присущим печатному слову вообще и художественной литературе в особенности. Поэтому диалектизмы в художественном тексте не вызывают однозначно отрицательную оценку. Их письменная фиксация способствует сосредоточению внимания на них, а из этого вытекает потребность понять диалектизм, осмыслить мотивы его включения в текст. В результате, диалектизмы входят в языковое сознание читателей – носителей литературного языка. Собственно, этим эксплицируется 1) воздействие языкового менталитета автора на менталитет читателя – меняется отношение к диалекту, что может способствовать расширению речевого репертуара читателя, и 2) ослабление конфронтации между диалектом и литературным языком, поскольку диалектизмы получают право наряду с кодифицированными формами участвовать в создании языковой картины текста. В то же время восприятие диалектизмов через художественный текст может сопровождаться их непониманием, которое (в отличие от устного контакта) не устраняется разъяснением со стороны диалектоносителя.

Использование диалектизмов обычно связано с описанием сельской жизни, в чем находит выражение соответствие между языком и средой его употребления. Авторы, включающие в язык своих произведений диалектные элементы, обычно берут их из

своего родного диалекта (материнской речи), тем самым проявляя определенный пестрот в отношении его выразительных средств. Но такое отношение автора к родному диалекту реализуется в тексте в той мере, в какой это допускается официальной культурной/языковой политикой в данный момент в данном обществе. В русской литературе советского периода отношение к диалектизмам менялось. В 30-е годы, в соответствии с языковой политикой того времени, диалектные элементы в литературных текстах встречали отрицательную оценку, освященную, в частности, именем М. Горького. (Ср. в этой связи замечание В. Астафьева: «...поношение родного языка, особенно "диалектизмов" и всяких там областных словечек с неперемной ссылкой на статью Горького против засорения литературного языка» [Астафьев 1988: 122]). Следует отметить, что в интерпретации М. Горького борьба с диалектными элементами в языке литературы имеет идеологическое значение, что ясно коррелирует с его неприязненным отношением к русскому крестьянству (ср. "Необходима беспощадная борьба за очищение литературы от словесного хлама, борьба за простоту и ясность нашего языка, за честную технику, без которой невозможна четкая идеология" [Горький 1953: 152]). Иное отношение к включению диалектизмов в литературный текст демонстрирует литературный опыт 70–80-х годов, объединенный понятием "деревенская проза". Использование диалектизмов в литературе перестало быть подцензурным фактом и авторы, описывая жизнь и быт русской деревни, в той или иной степени привлекли диалектные формы языка.

Абстрагируясь от идеологии и официальной языковой политики, феномен включения диалектизмов в литературный текст можно оценивать с собственно лингвистической точки зрения. В общем виде это сводится к вопросу о том, как диалектизмы влияют на языковую картину литературного произведения. Владая диалектной и литературной системами, автор при написании текста стоит перед проблемой переключения кода, т.е. приведением в эквивалентные отношения тех компонентов названных систем, которые отличаются друг от друга. Включение в текст диалектного компонента может происходить на фоне решения таких входящих в понятие языковой картины конкретных вопросов, как 1) включать ли диалектизмы только в речь персонажей или также и в авторскую речь – обратное соотношение вообще невозможно, а включение только в речь персонажей свидетельствует о четком разграничении в сознании автора ресурсов диалекта и литературного языка; 2) насколько последовательно/часто надо включать в текст раз выбранную диалектную черту; 3) как не переступить тот предел, когда текст из-за своей диалектной окраски может стать непонятным для читателя, незнакомого с используемым автором диалектом.

Возможное решение этих вопросов не бывает универсальным и зависит от позиции, которую занимает конкретный автор, и от его языкового опыта. Для выяснения реальной картины мало что дают эксерпции из разных произведений. Эффективным может быть лишь рассмотрение того, как осуществляется включение диалектных элементов в литературный текст одним автором в одном произведении. Далее мы рассмотрим с этой точки зрения язык входящего в круг "деревенской прозы" романа В. Личутина "Долгий отдых" (Из-во "Современник". М., 1977; 333 с.). Действие романа происходит в первой половине XIX в. в поморской деревне вблизи реки и города Мезень. Произведение в высокой степени насыщено диалектизмами как в языке персонажей, так, хотя и в меньшей мере, в языке автора. Когда в сноске разъясняется значение диалектного слова, оно квалифицируется как принадлежащее архангельскому диалекту (пометка *арх.*). Отраженные в тексте диалектные явления фонетики и морфологии никак не комментируются.

Автор, включающий в художественный текст диалектные слова, с психологической точки зрения проявляет себя как билингв – в его сознании одному значению соответствуют "два звуковых представления". Если один из этих двух элементов слабеет случайно, временно или систематически, то другой естественно его замещает" [Щерба 1915: 193]. В этой конкуренции диалектное слово может оцениваться автором как семантически более адекватное. В этом плане показателен "метаязыковой" коммен-

тарий к соотношению литературного и диалектного слова, который дает другой автор, также описывающий поморские мезенские реалии – «*няша* – это... грунт здешний... Можно было бы, вероятно, и *илом няшу* назвать, но беспристрастный "ил" – совсем не то; и далее – "Два с половиной века, как приказано *крень* именовать *килем*, а для Паисия *крень* – до сих пор *крень*... ведь *крень-то* все-таки родное слово» [Маслов 1983: 82, 174] (курсив мой – Л.К.).

Предпочтение, отдаваемое в художественном тексте диалектизмам, ставит перед автором задачу сделать это так, чтобы не возникло проблем с пониманием смысла текста для тех, кто не владеет диалектом, в том числе и для переводчиков с языка. Наиболее очевидно это касается лексики. Осознавая это, автор может прибегать к разным способам разъяснения диалектных слов. Наиболее прямой из них – это раскрытие значения слова в с н о с к е. В романе В. Личутина такими сносками снабжены слова: *хвалёнка* (с. 13)¹, *тобоки* (15), *совик* (15), *сколотный* (19), *одевальница* (20), *поносуха* (28), *божатка* (31), *забой* (32), *домовина* (46), *костыч* (50), *плешивик* (75), *хонга* (80), *нагорные ветры* (99), *ошкуй* (99), *разволочная изба* (102), *кочедык* (118), *телдоса* (122), *шугай* (135), *вонный амбар* (114), *майна* (152), *дединка* (164), *лопатына* (173), *бурса* (191), *харавина* (194), *каяф* (204), *коротенка* (213), *заедки* (262), *удивленная 'испуганная'* (272), *котляна* (285), *уножье* (290), *лайда* (287), *сулой* (315).

Другой способ раскрытия значения диалектного слова состоит во включении в текст на достаточно близком расстоянии литературного с и н о н и м а или о б ъ я с н е н и я диалектизма. Например: [*стоскнулось* – взгрустнулось] (198), [*в голомень*, в открытое море] (193), [*сырые рады* – болотины] (170), [*дуплё* – бересто] (170), [*кляпцы* – деревянные капканы] (153), [*домовицы* сколотить – гроб сколотили] (100–102), [*в окутках*, в старом тряпье] (144), [*жальник* – кладбище] (в причитании "не убойся ты прекрасного кладбища") (128), [*кутило* – остро заточенное копье] (297), [*вода с мороза прет*, *киснет* вода-то – красная пахучая вода, рыжая дурно пахнущая вода] (138, 152), [*собачьи чулки* – *липты*] (297), [*тинки* – клыки (моржа)] (297), [*калтусинка* – лесное болотце] (228), [*ласты* – *катары*] (296), [*из пятника* – круглой дыры в стене] (157), [*отбивала полотно*, *чикая оселком по лезвию горбуши*] (227), [*тянут полотно* сквозь дерево... – усердно тянет пилу] (182), [*ведром смолы вымазал* – *смоль* не пондравилась] (230), [*лонись* – о прошлом годе] (274), [*земля молонью вытягат* – *выманит* ее] (122), [*выбирали навалухой*, всем скопом навалившись] (233), [*у турка* – бревна печного, где висел рукомойник] (185), [*на подводных камнях* – *лудах*] (288), [*игровая волна* – *толкунец*] (289), [*катище*, высокая ледяная гора] (187) и др. Но и при использовании синонимов может остаться неясность относительно значения диалектного слова. Ср. описание цинги: [*плюнул... одна чернота* со рта... десны распухли, *кровь* идет... а на Крещение и *руда* изо рта хлынула] (100). Слово *руда*, по Далю, означает и 'кровь' и 'грязь, чернота', поэтому неясно в каком значении выступает *руда* в приведенном контексте.

Обе формы предпринятого автором раскрытия значения диалектного слова (сноска, синоним) указывают на то, что при написании текста автор контролировал переключение кода как переход от литературной формы языка к диалектной и наоборот. Однако такой контроль может утрачиваться, поскольку диалектная форма ассоциируется у автора с ресурсами материнской речи и тем самым с отсутствием затруднений в их понимании. Этому способствует и то, что в целом между русским литературным языком и диалектами нет настолько глубоких различий, что можно было бы ожидать затруднений во взаимопонимании между носителями этих форм языка. Как известно, "сходные системы норм труднее разграничить, чем сильно различающиеся" [Вайнрайх 1972: 31].

¹ Указание на страницы в романе далее даются в скобках.

В результате ослабления авторского контроля за конкурентной диалектной и литературной лексикой текст романа В. Личутина насыщен диалектными словами, значение которых читатель/переводчик должен определять без помощи автора. В некоторых случаях этому помогает контекст. Например: [все ворота *поломила запорами*] (18) = заперла; [на *прибегшицах*... не застоялась ли где мезенская *посудина*] (7) = пристань, судно; [река обсохла, *вытончилась* на перекатах] (76) = сузилась; [то был толстой, а тут сразу *вытонял*, кощей кощеём] (100) = похудел; [откликнулся наконец *многодумный брат*] (118) = задумавшийся; [от грязи все *забукосело*] (18) = заскорузло; [отпаялись от отца, дай ему поспать] (86) = отстань; [с узелком по деревне как-то *смутно* идти] (139) = стыдно; [солнце *растеплило* снега] (200) = растопило; [под носом *растеплило*] (152) = потекло; [смертушку свою в *обличье* видел] (100) = в лицо; [стоит *перед очию* будто живая] (100) = перед глазами; [вы тише *шиньгайте*] (86) = шумите; [хоть бы коровушку мою не *сронило*] (45) = убило; [городил Яшка, но все *рядом с правдой*] (165) = похожее на правду; [*совсем боле* смешат люди] (161) = гораздо больше; [тебя мать *тешит*.. а *тешиной*, что до времени роженой] (79) = баловать, избалованный и др.

Однако в романе очень много слов, значение которых можно узнать, только обратившись к диалектному словарю. Например, из Словаря Даля можно узнать значение слов: *говоря* 'речь' (6), *поплавни* 'сетки для семги' (168), на плечи *вызняться* 'взобратся' (23), *силья скать* 'сучить силки' (54), *дивно* взяли 'много' (27), *дивный* мороз 'сильный' (139), *взаболъ* 'вправду' (230), *кожа* ревит 'стадо моржей' (296), *пѣтаться* 'маяться' (176), *утельга* 'тюленья самка' (100), *назлить* 'надерзить' (97), *отбивной* парень 'озорной' (97), *притвор* двери 'полотно двери', т.е. собственно 'дверь' (14), *ободверина* 'косяк' (постоянно), *приглубое* место 'глубина близ берега' (286), *отмелое* место 'мелкое' (300), *корга* 'каменистый отлогий берег' (296), *лывы* 'земля мокрая от дождей, родников' (83), *шар, шарок* 'пролив' (57, 63), рукавицы *ровдужные* 'замшевые' (5), *затин* 'орудие для ловли морского зверя' (300), *заворы* 'ворота в заборе' (256), *кабат* 'широкая рубаха сверх кафтана' (168), *нодья* 'костер на ночлеге в лесу' (146), [опруживал возок на один полоз] 'кренил' (131), *воронец* 'полки в избе вокруг стен' (195), *шолнуша* 'место у печи' (141), *огнище* 'ночной костер в поле' (227, 229), *покрутчик* 'снаряжаемый на промысел' (194), *однополенные* дрова 'десятивершковые' (194), охотничий *скрад* зверя 'выслеживание' (328) и др.

В то же время объяснение, данное в Словаре Даля, может и не подходить к использованию диалектного слова в романе. Так, *сузѣмы, суземье* по Далю 'дремучий непроходимый лес, без дорог'. Но в романе эти слова ассимируются и просто с понятием 'лес' – [и даже лошадей забирались в *суземье*, но сей год *лес* стоял в снегу] (145); [ехали *суземьем*] (272). Слово *окончина*, по Далю, 'стекло в окне', но в [постучал в боковую *окончину*] (292) это, скорее, 'окно', а в [окончину, крытую бычьим пузырем, вставил в проем] (255) – 'рама'.

Многие диалектные слова, включенные в роман, отсутствуют в Словаре Даля и узнать о них можно в СНРГ (Словарь). Это – *буйно* 'навес на лодке' (193), *быват/бат* 'ведь' (53, 151), [борода *вехтем*] 'мочалкой' (56), *варница* 'приспособление для варки пивца в поле' (112), на *гузне* 'верхняя площадка на ледяных горах' (188), [гиган... сделал] 'гигантские шаги' (99), *забереги* 'осенний лед вдоль берега' (328), *печищане* 'односельчане' (206), *пѣхать* 'толкать' (81), [повергла в своей толще морская пучина] 'убила' (316), на *полуводе* 'на средней воде' (103), а по картотеке АОС *полувод* 'меж отливом и приливом', *олабыши* 'лепешки' (183), *засторонок* 'место на русской печи' (42), *захалеешь* 'заболеешь' (51), [самой думно стало] 'тревожно' (178) и др. Расхождение между значением слова в романе и его толкованием в СНРГ: в словаре *кунды* 'лыжи не подбитые оленьим мехом' а в романе наоборот – [лыжи – *кунды*... подбиты камусами – шкурами с лосиных ног] (155); *натуристый* в словаре 'смелый' упрямый', а

в романе 'взрослый, серьезный' – (ребенку) [у тебя и рассуждение все *натуристое*] (69), [сколь паренек *натуристый*] (211). Выражение в *худых душах* означает по Далю 'быть при смерти', у Подвысоцкого то же и еще 'чуть жив' (именно такое значение в [вырвалась в *худых душах* и долго приходила в себя] (232)), но в романе и 'быть грустным' – [они замолчали... расстроенные, в *худых душах*] (119).

Употребление в художественном тексте слов, значение которых не вполне адекватно воспринимается читателем, снижает эффект коммуникативной связи между автором и читателем. В этом плане особую ситуацию создают слова, 1) варьирующие значение в тексте и 2) внешне, но не по значению совпадающие с литературным словом. При употреблении таких слов особенно вероятна неполная ясность смысла текста для читателя. Ср. следующие примеры.

Глагол с корнем *руш* – имеет значение: 'погубить' – [чтобы не завязалась нечисть и не *порушила* стадо] (202); 'разрушить' – [стараясь *порушить* дряхлое житье] (210); 'резать' – [*разрушила* на длинные ломти] (о хлебе) (90); на этом фоне не вполне ясно, что конкретно имеется в виду в [лежащего человека и мышшь *рушит*] (102).

Слова с основой *позор* – означают: 'стыд, позор' – [прилюдно *опозорил*] (6), [дочерняя *позорная* рубаха] (275); 'мученье' – [*напозорился* я... в лесу то] (257), [*позоримся* хуже скотины!] (82), [с сенами *напозоришься*, а потом и достать то не знашь как] (96). Поэтому непонятен возглас персонажа перед рыбной ловлей – [Осподи, не дай *напозориться*] (146) – о 'позоре' здесь не может быть речи, а что касается 'мученья', то это как бы само собою разумеется при зимнем лове рыбы; можно думать, что этот возглас синонимичен [Господи, помоги!].

Глагол с корнем *ман* – в романе означает: 'заманить' – [ему бы только баб *блазнить*, да на грех *поманывать*] (175), [мужика во двор *заманит*] (44); 'соблазнять' – [чтобы нечистая сила не *поманывала* девку] (273), [не введи девку в *ман* греховный] (324); 'тянуть' – [лес *манит*] (30), [земля молонью... *выманит*] (122), [на дыбе не *выманят*] (23); 'ждать' – [до утра *доманить*] (8); а в [черт *поманул*] (22) допустимо и 'заманил', и 'попутал'.

Слово *заделье* имеет значение 'конкретная работа' и 'дело, занятость вообще': [увлеклась *задельем*] (55) 'работой' (мытьем полов); [*заделье* из рук валилось] (75) 'работа' и 'дело'; [все какое-нибудь *заделье* сыщут, только бы не идти] (202) 'дело' или 'предлог' (так в СРНГ); [бабы страдали на пожнях, мужики *вели заделье* во дворах] (171) 'занимались делом'.

Слово *угор* чаще всего означает 'высокий берег реки', но и 'пространство вне дома, улица' – [когда спать, когда *на угор* бежать] (58). Параллельно используются слова *берег*, *бережина*. Иногда это 'низкий берег' – [выволакивали на речную *бережину*] (171), [пристань у пологой *бережины*] (329), [у самого *берега*, где и вода-то по щиколотку] (175), а иногда и 'высокий берег', т.е. то же, что *угор* – [*берег* правый, рудяной... навис над левым] (169); кроме того *бережина* означает и 'трава на берегу' – [постоял на угоре, потоптался на *бережине*] (171).

Прилагательное *нажористый* значит 'сытный' в нейтральной речи – [ядрены ешь, *понажористей*] (67), а в эмоционально окрашенной 'обжорливый' – [сколь ты *нажористый*] (159). Можно привести и другие примеры многозначности диалектного слова в романе.

Диалектные слова, внешне совпадающие с литературными, но имеющие другое значение, особенно провоцируют неточность в понимании текста, т.е. семантический дискомфорт. Ср. следующие примеры:

постель 'подстилка' – [в холодных сенях бросила оленью *постель*] (72); [моржи заметались на каменной *постели*] (299), а 'место для спанья со спальными принадлежностями' называется *место* – [присел рядом, глубоко продавив *место*] (244), [хозяйка направила... *место*] (271);

жить 'быть, бывать' – [запах трески *жил*] (7), [в сырых местах, где обычно живут сквозняки] (287), [тихая *жила* тайбола] (145); 'сохранять огонь, гореть' – [будет костер *жить* до утра] (146), [угли в полночь малиново *жили*] (184); *заживать* (о воде) 'прибывать при приливе' – [стала вода *заживать*] (168);

закрасить 'покрыть' – [дождь то совсем *закрасил* оконце небесной водой и потому ничегошеньки нельзя на улице выгладеть] (211); *стегать, застегнуть* 'бить, забить' – [застегну собаку] (27), [*стегать* кулаком] (276); *труба* 'свиток' – [сукна две *трубы*] (33); *слышать* 'чувствовать' – [а ты сам-то какво себя *слышишь*] (91); *поднимут с ног* 'собьют' – [убегай... а то *поднимут с ног* и сметут в снег] (188); [*проливные* слезы] (199), но – [дождь *непроходной* лил] (149), [*заливные* дожди] (7); *круто* 'быстро' – [девки ходили *круто*] (221).

В плане расхождения по значению с литературным словом весьма показателен глагол *бежать, бежать* (включая префиксальные формы). Это: 'идти пешком на большое расстояние' – [*побежал* в родную деревушку] (7), [пешком *добежал* до Петербурга] (249), [снарядился и в Кельи *убежал*] (192); 'плавать по воде' – [с радостью бы *побежал* на Матку] (285), [на десятый день... *добежал*] (294) (до Новой Земли), [*сбежал* в море – и пан] (94). В то же время автор не исключает для этого глагола и значения, совпадающего с литературным – [с матрозов *бежал*] (12), [*побежал* прошлой осенью и вот до ныне и *бегаю*] (30), [они *побежали* к реке] (229). В этой связи неясно, имеется в виду 'убегайте' или 'уплывайте' в [в подугорье наш карбасок, в самой потемни и *побегайте*] (126). Значение, отличное от литературного, демонстрирует глагол *пасть* – [шторм *падет*] (194), [хоть бы дождя не *пало*] (95), [карбас на глаза *пался*] (103). В словаре Подвысоцкого для таких случаев дается значение 'настать, настаивать', 'попадать'. Но в романе в *мороз падет* имеется в виду его ослабление – [если мороз *падет*, снег закипит-заплавится, обратно легче будет ехать] (146) – только при таком значении слова *падет* можно понять, что *закипит-заплавится* означает 'подтаает'. В [лодка мне в сто рублей *палась*] (194) тот же глагол означает 'обошлась, стоила'. Интересна семантика слова *глупый* в романе. Ср. [расчесывала волосы, а сама была словно *глупая*] (273) = без сознания; [рыбалка-то *глупа*, да повезенка. Тут уж как повезет] (150) = проста; [вот на *глупого* удача] (153) = дураку везет; [а ну, на *глупого* удача, отмахнулся Петра] (189) = пустяки, ерунда; [на *глупом* месте выросла] (332) = глупая; а в [потешимся на *глупой* рыбалке] (150) трудной догадаться о значении *глупой*.

Осложняет семантическую идентификацию диалектных слов их включение в синонимический ряд. Так, в романе значение 'темнота, темно' имеют слова *потемь* (42), *потемь* (80), *запотемно* = затемно (13), в *потемени* (306), в *потемни* (126), *темень* (80) *теменище* (118), а в [сразу непроглядные *сумерки* родились] (14) в значении 'темнота' выступает слово, обычно ассоциирующееся с 'полумрак'.

В тексте романа достаточно много слов, значение которых не явствует из контекста, а в словарях их нет. Например: [*столоногие* жеребцы] (42) – ясно лишь, что это бранное слово; [сумеет ли выступить, сумеет ли *гунушки* сделать] (216) – ?; *ворзя* (115) – ?; [парень веселый *верховой*] (28), [*верховой* мальчишка] (9) – у Даля и в АОС 'с верховьев реки', но это значение не подходит, здесь, скорее 'ловкий' (?); [двери распахнула, наставила *поддверки*, чтобы мороз не валил низом] (157) 'нижние дверцы' (?); [над суземьем разлилось багровое *пожарище*] (137) – не 'место после пожара', вероятно, 'закат' (?); [вылитьгй Степанко и волос егов, и губы, и *похмычки*] (67) 'ми-мика', 'усмешки' (?); [губы по-детски распустил, широкие, *неприбранные*] (11) 'пухлые' (?) и др. Как иллюстрацию потребности в переводе, можно привести такой фрагмент: [рукавицы *исподки* вязаные с одним *пакулем* для *толстого* пальца] (153) = букв. 'одеваемые под кожаные рукавицы нижние вязаные с одним чехлом для большого пальца', т.е. по-просту 'нижние варежки'.

Наряду с лексикой в язык романа включены элементы диалектной м о р ф о л о г и и ф о н е т и к и. Проблем с семантической идентификацией они не создают, но определенно усиливают диалектную окрашенность языка. Эффективным средством в этом плане является префиксация глаголов. Как в речи персонажей, так и автора представлены глаголы, отличающиеся приставкой от аналогичных по значению глаголов литературного языка.

Различие в качестве префикса: *не замогу* (138) = смогу; [не даст корочки *зажевать*] (139) = пожевать; [*жизни не зажалеть*] (276) = пожалеть; [что было – *приели*] (99) = съели; его *проследили* (230) = выследили; [про дороги *вызнать*] (325) = узнать; [всю мачеху *приругал*] (291) = изругал; [всю-то дорогу *вымолчал*] (127) = промолчал; [каково *разживались* без меня] (85) = поживали и др.

Глагол с префиксом при безпрефиксном или с меньшим количеством префиксов литературном эквиваленте: [уже *запотемнело*] (15), [*принагнул* ухо к двери] (20), [пошто девок *забигаешь*] (53), [отцу *проскажешь*] (14), [не один раз *спокаешься*] (98) [тебе *спонадобится*] (44), [на острове одному *пооставаться*] (103), [всякий меня *пообидит*] (47), [на пару *упромышляли*] (27), [*разнаваивать* юбку] (45). Обратное соотношение, т.е. префикс в литературном слове и отсутствие его в диалектном: [*стрелил* я гуся] (102) = застрелил; [вдруг и *сочил*] (101) = вскочил; [*зорил* полевой амбар] (34), [*лыбится* он] (13).

Диалектная специфика проявляется в видовой характеристике глагола. Например: [за што ты меня *обидишь*] (28) несов. вид, возможно инфинитив *обидить* как *водить*; [куда же он *девается*] (13), [на Печору *деваюсь*] (10) = денется, денусь; [вы *послышьте*] (6) сов. вид в м. послушайте; [двери *схлопали*] (55) = хлопнули. Значение несом. вида часто подчеркивается суффиксом *-ив/-ыв*: [ночами не *сыпывал*] (138), [я *промышывал*, не один сезон *стаивал*] (102), [*прижаливал*] (10), [в бедности не *живала*] (32).

Среди диалектных глагольных форм можно назвать инфинитив *помогчи* (277), *секчи* (110), *ести* (304), *сести* (91), императив – [хоть топор *весь*] (30), [*побоись* Бога] (34), [*лыни...* водицы] (78), [заместо меда *мажи*] (205).

В именной парадигме диалектные флексии представлены только в языке персонажей. Это: дат.-местн. ед. сущ. на *-а* как род. ед – *во главы* (288), *в расправы* (25), *в Николы* (32), *на госьбы* (151), [на *деревни обкостят*] (19), *к дяди* (305); собират. форма в значении им. мн. – *косье* (132), *волосье* (117), а также *мужовья* (321), *братовья* (165); им. ед. на *-о* сущ. м. р. – *дедо* (30), *батюшко* (35), *хозяйнушко* (318), *Владимерко* (203), *Степанко* (67), *Михейко* (135); род. ед. *-у* сущ. ср. р. – [с *морю* пришел] (127). Варьирование рода – *тать какой* (14), *тать лесная* (28). Варьирование формы им. ед. *мати* – *матерь* – *мать*.

В местоименной парадигме часто и преимущественно в языке персонажей используется безударная флексия им. ед. м. р. *-ой* (вм. литературной *-ый*): *богатой*, *виноватой* (311), *брюхатой* (105), *неразумной* (328), *безъязыкой* (80), *вонькой* (163). Не исключена ударность флексии в – *старой* (13), *дикой* (23), *смелой* (228), *глупой* (328), *частой* (148), *душиной* (153).

Диалектные формы местоимений: *с има* (32), *над всема* (51), *меж има* (288), а также *нам двоима* (243). Весьма распространены неопределенные местоимения со вторым компонентом *ли* (без дефиса): *чего ли* (192), *которого ли* (62), *где ли* (117), *каку ли бабу* (128), *как ли* (195), *сколько ли* (237) и др. Но *ли* употребляется и в нормативном значении (*это ты что ли?* с. 29), что усложняет семантику морфемы.

Только в язык персонажей включен такой диалектизм, как членная форма. Ее репрезентуют им. ед., редко им. мн сущ. м. р., редко вин. ед. сущ. ж. р., им. мн именных прилагат: *ковиш-от* (20), *сам-от* (216), *пень-от* (224), *ум-от* (227), *грех-от* (232), *сколь велик-от* (172), *глаза-ти* (51), *густы-ти* (43), *молоды-ти*, *стары-ти* (51), *за жизнь-ту* (288), *лошадь-ту* (88).

Специфически диалектной является конструкция без отрицания при глаголе – *и не што и нажил* (191), *никто и велел ехать* (296); *потреблять* без прямого объекта – [который день *не потреблял* кроме дешевой еды] (338); отсутствие возвратной частицы – [не знал на что *решить*] (271), [что *поблазнит*] (11); им. ед. в значении объекта – *навина пахать* (90).

Элементами диалектной фонетики автор время от времени окрашивает речь персонажей. Это: стяжение в результате утраты интервокального *й* в прилагательных и глаголах – *золота* (320) *деревянна* (44), *како-то* (49) *дики*, *темны*, *глупы* (51), *хорошу* *трепку* (229), *пугат* (35), *приласкат* (68), *опоздашь* (286), *не примат* *душа* (26) и под.; *ис* → *сс* в возвратной форме 2 л. ед. глаголов – *боишься* (13), *бросаете* (57), *ерепениссе* (81), *покаетесь* (221), *обойдете* (19), *вернете* (308) и др.; как видно из примеров, изменение *а* → *е* в морфеме *-ся* то показано, то нет; это же изменение гласного показано в *блеть* (222); согласный *в* в местном. флексии род. ед. м. р. – *недопеченова*, *горячева*, *мяккова* (61) и др.; твердость долгого шипящего согласного – *таишы* (70), *пушы* (83), *ружжо* (165) *дожжа* (95), но и *пуце* (89), *ружье* (325), *работяца* (19); напряженность смычного согласного перед аффрикатой – *ругатца* (223), *осердчал* (69), *от протчих* (177), *лутче* (248); прогрессивное смягчение *н* – *я больней* (97), *она рукодельня* (128); упрощение консонантных сочетаний – *корщик* (98) и *кормщик* (178), *госьба* (151); фонетика отдельных слов – *тепере* (35), *хрен с нимо* (69), *здесе-ка* (317), *воно они воно* (118), *послушный нынь* (265), *ледина* (99), *с потолка* (103), *нажоралась* (103), *жори* (159) *Осподи!* (постоянно).

Фрагментарный анализ включения диалектизмов в язык романа В. Личутина показывает следующее.

Автор достаточно определенно проводит границу между диалектом и литературным языком в формальной сфере грамматики (морфология, фонетика). Диалектные вкрапления этого типа допускаются в основном только в языке персонажей. На семантически значимом уровне языка (лексика, словообразование) дистанцированность диалекта от литературного языка присутствует не всегда. Это выражается в том приоритете, который достаточно часто отдается диалектной лексике в языке автора. Привязанность автора к диалектизмам вызывает неоднозначную оценку.

Архангельские говоры, будучи составной частью русского языка, являются одним из феноменов национальной культуры. Своеобразие лексики, часто архаичной, отражает реалии разных сторон народной жизни русского Севера, который традиционно ассоциируется с богатыми проявлениями русской национальной культуры. Можно понять стремление автора распространить знания о жизни русского Севера за пределы этого региона. Реализации этого намерения как нельзя больше способствует художественный текст, написанный с использованием элементов севернорусского диалекта.

Препарирование художественного текста с целью выделения в нем диалектизмов – это компетенция лингвиста. Онтологически же художественный текст является целостным образованием и, будучи опубликован, он во всех своих компонентах репрезентует современное состояние литературного языка. Включение диалектных фрагментов в художественный текст возможно только потому, что это допускает современная литературная норма, и в этом можно видеть элементы влияния диалектной формы языка на литературную. Следует подчеркнуть, что между влиянием диалектов на литературный язык и влиянием литературного языка на диалекты имеется принципиальное содержательное различие. Влияние литературного языка проявляется в замене диалектных явлений литературными, т.е. в сокращении собственно диалектных ресурсов идиома. Влияние диалектов не ведет к замене компонентов литературного языка диалектными – в этом случае происходит включение диалектных элементов в ресурсы литературного языка.

Но использование диалектизмов в литературном тексте имеет и другую сторону. Диалектизмы, став компонентом художественного текста, не должны вызывать реакцию отторжения у читателя. А для этого они должны быть понятны. Ср. в этой

связи замечание В.В. Виноградова: "...язык подлинно художественного произведения не может далеко отступать от основы общенародного языка, иначе он перестает быть общепонятным (относительно свободные отходы от общенациональной языковой нормы возможны для художественного произведения лишь в области лексики)" [Виноградов 1954: 12]. Как показано выше, привязанность автора к диалектной лексике сопровождается его имплицитной уверенностью в ее общепонятности. Между тем довольно часто для расшифровки значения приходится привлекать словари. Надо полагать, что обычный читатель романа такими подручными средствами не всегда располагает, а возможно, и не захочет ими воспользоваться. В еще большей степени проблема значения диалектных слов, а отчасти и форм, встает при переводе с русского языка, когда идентификация значения слова/текста должна быть однозначной. Автор, включающий диалектизмы в художественный текст, должен корректировать свой языковой опыт, подавая диалектизмы так, чтобы они были понятны читателю. Способы для этого, как показано выше, могут быть разными.

Недостаточно последовательное разграничение систем диалекта и литературного языка эксплицирует языковую компетенцию, при которой индивидуум "располагает менее чем двумя, хотя и более чем одной системой" [Хауген 1972: 62]. Освоение такой языковой компетенции предлагает читателю художественный текст, содержащий диалектные включения. Читатель может откликнуться на это предложение, а может и отвергнуть его. Однако, если учесть, что печатный художественный текст – это постоянная величина, воздействие которой не ограничено временными рамками, то с большой вероятностью можно ожидать, что такой текст будет способствовать включению в языковой опыт все большего числа читателей идеи, согласно которой диалектизмы обретают статус допустимых компонентов языка литературного произведения.

Расширение выразительных средств литературного языка за счет ресурсов территориальных диалектов косвенным образом отражает демократизацию использования языка в обществе. Как заметил Е. Хауген, "диалект – это язык, который не добился признания" [Хауген 1976: 157]. Определенный вид такого признания возможен при ослаблении контроля за языковым поведением в обществе. В этих условиях диалектные формы языка могут претендовать на включение в языковую картину литературного произведения. Терпимость к диалектизмам стала особенностью современного русского литературного языка в тех жанрах, которые связаны с описанием реалий сельской жизни. Это означает, что в современной ситуации русские диалекты не только реагируют на воздействие со стороны литературного языка, но и сами влияют на него. Влияние проявляется на уровне узуса, не имеющего в кодификации коррелятов – включение диалектизмов в художественный текст допускается, но конкретные правила этого включения не прописаны.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Астафьев В 1988 – Зрячий посох. М., 1988.
Вайнрайх У 1972 – Одноязычие и многоязычие // Новое в лингвистике. Вып. VI. М., 1972
Виноградов В В 1954 – Язык художественного произведения // ВЯ. 1954. № 5.
Горький М 1953 – Собр. соч. Т. 27. М., 1953.
История... 1961 – История русской диалектологии. М., 1961.
Маслов В 1983 – Крень. М., 1983.
Соссюр Ф. де 1990 – Заметки по общей лингвистике. М., 1990.
Филин Ф.П 1938 – Исследования по лексике русских говоров. М.; Л., 1938.
Хауген Э 1972 – Языковой контакт // Новое в лингвистике. Вып. VI. М., 1972.

Щерба Л.В. 1915 – Восточнолужицкое наречие. Пг., 1915.

Щерба Л.В. 1974 – Языковая система и речевая деятельность. Л., 1974.

Haugen E. 1976 – Dialekt, Sprache, Nation // Zur Theorie des Dialekts. Wiesbaden, 1976.

Словари

АОС – Архангельский областной словарь. Вып. 1. М., 1980 – Вып. 9. М., 1996.

Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. М., 1978–1980.

Подвысоцкий А. Словарь областного архангельского наречия. СПб., 1885.

СРНГ – Словарь русских народных говоров. Вып. 2. М.; Л., 1966. – Вып. 29. СПб., 1995.

© 1998 Е.В. РАХИЛИНА

**СЕМАНТИКА РУССКИХ "ПОЗИЦИОННЫХ" ПРЕДИКАТОВ:
СТОЯТЬ, ЛЕЖАТЬ, СИДЕТЬ И ВИСЕТЬ***

1. ВВЕДЕНИЕ: ЯЗЫКИ КЛАССИФИЦИРУЮЩИЕ И УНИВЕРСАЛЬНЫЕ

В отношении местонахождения объекта языки ведут себя по-разному, в зависимости от того, какую из двух основных тенденций – *универсальную или классифицирующую* – данный язык предпочитает. Универсальная тенденция предполагает, что в языке есть один главный локативный предикат, который описывает любое локативное состояние независимо от типа объекта¹. Подобным образом устроен, в частности, французский язык, использующий в качестве такого предиката глагол *être*.

Наоборот, если в языке господствует классифицирующая тенденция, то в нем одно и то же локативное состояние может описываться разными предикатами, в зависимости от того, об объекте какого типа идет речь: разные объекты требуют для своего описания разных предикатов. Иными словами, чтобы в таком языке выбрать лексему для описания ситуации 'некто находится в горизонтальном положении', нам нужно знать, о каком объекте идет речь: человек ли это, животное, дерево, и т.п. Так устроены грузинский, некоторые дагестанские языки, многие языки американских индейцев (в том числе навахо). В них глаголы местонахождения как бы классифицируют предметную лексику, различая объекты внешнего мира по одушевленности, форме и проч. – поэтому такие глаголы и называют классифицирующими².

2. ЛОКАТИВНЫЕ СОСТОЯНИЯ И ТОПОЛОГИЧЕСКИЕ ТИПЫ

К какому же типу ближе русский язык – к классифицирующему или универсальному? Специалисты в области иностранных языков, прежде всего французского, отмечали в русском классифицирующие тенденции (см., в частности, [Гак 1988]; ср. также [Адресян 1995: 17–18]). В настоящей работе эта проблема обсуждается на примере трех основных так наз. "позиционных" (ср. англ. термин "stance verbs")

* Данная работа выполнена при поддержке фонда Research Support Scheme of the Open Society Institute (грант № 49/94) и Российского Гуманитарного научного фонда (грант № 97-04-06380а). Автор благодарит Ю.Д. Адресяна, Н.Д. Арутюнову, Т.В. Булыгину, Д. Вайса, Б. Нильссон, В.А. Плулгяна, К. Селла Борнето, А. Ченки и Л. Экберг, в разное время принимавших участие в обсуждении основных положений данной работы.

¹ Более того, как полагают некоторые исследователи (прежде всего, сторонники так называемой локалистской гипотезы, ср. обзор в [Cienki 1996]), с течением времени в языке другие типы состояний (прежде всего, эмоциональные) "заимствуют" средства выражения у локативных состояний (ср. здесь русск. *Он в комнате – Он в гневе*); в таких случаях область действия универсального предиката может оказаться еще шире.

² Интересно, что в некоторых америндских языках так устроена не одна семантическая группа, а практически вся глагольная лексика. При этом поведение глаголов (в том числе и в отношении классов имен, которые они выделяют) оказывается близко к поведению так называемых классификаторов – обязательных "спутников" имени в счетных и нек. др. конструкциях, задающих (семантический) класс объекта (подробнее см. обзор в [Плулгян, Романова 1990]).

локативных предикатов русского языка: *стоять, сидеть, лежать*. В русском языке эти глаголы описывают прежде всего три разных положения человека в пространстве: вертикальное – *стоять*, горизонтальное – *лежать* и в некотором смысле промежуточные положения человека, которые условно можно назвать "сложенными" – *сидеть* (ср. разные положения человека, описываемые этим последним глаголом: *сидеть на стуле, сидеть верхом, сидеть на полу, сидеть на корточках, сидеть по-турецки*). Эти же глаголы в русском языке применимы к описанию животных; как и следовало ожидать, положения животных при этом уподобляются положениям человека. Так, по-русски говорят *собака лежит на коврике, конь стоит в стойле, лягушка сидит на дорожке* и под.

Конечно, совсем не все животные могут, как человек, менять свое положение в пространстве, поэтому если к существительному *собака* могут быть применены все три предиката – *собака стоит/лежит/сидит*, то, например, живая лягушка описывается только одним способом, ср.: **лягушка стоит/лежит*. В подобных случаях можно было бы считать, что таким образом устанавливается некая классификация животных – по их форме и обычным положениям в пространстве, – иначе говоря, по их *топологии*³ и что эта классификация в дальнейшем будет переноситься и на неодушевленные объекты. А именно: выделяются, с одной стороны, вытянутые вверх, вертикально ориентированные объекты – к ним применим предикат *стоять* (ср. *шкаф, дерево, стена, фонарь* и под.) и, с другой стороны, плоские, горизонтально ориентированные объекты – их описывает предикат *лежать* (ср. *коврик, поваленное дерево, доска, снег под ногами* и др.). Отсюда естественно было бы сделать следующий вывод: если центральными, "прототипическими" употреблениями для *стоять, лежать* и *сидеть* являются те, что описывают человека, то расширение центра происходит за счет сходной с человеком топологии других объектов (ср. описание похожих механизмов в [Hawkins 1988]).

Надо сказать, что такая точка зрения представлена в лингвистической литературе, причем самого недавнего времени: см. [Seria Borneto 1996] (правда, в этой статье идет речь не о русских, а о немецких глаголах *stehen* 'стоять' и *liegen* 'лежать'; аналогичная "пространственная" интерпретация русского материала предлагается в [Кравченко 1996]). Стержнем, основной теоретической идеей в этом случае оказывается "сплошная" метафоризация противопоставления вертикальности и горизонтальности, которая должна охватывать абсолютно все случаи употребления позиционных предикатов, несмотря на то, что многие из них отстоят от прототипа достаточно далеко. Ср., например, *деньги лежат* (а в немецком языке – *стоят*) *на счете в банке*; в таком случае этой ситуации тоже навязывается метафора горизонтальности (или вертикальности) счета. Кроме того, в стороне оказывается предикат *сидеть*, сразу нарушающий дихотомию вертикальность/горизонтальность; в статье Серра Борнето предикат с таким значением не рассматривается.

В настоящей работе мы предлагаем принципиально другой подход к описанию позиционных предикатов, прямо не связанный с их зрительным прототипом, но при этом, с нашей точки зрения, вернее предсказывающий сочетаемостное поведение различных представителей этой семантической группы глаголов.

3. ЗА ПРЕДЕЛАМИ ТОПОЛОГИИ

Прежде всего, обратим внимание на то, что есть достаточно много примеров, выходящих за рамки топологического объяснения, ср.:

В конце предложения стоит точка

На столе лежат помидоры

Пробка крепко сидит в бутылке

Пыль стоит столбом

³ О роли "лингвистической топологии" в описании наивной картины мира см. прежде всего [Talmy 1983].

Пирог сидит в печке

Передо мной лежит пропасть, и др.

Очевидно, что топологические свойства данных объектов таковы, что сами эти объекты не укладываются в классификацию, о которой мы только что говорили: точка не является вертикальным объектом, пропасть – горизонтальным, пирог – "сложным" и т.п. Очевидно и то, что если, говоря о человеке, мы имеем в виду три его *разных*, противопоставленных друг другу положения, то в этих примерах речь идет, в сущности, об *одном и том же* (а именно, *неподвижном*) положении в пространстве, и тем не менее, в одних примерах используется глагол *стоять*, в других – *лежать*, в третьих – *сидеть*, причем без возможности заменить одно на другое.

Как представляется, эти примеры свидетельствуют о том, что расширение значения глаголов происходит не только за счет (топологических) типов *объектов*, но и за счет типов *ситуаций*, т.е. семантики самих глаголов. Если наша гипотеза верна, значит в семантике *стоять*, *сидеть*, *лежать* есть некоторые нелокативные компоненты (не замеченные нами раньше), дополнительно характеризующие положение в пространстве, в том числе и человека. Эти компоненты значимы для глаголов во всех их употреблениях, хотя в "центральных", прототипических контекстах они не имеют большого семантического веса. Между тем, большинство локативных ситуаций с неодушевленными объектами различается в русском языке именно благодаря этим дополнительным нелокативным компонентам в семантике позиционных глаголов.

4. СТОЯТЬ И ЛЕЖАТЬ:

ОСНОВНОЕ ПРАВИЛО СЕМАНТИЧЕСКОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ

Рассмотрим подробнее пару *стоять* и *лежать*. Отметим прежде всего, что среди употреблений *стоять* есть зона, не связанная с "конкурентными" употреблениями глаголов местонахождения: *стоять* используется для описания окказиональных неподвижных состояний постоянно движущихся объектов, ср.: *поезд стоит две минуты*, *часы стоят*, *завод/мельница стоит* (в значении 'не работает'), *в городе стоит* ('остановился, не перемещается') *кавалерийский полк* и под. Ни глагол *лежать*, ни глагол *сидеть* не описывают подобных ситуаций, поэтому постоянно движущиеся объекты представляют для нас в данном случае меньший интерес и в дальнейшем игнорируются.

Предметом нашего внимания в первую очередь будут те неподвижные объекты, которые можно было бы назвать "невертикальными", в силу чего они не могут быть уподоблены стоящему человеку. Мы говорим: *посуда стоит на столе*, имея в виду не только стаканы и кастрюли, но и тарелки и сковородки, – объекты абсолютно плоские. Мы говорим: *обувь стоит под вешалкой*, имея в виду не только сапоги и ботинки, но и туфли и тапочки, т.е. тоже более или менее "горизонтальные" объекты. Можно было бы предположить, что здесь важна ориентация верх/низ, и что она в каком-то смысле заменяет вертикальность (эта гипотеза обсуждается и в [Setta Voronov 1996]). В таком случае, интерес представляют объекты с невыраженной пространственной ориентацией (такие как, например, *ящик*, *коробка* и под.): они имеют нефиксированные размеры и форму, т.е. могут быть и высокими, и плоскими; нет у них и раз и навсегда определенного верха и низа. Оказывается (это подтверждают, в том числе и опросы информантов), что предметы такого рода, находящиеся в одном и том же положении, могут описываться как глаголом *стоять*, так и глаголом *лежать*. Тоже относится к "бесформенному" и "безразмерному" имени *вещь*: в одной и той же ситуации можно в подавляющем большинстве случаев сказать и *вещи стоят*, и *вещи лежат*⁴. С другой стороны, о более или менее круглых

⁴ Более абстрактное имя *предмет* употребляется в локативных конструкциях реже, ср.: *в углу стояли вещи/предметы, на столе лежало много интересных вещей/предметов*, обычно в таких случаях требуется по крайней мере неопределенное местоимение: *в углу стоял какой-то предмет, на столе лежали какие-то (непонятные) предметы*, и т.п. Еще более абстрактное имя *объект* в локативных конструкциях вообще не встречается.

предметах, таких как *мяч* или *камень*, *помидор*, *яйцо* и под. в русском языке говорят только *лежит*. Но даже если считать, что у них нет выраженной вертикальной оси (см. [Serra Borneto 1996]), нельзя признать у них и существования горизонтальной оси. Тогда почему в русском языке (как и в немецком) в таких случаях употребляется предикат *лежать*? Что заставляет говорящего выбирать то или иное решение?

Нам представляется, что когда говорящий использует глагол *стоять*, он обращает внимание на *функциональность* объекта, и наоборот, в тех случаях, когда используется глагол *лежать*, объект как бы отделен от своей функции. *Стоят*: мебель, лес, корабль в бухте; *лежат*: – зонтик в шкафу, булавки в коробке, лекарства в ящике, лопаты в сарае и под. Следовательно, для *стоять* важна такая ориентация объекта в пространстве, которая соответствует его *функции*, а для *лежать* – не просто и не обязательно горизонтальное положение объекта, а такое положение, которое бы *не* соответствовало его функции. В этом отношении идея "правильной" и "неправильной" ориентации в пространстве типа "верх-низ" является очевидным следствием нашего функционального правила: "правильная" ориентация объекта обычно связана с тем его положением в пространстве, в котором он функционирует, в данном случае, используется человеком. Наоборот, "неправильная", неестественная его ориентация в пространстве обычно возникает тогда, когда он находится в "нерабочем" состоянии. С другой стороны, все-таки та или иная ориентация объекта обязательно оправдана функционально, и тогда в качестве условия выбора между *стоять* и *лежать* функциональность оказывается сильнее топологии.

В самом деле, про все, что в шкафу, в сарае, на полке, на свалке – отложено, сложено до лучших времен или выброшено за ненадобностью, – про все это мы говорим *ЛЕЖИТ*. Однако в действительности это не значит, что описываемые объекты непременно сохраняют горизонтальное положение или что ориентация "верх-низ" у них обязательно нарушена. Когда говорят: *Зимой все велосипеды всегда лежат у нас в сарае*, это значит, что они находятся в сарае, но при этом могут стоять, например, прислоненные к стене. Когда говорят: *Наш старый холодильник давно лежит на свалке* это значит, что он находится на свалке, но не обязательно валяется на боку – он может сохранять свое обычное положение, просто он уже не нужен, больше не используется. Более того, про некоторые предметы мы точно знаем, что они именно *СТОЯТ* (т.е. расположены с соблюдением ориентации верх-низ) – например, посуда в шкафу, и тем не менее, по-русски можно сказать также: *Вся новая посуда лежит в буфете* или: *Где у вас лежат тарелки?* Ср. также: *В правом шкафу у нас лежат книги, а в левом – пластинки*. (Пластинки и книги, скорее всего, конечно *СТОЯТ* в шкафу, но у говорящего есть возможность употребить и глагол *лежать*). Наоборот, если взять такой достаточно "горизонтальный" предмет, как мыльница, то окажется, что предложение с глаголом *стоит* (*моя мыльница стоит на полочке*), вполне допустимо, так как оно описывает функционально значимое положение объекта – ср. *мыльница лежит* стоит в чемодане*.

Бесспорно, данный нелокативный – функциональный – компонент значения возникает именно потому, что в языковой картине мира (по крайней мере для русского языка) существует представление, что стоя человек работает, движется, живет, а лежа – отдыхает, спит, болеет, умирает, и, таким образом, топология все равно оказывается исходной, а картина употреблений *стоять* и *лежать* – целиком антропоцентричной, т.е. ориентированной на человека. Однако синхронно, на наш взгляд, семантической доминантой для *стоять* и *лежать* является скорее не локативная, а функциональная составляющая. Именно она объединяет существующие употребления *стоять* и *лежать* и втягивает в их орбиту новые контексты.

5. НЕКОТОРЫЕ ПРИМЕРЫ

В подтверждение высказанной гипотезы рассмотрим следующие примеры⁵.

И лодка, и в особенности плот представляют собой горизонтально ориентированные предметы; однако, если по-русски говорят *плоты* или *лодки лежат*, это значит, что они сложены *на берегу*. Про находящиеся в воде лодку или плот скажут *стоит*, ср.

Лодки / плоты стоят у причала;

Брошенные спасателями лодки стояли посредине реки у остова потонувшего судна.

Это довольно существенный довод против чисто топологической интерпретации *стоять* и *лежать*. Дело в том, что ни размеры, ни ориентация объекта здесь не меняются: про *один и тот же* объект в процессе его функционирования скажут *стоит*, а вне его – *лежит*, причем здесь, в отличие от ситуации с ящиками или коробками никакого произвола говорящего нет, так как эти употребления жестко закреплены в языке, ср.:

?? *Лодка стояла на берегу;*

* *Брошенные спасателями лодки лежали посредине реки.*

Совершенно также ведет себя существительное *крышка*: про крышку, которой закрыта кастрюля, никогда не скажут *лежит*: сочетание *крышка лежит* описывает только нефункциональное положение крышки (например, на столе, отдельно от кастрюли, в перевернутом положении).

Рельсы железнодорожного полотна тоже расположены горизонтально, тем не менее предложение *прямо перед паровозом лежали (новенькие) рельсы* мы интерпретируем не так, что оно соответствует ситуации, когда на этих рельсах стоит поезд и собирается по ним ехать (функциональная интерпретация: рельсы в рабочем состоянии), а, скорее, как то, что рельсы по какой-то причине были свалены перед паровозом, преграждая ему путь (нефункциональная интерпретация).

Следующая группа примеров касается глагола *лежать* в применении к живым существам. Большинство животных, как мы уже говорили, в языке уподоблено человеку, и их положения в пространстве как бы приравниваются к положению человека. Но насекомые, птицы и некоторые мелкие животные оказываются не похожи на человека: наиболее характерное их положение в покое описывается глаголом *сидеть*, а не *стоять* (см. об этом подробнее ниже), ср. *ласточка сидит на ветке; пчела/жук/бабочка сидит на подоконнике*. Ср. также предложение *на листе сидела гусеница*, возможное несмотря на то, что гусеница вытянута на листе горизонтально. Как видим, глагол *лежать* не применим к описанию *живых* насекомых, птиц и проч., независимо от того, к какому топологическому типу они относятся⁶. Сочетания же *жук/гусеница/червяк лежит* описывают умершие существа (и, тем самым, вкладываются в зону употреблений *лежать*).

Любопытный случай – сочетательные свойства слова *пластырь*. Вообще говоря, пластырь представляет собой яркий пример плоского горизонтального объекта, идеально подходящего по своим топологическим свойствам для глагола *лежать*, и тем не менее, ситуация, в которой пластырь "работает", т.е. приклеен, закрывает рану на коже, именно в силу своей функциональности, никогда не может быть описана как: *(у него на руке) *лежит пластырь*.

Обратим внимание, что последние примеры образуют весьма своеобразную группу языковых объектов: для них не существует способа описать их положение в прост-

⁵ Наши примеры получены в результате работы с базой данных "Лексикограф. Предметные имена" (см. [Красильщик, Рахилина 1992]; о проекте "Лексикограф" см. также [Кустова и др. 1993]).

⁶ Некоторые информанты указывают на возможность употребления *лежать* для описания неподвижных змеи, черепахи или крокодила. Интересно, что в тех же случаях часто возможно и употребление глагола *сидеть*, ср.: *На песке лежал / сидел крокодил и смотрел на нее грустными глазами.*

ранстве, когда они находятся в "рабочем" состоянии. Действительно, все эти объекты слишком горизонтальны, чтобы к ним можно было применить предикат *стоять*, и слишком "активны", чтобы к ним был применим предикат *лежать*.

И словари, и грамматики отмечают в качестве характерных употребления *лежать* для описания видимых нами как бы с высоты больших неподвижных объектов, в каком-то смысле "пространств". *ЛЕЖИТ: море, степь, равнина, пропасть, ущелье, горы* (NB!); *город, крепость, развалины* и др. Однако и про горы, и про город, и про крепость, и даже про развалины (т.е. про все сколько-нибудь возвышающиеся объекты) можно сказать и *СТОИТ*, если сделать акцент на их существовании/функционировании. Когда говорят *Перед нами стояли развалины крепости* (при возможном ...*лежали*...), это значит, что хотят подчеркнуть, что крепость еще в каком-то смысле функционирует – например, воспринимается в качестве препятствия на пути. Последнее осмысление встречается, пожалуй, наиболее часто, ср., например, *Перед нами стоял бушующий океан* и мн. др. Отметим здесь, что в отличие от множественного *горы* единственное число *гора* в русском языке не концептуализуется как "пространство".

С другой стороны, все, что предназначено для использования, скорее описывается глаголом *стоять*. Обратим внимание на некоторые интересные случаи.

О цветах говорят, что они *стоят*, не тогда, когда они растут, а тогда, когда они поставлены в вазу. Ср., однако, *деревья стоят/лес стоит* (о растущих деревьях).

Вещества тоже могут описываться глаголами *стоять* и *лежать*: так, соль, сахар, мука *стоят* на столе, упакованные в пачки или пакеты (происходит метонимический перенос *пакет стоит* → *соль/сахар стоит*; такой же перенос возможен и для глагола *лежать*). Однако насыпанные горкой соль или сахар не описываются ни глаголом *стоять*, ни глаголом *лежать*. Выражение *вода стоит* подразумевает, что вода представляется действующим лицом, способным двигаться – опускаться, подниматься, уходить, ср.: *Вода ушла из колодца, Вода стоит высоко, В канаве стоит вода, но ? В стакане / в море стоит вода, и под*.

Пыль *лежит* на столе и *стоит* в воздухе: в последнем случае она "работает" – "пылит". Точно так же объясняются сочетания *стоит дым* (*пар, чад, запах*), а также *мороз, жар, тишина, скука, холод, крик, выбор, вопрос, задача, проблема*, и даже *полдень / март*; ср. также *Ее лицо стояло в памяти / передо мной; стоит костью / как кость в горле*.

Точка (и другие знаки препинания), печать и подпись *стоят* – тоже в функциональном смысле⁷.

Тени, будучи отброшены, разумеется, *лежат* (*на стенах, на полу* и даже *на потолке*). При этом ни луна, ни солнце, ни звезды, конечно, не лежат, а исключительно *стоят* на/в небе: именно в этот момент они максимально освещают Землю.

О деньгах всегда говорят *лежат*: в банке, на книжке, в кошельке, в кассе, в тумбочке. В русском языке нет представления об их рабочем состоянии (можно, правда, упомянуть такие глаголы, как *обращаться* и особенно распространившееся в последнее время *крутиться*).

Предложение *Рукопись лежит в редакции* означает, что по каким-то причинам ей нет ходу, она не печатается. Аналогично интерпретируется и сочетание *лежать под сукном*.

⁷ Особое употребление представлено в: *Печать усталости лежала на ее лице*. Оно описывает неконтролируемое состояние человека, которое он может не проявлять и в отдельных случаях даже не ощущать, ср.: *Она весело болтала с нами, живо реагировала на все происходящее, но на лице ее лежала печать усталости и глаза ее не смеялись*. Ср. здесь осознанное и в каком-то смысле контролируемое состояние, описываемое как: *Тревога стояла в ее глазах* = *Ей было тревожно; ее глаза передавали тревогу*.

Как мы уже говорили, функциональная составляющая *стоять* и нефункциональная *лежать* имеется и в тех сочетаниях, когда эти глаголы характеризуют имена лиц; во многих случаях эти составляющие трудно разглядеть, но в сочетаниях типа *стоять в обороне* (= 'обороняться' / *на посту, стоять на своем, стоять насмерть*, и наоборот, *лежать на боку / в обмороке / без чувств / без памяти* они, как представляется, достаточно очевидны.

ЗАМЕЧАНИЕ. В русском языке *стоять* не описывает положение частей, пусть и вертикальное, если они концептуализуются именно как части, а не как отдельные объекты, ср. ?*посреди палубы стоит мачта; *на башне стоял высокий шпиль; *верхняя ветка / макушка дерева стояла на высоте трех метров* и т.п.; ср. однако возможное: *посреди участка уже стоял фундамент* (фундамент представляется как самостоятельный объект) или: *обе его ноги стояли на верхней ступеньке* (ноги видятся как бы отдельно от человека). Стандартным средством описания "выпирающей", в том числе и вверх, части объекта, является глагол *торчать*. Конечно, есть случаи, когда одна и та же картина может быть описана и с помощью *стоять*, и с помощью *торчать*, ср.: *прямо посреди фабричного двора стояла / торчала невыразимо ржавая труба*. В первом случае мы думаем об этой трубе как об отдельном, независимом предмете определенной конфигурации, соответствующей его предназначению, а во втором – как о части двора, нарушающей, так сказать, его "ровность".

6. СЕМАНТИЧЕСКАЯ ДОМИНАНТА ГЛАГОЛА *СИДЕТЬ*

Перейдем теперь к рассмотрению глагола *сидеть*. Мы уже говорили, что *сидеть* применимо к птицам и насекомым: бабочка, муха, паук *сидят* – в том случае, если они неподвижны и опираются на свои конечности. Такое языковое поведение отличает соответствующие лексемы от имен животных, которые, как мы знаем, обычно уподобляются человеку и различают разные положения в пространстве. Однако в русском языке так ведут себя далеко не все животные. Например, про мышшь или крысу никогда не скажут *стоит*: *Посреди комнаты сидела*стояла мышшь*. Про белку тоже не говорят *стоит*, даже если она и замерла, "стоя" на четырех лапах. Крыса, мышшь, белка, еж, хомяк, бурундук – все это "быстрые", с точки зрения носителя языка, постоянно движущиеся, звери (так же, как насекомые и птицы) – они редко бывают неподвижны, и в этот момент они как бы замирают, застывают. Вот это **фиксированное** положение и характерно для семантики *сидеть*.

Действительно, *гвоздь в стене, топор на топорнице, пробка в бутылке, луковичка/репка в земле, хорошо пригнанная одежда, пирог в печи* представляют собой примеры **фиксированного, неизменно неподвижного** состояния и описываются глаголом *сидеть*. Эта же составляющая *сидеть* определяет интерпретацию следующих примеров:

Сосед-помещик сидит в деревне

Целый месяц сижу дома: ни в театр, ни на концерт

На работу она не ходит: сидит с ребенком

Два дня сидим без хлеба: лень выйти

Не сиди без дела, займись чем-нибудь

Нельзя слишком долго сидеть на диете / на одних фруктах

Данные сочетания имеют в качестве субъектов людей, однако ни одно из них не предполагает буквально их "сидячего" положения. Речь идет только о неизменности того положения, которое описывается: так, помещик долго не выезжает за пределы деревни, т.е. все время находится в деревне; в доме нет хлеба, и он почему-то не

покупается, так что состояние "быть без хлеба" сохраняется два дня; человек ограничивает свое питание (например, фруктами), т.е. добровольно не ест ничего другого, и это состояние не меняется и т.д.⁸. Такого рода неизменность состояния может, конечно, быть и вынужденной, ср.: *сидеть в тюрьме, под арестом, в осаде*. Семантический компонент неизменности позволяет объяснить и "дальнюю периферию" *сидеть*: *сидеть на бобах, сидеть в четырех стенах, сидеть как именинник, сидеть (гвоздем) в голове, сидеть в девках*. Еще одно интересное сочетание – *глаза сидят на лице*. Обычно это говорят в том случае, когда глаза *глубоко сидят*, и поэтому как бы более фиксированы.

Интересно, что, в отличие от *стоять* и *лежать*, *сидеть* обязательно требует указания на местонахождение субъекта. На наш взгляд, этот синтаксический факт вписывается в представленную выше семантическую картину позиционных предикатов: фиксированность *где-то*, в рамках определенного пространства или ситуации для *сидеть* vs. функциональность (вообще говоря, нелокализованная) для *стоять* и полная нефункциональность для *лежать*.

7. ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Возвращаясь к поставленному в начале работы вопросу о том, является ли русский язык в отношении своих позиционных предикатов классифицирующим или универсальным, обратим внимание на то, что ответить на него, вообще говоря, нельзя – потому что в русском языке настоящих позиционных предикатов, как оказывается, нет. Более того, уже самые предварительные результаты лексико-типологической анкеты показывают, что основные семантические доминанты рассмотренных глаголов в принципе могут, хотя бы частично, сохраняться или воспроизводиться в других языках. Заслуживает внимания и идея о связи функциональности не только с "вертикальным" стативом, но и с вертикальным измерением вообще, обсуждающаяся в [Ekberg 1995]. Лексико-типологическому аспекту описания мы надеемся посвятить отдельное исследование.

8. ПОСЛЕ ПОСЛЕСЛОВИЯ: ГЛАГОЛ *ВИСЕТЬ*

Глагол *висеть* не входит в тройку *стоять-сидеть-лежать*, потому что не взаимозаменяем с ними – он имеет в русском языке свою "семантическую нишу", описывая особого рода состояние объекта: 'держаться на чем-либо, без опоры снизу, быть прикреплённым к чему-либо, имея возможность движения в стороны' [МАС]. Вместе с тем, он тоже описывает местоположение объекта, как бы замыкая эту группу основных русских позиционных глаголов, и поэтому безусловно имеет право быть рассмотренным наряду со *стоять*, *лежать* и *сидеть*⁹. Самое интересное однако в том, что и глагол *висеть* не является в русском языке в чистом виде глаголом местоположения. Доказательству этого мы и посвятим последний раздел нашей статьи.

Как кажется, зона 'висеть' в русском языке легко распадается на три группы ситуаций: во-первых, ситуации, если так можно сказать, "законного висения" – когда

⁸ Нам кажется, что и в тех случаях, когда реальное "сидение" все же имеет место (ср., например, *сидеть за уроками/чертежами/диссертацией/работой*) семантический компонент неизменности, фиксированности состояния также реализуются, ср.: *целый день сидел за уроками, десять лет просидел над диссертацией*. Характерны в этом плане и русские "серийные" синтаксические конструкции (на которые наше внимание обратил Даниэль Вайс, ср. также [Так 1988: 153]) со значением прогрессива (т.е. актуальной деятельности, заполняющей некоторый сплошной неограниченный промежуток времени), ср. *сидит пишет, стоит курит, лежит читает*. Представляется, что степень грамматикализации *сидеть* в этих контекстах наибольшая, ср., с одной стороны *стоит думает* (обязательно стоят) и, с другой стороны, *сидит думает* (вообще говоря, не обязательно сидит, но обязательно 'непрерывно').

⁹ Идеей добавить к *стоять*, *лежать* и *сидеть* еще и *висеть* мы обязаны Ю.Д. Апресяну.

объект имеет специальное приспособление, чтобы держаться без опоры, будучи прикрепленным к чему-то. Так висят корзины и ведра (на ручках), лампы (на шнурах), качели, люльки, ружья, одежда (на крючке или вешалке), веревка, занавеска, а также зеркало, книжная полка, объявление, таблица, афиша (на гвоздиках, кнопках...) и т.п.

Вторую группу образуют ситуации, при описании которых оказывается, что *висеть* для данного объекта почему-то плохо: плохо, когда *одежда висит на человеке*, или когда *пуговица висит на пальто*, а также когда *парус или флаг висит на мачте/древке*. Что-то неправильное есть и в том, что *на собаке шерсть висит клочьями* или у кого-то *в углу рта висит папироса*; даже когда *провода висят* – происходит что-то неладное (например, обрыв связи). Однако во всех этих случаях *денотативно* ничего особенного с точки зрения канонической ситуации 'висения' не происходит: действительно, чем, собственно, отличается 'висеть на вешалке' от 'быть надетым на человека' применительно, скажем, к пиджаку? С точки зрения пиджака это, наверное, все равно. А вот с языковой точки зрения это совершенно разные вещи, иначе бы мы не говорили *пиджак висит на нем, как на вешалке*, имея в виду, что пиджак должен, видимо, делать что-то другое. Что же? Пока не ясно.

Третью группу составляют ситуации, которые, вопреки всем нашим ожиданиям (основанным на представлении о *висеть* как о глаголе местоположения в пространстве – примерно том, что зафиксировано в МАС) вовсе не допускают описания с помощью глагола *висеть*. Так, по-русски не говорят:

* *На ней висели бусы.*

хотя говорят:

На елке висели игрушки.

Не говорят даже и:

* *На ней висели серьги?? у нее в ушах висели серьги*, при том, что совершенно допустимо:

В носу у вождя людоедов висело огромное золотое кольцо.

Или:

Шляпа его была насквозь мокрая, а на длинном носу висела большая дождевая капля.

Плохо сказать *висеть* и применительно к "висящим" орденам и медалям:

?? *А на груди его висела медаль за город Будапешт.*

Нельзя описать с помощью глагола *висеть* и бутоны цветов на стеблях, даже очень крупные:

* *На стеблях висели огромные бутоны роз.*

(несколько лучше, может быть, дело обстоит с (крупными) фруктами:

? *на всех деревьях уже висели яблоки и груши/кокосы* вишни* орехи).*

И уж совсем невозможно:

* *На самом крупном быке висело ядро.*

Висит не говорят и про маятник остановившихся часов, и про гитару левца (* *На Высоцком всегда висела гитара*), и про очки на носу.

В том же ряду можно привести и следующий пример (принадлежащий Ю.Д. Апресяну): по-русски нельзя сказать * *Обои висят на стене*. Поместим вместо куска обоев белый лист – уже лучше, но идеально с *висеть* будет почему-то согласовываться ситуация, когда на этой бумаге что-то изображено – например, таблица Менделеева; предложение *На стене висит таблица Менделеева* совершенно безупречно (в отличие от предыдущего, которое, однако, с "топологической" точки зрения описывает абсолютно аналогичную ситуацию).

Итак, во всех этих примерах объект 'висит' не хуже, чем в других случаях, представленных, например, в первой группе. Кроме того, практически для каждой из этих ситуаций есть близкая, где *висеть* абсолютно уместно. В чем же здесь загадка?

Наша гипотеза сводится к тому, что толкование МАС верно, но неполно – оно "упускает" некоторый компонент, который в определенных случаях оказывается необходимым для порождения предложений с *висеть*.

В канонических примерах первой группы объект, который держится на весу без опоры, тем самым *независим* от других объектов – коллизии, следовательно, возникают в тех случаях, когда этот объект, с одной стороны, находится в положении в пространстве, удовлетворяющем всем критериям 'висеть', а с другой стороны, по самой своей природе (с точки зрения языка) связан с какими-то другими объектами, т.е. *не независим*.

Простой случай языковой связи объектов – отношение часть/целое: например, маятник часов, дверь в дверной коробке (коробка, конечно, с точки зрения языка – часть двери), древко и полотнище флага (флаг), бутоны цветов и др. В этом случае либо *висеть* невозможно (третья группа примеров, ср., например, маятник, бутон), либо оно возможно, но тогда описывает *нарушенную связь части с целым*, отсюда компонент отрицательной оценки во второй группе примеров (ср. *флаг висел на древке, дверь висела в проеме* 'плохо пригнана – видимо, плохо закрывается'; ср. здесь также: *шерсть висит клоачьями, волосы висят* – обычно – *какими-то* прядями, т.е. как чулки; ср. еще: *руки висят как плети* – т.е. как посторонние, независимые от человека предметы).

Сложный случай языковой связи объектов описан нами в статье [Воронцова, Рахилина 1994], где речь шла о том, что помимо частей/целых и отдельно существующих друг от друга объектов есть еще один, в каком-то смысле промежуточный класс отношений – отношение между объектом и его *дополнителем*. Отношение дополнительности связывает чашку и блюдце, нитку и иголку, наволочку и подушку, ключ и замок, крышку и кастрюлю и мн. др., а также человека и его одежду, украшения, такие "мелочи" как очки, часы, трубка и проч. – т.е. такие объекты, которые сосуществуют друг с другом, совместно функционируют, но ни один из них при этом не является частью другого.

В [Воронцова, Рахилина 1994] было показано, что русский язык выделяет подобные не-части-и-не-целые специальными средствами: так, в отличие от частей/целых, они не вступают в генитивную конструкцию (ср.: *блюдце чашки, ключ замка* и др.), но зато обычно допускают конструкцию с *от* (ср. *блюдце от чашки, ключ от замка* и под.). Кроме того, для них характерна нестандартная интерпретация локативных конструкций с предлогом *на* или *в*, а также комитативной конструкции с предлогом *с*. Примерами могут служить такие сочетания, как *наволочка на подушке* (не в значении 'находиться сверху', а в значении 'быть надетой на') или *замок на двери* – опять-таки, не 'находящийся на поверхности', а 'прикрепленный совершенно определенным способом'. Комитативные сочетания с дополнителями типа *человек с трубкой/с орденом* также интерпретируются иначе, чем стандартное *человек с газетой*, т.е. не так, что 'человек держит трубку/орден в руке', а что 'курит трубку' / 'носит орден'; аналогично, *чашка с блюдцем* или *ваза с цветами* интерпретируются не обычным образом, т.е. не так, что 'чашка находится рядом с блюдцем' или 'ваза находится рядом с цветами', как это естественно для стандартных сочетаний типа *ручка с карандашом, вилка с ложкой, книжка с тетрадкой* и мн. др., а как 'чашка стоит на блюдце', 'цветы стоят в вазе'.

Абсолютно гомотенного класса – с лингвистической точки зрения – дополнители не образуют, потому что они "нарушают правила поведения" в разных конструкциях (ср. предметы одежды – они ведут себя канонически в конструкции с предлогом *с*: *мальчик с кепкой* значит 'тот, который держит кепку в руке', но зато имеют особую конструкцию с предлогом *в*: ср. *женщина в галстуке, бабушка в галошах*). Кроме того, "нарушает правило" каждый дополнитель по-своему, так что предсказать семантическую интерпретацию нестандартной конструкции каким-то единым образом нельзя. Общим их лингвистическим свойством является, скорее, сама нестандартность

поведения в паре – причем эта нестандартность в принципе хорошо объяснима. Действительно, если два эти объекта определенным образом связаны функционально, они, в частности, имеют устойчивое расположение друг относительно друга – так сказать, "взаимную топологию", поэтому предложные конструкции – прежде всего локативные и комитативные – отражают именно это их наиболее естественное взаимоположение, а оно, конечно, для каждой пары задается конкретной ситуацией взаимодействия, и поэтому индивидуально.

В [Воронцова, Рахилина 1994] уже было отмечено, что эта индивидуальность поведения сближает дополнители с частями, в том числе и лингвистически: ведь у частей /целых тоже индивидуальная "взаимная топология" и они тоже ведут себя нестандартно в локативных и комитативных конструкциях (ср. здесь такие сочетания, как *ручка на чашке почему-то другого цвета*; *шнур на лампе перекрутился* [не 'на поверхности']; *чайник с носиком или без?* [не 'рядом'] и мн. др.). Случай с *висеть* – еще один пример такого сближения. Объект и его дополнитель – так же, как и часть с целым – тоже оказываются *связанными* друг с другом, и в контексте этого глагола ведут себя аналогично: либо запрещают такого рода сочетания, либо подчеркивают ущербность ситуации. Например, * *ярмо висит на быке* – невозможно, так же как * *ордена висят* или * *гитара висит*, а *одежда на нем висит* подчеркивает своего рода "отделенность" человека от его одежды (ср. *как на вешалке* – т.е. как на постороннем, не связанном с одеждой отношением дополнительности, объекте). Точно также всдут себя сочетания *папироза висела в углу рта* ("неправильная" ситуация: папиросу не курят, она посторонний объект), *паруса/провода висели на мачтах/столбах* – только в "нерабочем" состоянии и др.

Разумеется, пример *на елке висят игрушки* допустим в русском – потому что елка и игрушки – разные, независимые, друг от друга объекты. Другое дело – украшения человека, находящиеся с ним в отношении дополнительности. В самом деле: игрушки на елку можно вешать как угодно, каждый раз выбирая новое пространственное соотношение, но бусы нельзя повесить на руку, а браслет – на шею (а если такая нестандартная ситуация случится, ее как раз и можно будет описать с помощью предиката *висеть*: *у нее на ухе почему-то висел мой браслет*). Употребить здесь *висеть* – значит разорвать привычную связь между объектом и его дополнителем. Именно это происходит в приведенном выше примере с вождем людоедов, где глагол *висеть* подчеркивает кольцо скорее как неуместный посторонний предмет в носу, нежели как украшение (ср. также пример с каплей дождя, которая является посторонним предметом и по самой своей природе).

Рассмотрим теперь пример Ю.Д. Апресяна в рамках нашей гипотезы. Обои, действительно, являясь дополнителем, не должны *висеть* на стене, потому что не могут считаться по отношению к ней независимым объектом. Однако лист бумаги, конечно, уже объект посторонний, и тем более, если на нем нарисована таблица Менделеева. Сказать: *таблица Менделеева висит* – пусть даже она нарисована на том же куске обоев – значит признать этот кусок бумаги (обоев) *отдельным независимым* объектом и выразить это обстоятельство языковыми средствами.

Таким образом, существенным для семантики глагола *висеть* является сильный *нелокативный* компонент его значения 'независимость объекта'¹⁰; присутствие нелокативного компонента "роднит" *висеть*, как мы показали в этой статье, с другими русскими позиционными глаголами – *сидеть*, *стоять* и *лежать*. Впрочем, как мы уже знаем, чисто позиционными – т.е. обозначающими положение в пространстве – их как раз и нельзя назвать.

¹⁰ Идея 'возможности свободного движения в стороны', угаданная МАС, является, по-видимому, следствием этой семантической составляющей (частным, но не обязательным)

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Апресян Ю.Д.* 1995 – Типы информации для поверхностно-семантического компонента модели "Смысл" ↔ "Текст" // Ю.Д. Апресян. Интегральное описание языка и системная лексикография. М., 1995.
- Воронцова М.И., Е.В. Рахилина* 1994 – Предметные имена и предложные конструкции // Знак: Сборник статей по лингвистике, семиотике и поэтике памяти А.Н. Журина. М., 1994.
- Гак В.К.* 1988 – Русский язык в сопоставлении с французским. М., 1988.
- Кравченко Н.А.* 1996 – Семантика стативных глаголов в русском языке. Дипломная работа. М., 1996.
- Красильщик И.С., Рахилина Е.В.* 1992 – Предметные имена в системе "Лексикограф" // НТИ. сер. 2. № 9. 1992.
- Кустова Г.И., Падучева Е.В. и др.* 1993 – Словарь как лексическая база данных: об экспертной системе "Лексикограф" // НТИ. сер. 2. № 11. 1993.
- Плуунян В.А., Романова О.И.* 1990 – Именная классификация: грамматический аспект // ИАН. СЛЯ. 1990. № 3.
- Cienki A.* 1996 – 19-th and 20-th century theories of case: a comparison of localist and cognitive approaches // *Historiographia linguistica*, 22, 1996.
- Ekberg L.* 1995 – The mental manipulating of the vertical axis: how to go from "up" to "out", or from "above" to "behind" // *Proceedings of the ICLC 1995*.
- Hawkins B.W.* 1988 – The natural category MEDIUM: An alternative to selection restrictions and similar constructs // B. Rudzka-Ostyn (Ed.), *Topics in cognitive linguistics*. Amsterdam, 1988.
- Serra Borneto C.* 1966 – *Liegen* and *stehen* in German: a study in horizontality and verticality // E.H. Casad (Ed.), *Cognitive linguistics in the redwoods: the expansion of a new paradigm in linguistics*. Berlin, 1996.
- Talmy L.* 1983 – How language structures space // H. Pick, L. Acredolo (Eds.), *Spatial orientation: theory, research, and application*. New York, 1983.

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

ОБЗОРЫ

© 1998 г. А.А. ЗАЛЕВСКАЯ

ПСИХОЛИНГВИСТИКА: ПУТИ, ИТОГИ, ПЕРСПЕКТИВЫ

На рубеже веков вполне естественно стремление осмыслить результаты исследований и перспективы дальнейшего развития той или иной науки. Для наук гуманитарного цикла эта задача в настоящее время совпала с так называемой “сменой парадигмы”, что еще больше побуждает к “методологической рефлексии” [Фрумкина 1996], особенно важной для сравнительно “молодых” дисциплин, к числу которых относится психолингвистика (далее – ПЛ). Ниже предлагается критический анализ публикаций, так или иначе касающихся понимания специфики развития ПЛ за 50 лет.

**1. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ
И ЕЕ “ОТРАСЛЕВАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ”**

Во многих публикациях появление ПЛ в середине нашего столетия соотносится с общей тенденцией возникновения новых наук “на стыке” тех традиционных научных подходов, которые уже не могли полностью отвечать задачам современности. Зарождающиеся науки получали названия из двух (как психолингвистика) и из трех компонентов, в чем отразилась насущность комплексного подхода к объяснению фактов, интерпретация которых не укладывалась в рамки какой-либо одной из контактирующих дисциплин. Как указывает А.А. Леонтьев, ПЛ “возникла в связи с необходимостью дать теоретическое осмысление ряду практических задач, для решения которых чисто лингвистический подход, связанный с анализом текста, а не говорящего человека, оказался недостаточным” [Леонтьев 1990: 404]; в числе таких практических задач им названы обучение родному и иностранному языкам, речевое воспитание дошкольников и вопросы логопедии, восстановление речи после мозговых травм, речевое воздействие, авиационная и космическая психология, судебная психология и криминалистика, машинный перевод и т.д. Несколько иначе видит причину возникновения ПЛ Р.М. Фрумкина [Фрумкина 1996: 57], отмечающая, что ПЛ по определению была замыслена как дисциплина, восполняющая тот недостаток науки о языке, что много лет лингвисты открыто отказывались от попыток описывать язык как психический феномен. К этому следует добавить, что недостаточным оказался и чисто психологический подход к решению подобных практических и теоретических задач, а сама постановка вопросов, поиски путей их решения и интерпретации получаемых результатов требовали обобщений на более высоких уровнях. Вместе с тем акцентирование внимания на “стыковом” характере новой науки затенило (а для многих авторов – подменило) основную цель создания ПЛ: не простое “сложение” возможностей двух контактирующих наук или эпизодическая опора на привлекаемые из смежной области знаний теоретические положения или результаты исследований, а именно разработка нового научного подхода, способного преодолеть неизбежную огра-

ниченность “узковедомственного” изучения тех или иных фактов и тем самым обеспечить новые ракурсы их видения и объяснения.

Известно, что от желаемого до действительного дистанция велика. Для достижения такой цели должны были сложиться определенные условия в общем развитии мировой науки, чтобы к настоящему времени стала несомненной необходимостью интегрирования не только лингвистики и психологии, но и ряда других наук о человеке (см. ниже). Это объясняет, почему пока что ПЛ то и дело характеризуется с позиций разной отраслевой принадлежности в зависимости от того, какая из составляющих “стыка” оказывается доминирующей. Так, некоторые авторы понимают под ПЛ “вариант” лингвистики [Сахарный 1989], квалифицируют теорию речевой деятельности как специфический ракурс теоретического языкознания [Супрун 1996] или уточняют, что ПЛ – это экспериментальная лингвистика [Prideaux 1984]. По мнению А.А. Леонтьева, напротив, ПЛ “на современном этапе ее развития органически входит в систему психологических наук” [Леонтьев 1997: 20]. Это согласуется с зарубежной трактовкой ПЛ преимущественно в качестве раздела психологии (в последние годы речь обычно идет о когнитивной психологии) или – более широко – раздела когнитивной науки в целом. Такой подход нередко находит отражение в формулировках названий учебников типа “Psychology of language”, с уточнением в предисловии, что речь идет о “принципах психолингвистики” (см. например, [Carroll 1994]). Нередко под ПЛ понимают определенное направление исследований, сопровождая этот общий термин уточнением имени основного представителя такого направления или просто подразумевая его (например, “ПЛ Осгуда”, “ПЛ Хомского”). К сожалению, так как со временем такое подразумевание утрачивается, эта специфическая трактовка начинает распространяться на ПЛ в целом. Так, в одной из публикаций ПЛ определена как “лингвистическая дисциплина, исследующая психологическую реальность лингвистических моделей и теорий” [Баранов, Добровольский (Ред.) 1996: 481], что на самом деле отображает лишь популярное в 70-е гг. толкование ПЛ с позиций идей Н. Хомского и Дж. Миллера. Довольно широко распространено также упрощенное, ошибочное понимание ПЛ как чего-то связанного с экспериментом и не требующего особой фундаментальной теоретической подготовки в области лингвистики и/или психологии. Такое заблуждение приводит к дискредитации ПЛ и заслоняет ценность подлинно научных исследований, возможных только при условии глубокого понимания закономерностей, уже установленных в названных науках (см. также [Фрумкина 1996]).

Как бы то ни было, следует признать справедливым высказывание Е.Ф. Тарасова о том, что ПЛ в настоящее время – “это собирательное название для научных теорий, ориентирующихся часто на не только несовпадающие, но иногда прямо противоположные методологические представления; психолингвистические школы и направления возникали на разной национальной и культурной основе, связаны с разными психологическими и лингвистическими школами” [Тарасов 1991: 3].

Итак, ПЛ еще предстоит обосновать и доказать свой статус самостоятельной науки (а не “довеска” лингвистики или психологии), что требует разработки фундаментальной теории высокой объяснительной силы.

2. РАЗНЫЕ ПОДХОДЫ К ПЕРИОДИЗАЦИИ РАЗВИТИЯ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ И КЛАССИФИКАЦИИ ЕЕ ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ

ПЛ как наука оформилась в начале 50-х гг. нашего века. Однако известно, что предпосылки для ее возникновения имелись задолго до этого.

Чаще всего разные авторы прослеживают корни ПЛ в трудах В. Гумбольдта и В. Вундта, а также в работах многих отечественных ученых – лингвистов, психологов, физиологов (А.А. Потебни, И.А. Бодуэна де Куртене, А.А. Шахматова, И.М. Сеченова, Н.А. Бернштейна, С.И. Бернштейна, Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, А.Р. Лурия, Н.И. Жинкина и др.; см., например, [Леонтьев 1997; Зубкова 1997; Наумова 1990; Тарасов 1987, 1991]). Так, Т.Н. Наумова отмечает, что союз языкознания и психологии длится уже свыше 100 лет. Она

анализирует психологически ориентированные синтаксические теории в отечественной лингвистике, трактуя их как закономерные звенья научной эволюции с учетом как современного им теоретического "контекста", так и сегодняшнего дня развития ПЛ. Показав роль А.А. Потебни как основоположника психологически ориентированного языкознания, Т.Н. Наумова детально обсуждает также идеи Д.Н. Овсяннико-Куликовского, Д.Н. Кудрявского, Ф.Ф. Фортунатова, А.М. Пешковского, А.А. Шахматова, С.И. Бернштейна и прослеживает их отражение и преломление в концепции речемыслительной деятельности Л.С. Выготского, стоящего у истоков отечественной психологии и психолингвистики. Т.Н. Наумова справедливо отмечает, что психологическая интерпретация языковых фактов в рамках той или иной концепции с позиций "чистой" лингвистики обычно рассматривалась в лучшем случае как "довесок" к п р а в и л ь н ы м лингвистическим идеям, а чаще – как недостаток или заблуждение автора, однако именно подобного рода "заблуждения" оказались "вполне перспективными, стимулирующими и значимыми для концепции Л.С. Выготского" [Наумова 1990: 175]. Известно, что идеи Льва Семеновича Выготского во многом определили особенности становления и дальнейшего развития ПЛ в нашей стране, а также до сих пор привлекают внимание зарубежных ученых, стимулируя разработку ими соответствующих направлений исследований (см., например, [Wertsch 1986; Sternberg 1995]).

Отмечено (см. [Blumenthal 1987]), что междисциплинарные контакты между психологией и лингвистикой устанавливались дважды: первый раз в начале века, в основном в Европе, а во второй – в середине века, в основном в США.

А. Блюменталь указывает, что в обоих случаях имел место своеобразный а с и м - м е т р и ч ы й союз дисциплин. В первые десятилетия века лингвисты обратились к психологии в поисках ответа на вопрос, как люди используют язык, пытались строить лингвистическую теорию на базе психологических понятий образа, репрезентации, памяти, внимания и т.д. Однако вследствие конфликта между противостоящими психологическими теориями лингвисты вернулись к мысли о том, что лингвистика и психология преследуют разные цели. В промежуточный период в обеих дисциплинах доминировал бихевиористский подход, и они игнорировали одна другую. В середине века, наоборот, психологи обратились к лингвистике для разработки психологии языка. С опорой на формальную лингвистическую теорию они стали писать "грамматики" пользования языком ("grammars" of language performance), описывать когнитивные процессы в терминах "субъективного лексикона", трактовать память как "пропозициональную сеть", основывающуюся на синтаксических отношениях, а также рассуждать о "языке мысли". Однако на этот раз конфликт между лингвистическими теориями привел теперь уже психологов к мысли о различии целей психологии и лингвистики¹, результатом чего стал отказ от следования лингвистическим теориям при разработке психологических теорий языка. Как полагает А. Блюменталь, история взаимоотношений между психологией и лингвистикой может трактоваться как несчастливая, поскольку периоды иллюзий и интеграции этих дисциплин сменялись периодами разочарований и размежевания. Однако, по его мнению, на это можно смотреть иначе, более оптимистично, если учитывать, что кратковременный союз психологии и лингвистики вел к изменению точек зрения в той или иной науке. Тем не менее, в действительности подлинной, или сбалансированной, интеграции психологии и лингвистики никогда не было [Blumenthal 1987: 322].

История ПЛ иначе трактуется в статье [Reber, 1987], где отмечается, что ПЛ возникла внезапно в 50–60-е гг. нашего столетия, а затем претерпела почти такой же внезапный упадок как самостоятельная наука по ряду причин, в том числе из-за растущей изоляции от психологии, предпочтения формальной теории экспериментальным результатам, ряда модификаций "стандартной лингвистической теории" (речь идет о работах Н. Хомского – АЗ), отсутствия учета функциональной направленности экспериментальной психологии. Отсюда то, что вначале выглядело как революция, обернулось просто частным реформированием, которое произошло попутно с действительно происшедшей когнитивной революцией, но независимо от нее. Следует подчеркнуть, что в этой статье полемический пафос

¹ Скорее в данном случае речь должна идти не столько о конфликте между конкурирующими лингвистическими теориями, сколько о том, что американские психологи взяли за основу именно ф о р - м а л ь н ы е теории языка, далекие от реальной картины функционирования языка в естественной ситуации

нацелен фактически против того направления в ПЛ, которое ориентировано на теорию Н. Хомского, с чьим именем в США принято ассоциировать ПЛ, распространяя тем самым специфичность данного направления на всю ПЛ. Сходная трактовка союза психологии с лингвистикой как неудачного и ведущего к разочарованию содержится в статье [McCaughey 1987], где подчеркивается, что интеграция возможна, когда хотя бы одна из вступающих в союз наук располагает стабильной зрелой теорией.

По вопросу периодизации становления и развития ПЛ нет единства мнений, при этом разными авторами используются как сходные, так и весьма различающиеся основания для сравнения и классификации тех или иных ПЛ концепций. Это можно увидеть на примере сопоставления двух работ, близких по времени их публикации: первая из них отражает широко распространенную в России точку зрения [Тарасов 1991], а вторая дает представление об одном из подходов к этому вопросу в США [Kess 1993], что позволит нам проследить факты сходства и различий в определении круга исследуемых ПЛ проблем, периодизации развития ПЛ как науки, а также особенности расстановки акцентов при выделении оснований для классификации.

К числу ведущих проблем ПЛ Е.Ф. Тарасов относит “производство и восприятие речевого высказывания вместе с проблемой речевого общения и усвоение языка ребенком” [Тарасов 1991: 3]. Признавая, что задолго до возникновения ПЛ как науки – в работах В. Гумбольдта, В. Вундта и других ученых – высказывались те или иные гипотезы и соображения относительно ставших предметом ПЛ проблем, Е.Ф. Тарасов кратко излагает историю психолингвистических школ. Им рассмотрены: а) ПЛ Ч. Осгуда, выросшая из бихевиористской психологии языка, опиравшаяся на дистрибутивную лингвистику и теорию коммуникации и ставившая задачей ПЛ изучение отношения между структурой сообщений и качествами индивидов, которые производят и принимают сообщения; б) ПЛ Дж. Миллера и Н. Хомского как определенный этап сотрудничества психологии и лингвистики, когда правила порождения предложений в трансформационной грамматике Н. Хомского, имевшей статус описательной модели языка, были приняты за функциональную модель, поддающуюся верификации в психологическом эксперименте; в) ПЛ “третьего поколения”, характеризующаяся критикой предшествующих направлений исследований, резким усилением внимания к семантике и стремлением изучать реальных говорящих в определенных контекстах при отсутствии хорошо формализованных теорий; г) теория речевой деятельности как научная парадигма (противостоящая и прежним психолингвистическим школам, и “конгломерату” частных идей третьего поколения ПЛ), развиваемая в нашей стране в качестве неотъемлемой части общей психологии и акцентирующая внимание на процессах производства и восприятия речи, на речевых операциях, на целенаправленности и мотивированности речевой активности, включенной в структуру неречевой деятельности человека в качестве числа некоторого социума. При этом Е.Ф. Тарасов подчеркивает, что понятийный аппарат каждой психолингвистической школы складывается из двух фрагментов: психологического и лингвистического, а своеобразие каждой из обсуждаемых школ выводится из соответствующих психологических теорий и/или лингвистических представлений. Заметим, что здесь прослеживается трактовка ПЛ как науки “стыкового”, а не интегративного типа².

Дж. Кесс [Kess 1993] тоже указывает на то, что ПЛ предстает как многообразие теоретических и экспериментальных подходов к различным аспектам языка и связанного с ним поведения человека, при этом выбранная в качестве исходной теоретическая модель в определенной мере предопределяет не только исследуемый аспект речевого поведения, но и постановку тех или иных вопросов и пути их решения. ПЛ – это научная дисциплина, пытающаяся разработать лингвистически и психологически

² По мнению Е.Ф. Тарасова, к стыковым (пограничным) дисциплинам можно отнести также и когнитивную психологию, и когнитивную лингвистику [Тарасов 1996: 15].

валидную теорию, которая объяснила бы природу языка и его усвоение детьми. В качестве основных исследовательских проблем ПЛ выступают понимание и продуцирование речи, усвоение родного языка ребенком.

В развитии ПЛ Дж. Кесс выделяет четыре основных периода: I – период формирования; II – лингвистический период; III – когнитивный период; IV – текущий период когнитивной науки. Для первого из названных периодов было специфично влияние идей структурализма и бихевиоризма, второй связан с доминированием трансформационной порождающей грамматики в лингвистике и в ПЛ. Когнитивный период характеризуется отказом от провозглашенной Н. Хомским идеи центральной роли грамматики и признанием взаимосвязи грамматики и семантики, а языка – с другими когнитивными и поведенческими системами, вовлеченными в процессы его усвоения и использования. Текущий период развития ПЛ отличается становлением когнитивного подхода как интердисциплинарной науки, вовлекающей ПЛ в более широкий круг исследований, связанных с установлением природы знаний, структуры ментальных репрезентаций и того, как эти знания и репрезентации используют в мыслительной деятельности типа рассуждений и принятия решений.

Для понимания предпринятого Дж. Кессом разграничения двух последних периодов необходимо разобраться в нескольких терминах с совпадающим элементом *когнитив-*, что делает их трудно различимыми и приводит к их смешению. Прежде всего следует помнить, что реакцией на бихевиоризм, отрицавший возможность изучения сознания в качестве предмета научного исследования и сводивший психику к различным формам поведения, явились *ментализм*, т.е. стремление обратиться к мыслительной сфере человека, и *когнитивизм* как специфическая точка зрения, согласно которой все ментальные процессы, в том числе восприятие, включают мышление, решение проблем (со временем эта точка зрения была подвергнута критике, см., например, [Dreyfus 1995: 73–74]) *Когнитивная психология*, поставившая своей задачей изучение природы познавательных (когнитивных) процессов, с самого начала испытала большое влияние со стороны исследований в области искусственного интеллекта. Однако складывающиеся на этой основе теории оказались недостаточными для объяснения познавательных процессов человека и их механизмов, что в дальнейшем привело к осознанию необходимости более широкого междисциплинарного подхода, квалифицируемого в качестве *когнитивной науки*, объединяющей усилия философов, психологов, лингвистов, нейрофизиологов, специалистов в области искусственного интеллекта и др. для разработки теорий большой объяснительной силы, или макротеорий (см., например, [McClelland 1995; Sternberg 1995]). Имеется и более узкая трактовка основной идеи когнитивной науки как признания того, что (в русле идей Н. Хомского) ментальные процессы представляют собой трансформации ментальных репрезентаций [Fodor 1995]. Массовый переход ученых от исследования поведения к изучению интеллекта (в том числе машинного), выявлению природы соответствующих процессов и их механизмов, принял вид “пандемии когнитивизма” (нередко с отрицательной оценкой самого понятия *когнитивизма* как очередного “перегиба палки”, связанного с завышенной оценкой роли мышления и недооценкой роли неосознаваемых процессов, эмоций и т.д.).

Дж. Кесс признает, что современные психолингвистические концепции отображают значительное теоретическое разнообразие, имеющее место как в лингвистике, так и в психологии, при этом ведутся и подлинно междисциплинарные научные изыскания. Больше чем когда бы то ни было ранее, исследователи ныне знакомятся с результатами из смежных областей, демонстрируя широту знаний и ставя проблемы, которые не могут быть ограничены рамками одной дисциплины.

Нетрудно заметить, что оба названных автора – Е.Ф. Тарасов и Дж. Кесс – высказывают сходные мнения о задачах ПЛ, акцентируя внимание на производстве и понимании речи и на овладении языком; оба они подчеркивают значимость влияния лингвистических и психологических теорий на становление психолингвистических концепций.

Что касается периодизации развития ПЛ, то первые два периода, названные Дж. Кессом, фактически совпадают с рассматриваемыми Е.Ф. Тарасовым ПЛ Осгуда и ПЛ Миллера и Хомского, хотя нельзя не заметить разницы в подходах к классификации и непоследовательности в использовании классификационных принципов. Так, Дж. Кесс подчеркивает важность факта становления и развития ПЛ в целом и ее когнитивной ориентации в частности, однако из этого ряда выпадает квалификация второго периода как "лингвистического", что подразумевает противопоставление его "психологическому" или какому-то еще периоду. В отличие от этого Е.Ф. Тарасов использует традиционное наименование двух первых периодов развития ПЛ по именам авторов центральных для этих периодов психолингвистических концепций, в то время как далее вступают в действие иные основания для классификации: сначала учитывается фактор последовательности (ПЛ "третьего поколения"), а затем используется название рассматриваемой теории. Таким образом, в одном из обсуждаемых источников наблюдается смешение двух, а в другом – трех оснований для классификации. Наибольшее расхождение между рассматриваемыми источниками связано с тем, что Е.Ф. Тарасов дает детальную характеристику теории речевой деятельности (отечественной ПЛ), в то время как Дж. Кесс полностью игнорирует существование такого направления в мировой ПЛ, но акцентирует внимание на когнитивном подходе и его интегративной направленности. К тому же теория речевой деятельности, названная Е.Ф. Тарасовым после трех периодов развития ПЛ, вовсе не выступает в качестве содержания хронологически последующего – "четвертого периода": имеется в виду, что она соотносится со всеми тремя другими периодами, сосуществуя параллельно с "ПЛ Осгуда" и т.д. и проходя свой собственный путь, особенности которого в работе Е.Ф. Тарасова не обсуждаются.

Можно привести и другие мнения относительно периодизации развития ПЛ. Так, Д. Кэрролл [Carroll, 1994] рассматривает: "раннюю психолингвистику" (Early Psycholinguistics) в Европе (от организации В. Вундтом первой психологической лаборатории в 1879 г.); период господства бихевиоризма и идеи вербального поведения в США (с 1920-х гг.); "более позднюю ПЛ" (Later Psycholinguistics) как междисциплинарную науку, начало которой было положено семинарами 1951 и 1953 гг., хотя ее фактический расцвет был, по мнению Д. Кэрролла, связан с появлением работ Н. Хомского, содержащих резкую критику бихевиоризма и противопоставление последнему идеи трансформационной порождающей грамматики (так называемая "хомскианская революция"³). Последние 15–20 лет Д. Кэрролл рассматривает как текущий период развития ПЛ (Current Directions). При этом подходе в разграничение хронологических периодов (ранний, более поздний, текущий) вклинивается определение одного из них через указание на господствовавшие тогда поведенческие теории.

Попытки дать периодизацию становления и развития ПЛ с опорой на четкие и непротиворечивые основания для вычленения определенных научных направлений сталкиваются с большими трудностями. Дело в том, что хронологически многие направления сосуществуют, развиваются параллельно; о возникновении некоторых новых идей становится широко известно только после появления той или иной фундаментальной (или амбициозно-полемиической) работы и "вала" ссылок на нее в ряде других публикаций, а попытки сторонников какого-то подхода "похоронить" иной (конкурирующий) подход вовсе не свидетельствуют о прекращении исследований и об остановке дальнейшего развития соответствующей теории. Как справедливо отмечает Р.М. Фрумкина, оценки итогов существования науки за определенный период не могут быть объективными, поскольку они всегда отражают личное самочувствие исследователя, занятого в определенной научной области [Фрумкина 1995: 509–510]. Более того, в поле зрения того или иного автора может попасть лишь ограниченный круг публикаций, что неизбежно влечет за собой некоторое искажение общей картины (на это в свое время указал Ян Пруха [Pruha 1978: 88] в рецензии на книгу [Kess 1976], упрекнув автора в том, что он ограничивает рассмотрение ПЛ пределами лишь "североамериканского пейзажа"). К тому же активно работающие авторы

³ В этой связи следует отметить, что ученики и последователи Н. Хомского вообще начинают отсчет истории ПЛ с публикации его работ, см., например, [Pinker, 1995]

то и дело вносят коррективы в трактовку тех или иных понятий, со временем пересматривают свои концепции и свое отношение к взглядам коллег⁴, однако информация об этом не всегда в должной мере воспринимается читателями. Отсюда вытекает, что трудно ждать объективности суждений даже в случаях, когда собраны вместе оценки одного и того же временного интервала развития ПЛ, полученные от разных ученых (как это делалось, например, в разделе "Quo vadis, Psycholinguistics?" международного издания "International Journal of psycholinguistics" в 1977–79 гг. или имеет место в журнале "Synthese", 1987. V. 72. № 3).

С позиций развития мировой ПЛ представляется рациональным условно выделить в качестве первого ("подготовительного") периода предпосылки для возникновения ПЛ в психологических и лингвистических публикациях в разных странах до середины XX в., вторым периодом считать 50–70-е гг. нашего века, когда происходило оформление ПЛ как самостоятельной области исследований, а отсчет третьего периода начинать с 80-х гг., увязывая его с появлением фундаментальных междисциплинарных работ, что позволяет прогнозировать специфику следующего (четвертого, уже относящегося к будущему) периода в качестве этапа действительной реализации задач ПЛ как науки интегративного типа.

3. ЗАВИСИМОСТЬ ДИНАМИКИ ИДЕЙ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ ОТ РАЗНЫХ ФАКТОРОВ

Выше приводились высказывания некоторых авторов по поводу зависимости развития ПЛ от взятых за основу лингвистических или психологических концепций. По публикациям разных лет можно проследить трактовку ПЛ как части лингвистики с разными вариациями: от дескриптивной и структурной лингвистики, а также трансформационной порождающей грамматики до "лингвистики будущего" (в последнем случае ПЛ квалифицируется как входящая вместе с современной социолингвистикой и прагматикой в состав семиологии по Ф. де Соссюру [Горелов, Седов 1997: 199], как подход к разработке будущей теоретической лингвистики [Супрун 1996: 271] и т.д.). Вне всякого сомнения, специфика отечественной ПЛ – теории речевой деятельности – изначально обусловлена подготовившими для нее почву концепциями выдающихся лингвистов, психологов, физиологов.

По справедливому замечанию Эвелин Хэтч [Hatch 1983], психолингвисты, пришедшие из разных областей знания и имеющие соответствующую базовую подготовку, различаются между собой. Так, обратившиеся к ПЛ лингвисты рассматривают овладение языком, продуцирование и понимание речи как процессы, подчиняющиеся языковым правилам, которые вытекают из системности языка; поэтому их интересуют не названные процессы как таковые, а те языковые отношения, которые направляют эти процессы. С другой стороны, психологи, становясь психолингвистами, верят, что они исследуют интеллектуальные процессы, которые трактуются как центральные для ПЛ, поскольку, они, по их мнению, объясняют и овладение языком, и научение в целом. В то же время, преподавателей языка – второго или иностранного – интересуют вопросы, связанные

⁴ Наглядными примерами этому могут служить описанные самими учеными пути поиска истины, в том числе переход Дж. Макклелланда [McClelland 1995] от бихевиоризма через когнитивизм к когнитивной науке или Дж. Лакоффа [Lakoff 1995] от идей порождающей грамматики Н. Хомского через принятие идей Г. Фреге и генеративную семантику и далее через признание необходимости учета особенностей работы мозга человека, процессов метафоризации, категоризации и т.д. к когнитивной науке и трактовке семантики с позиций коннекционизма.

⁵ См. обзор появившихся в последние годы в разных странах публикаций по актуальным проблемам ПЛ в [Залевская, в печати].

с легкостью/трудностью овладения языковыми структурами, с факторами, которые влияют на успешность обучения другому языку, и т.п. К этому можно добавить, что речь в таких случаях идет о различиях в характере рассматриваемых проблем, в подходах к их решению, в расстановке акцентов и в способности увидеть то, что "разрешено" исходной системой ориентиров, не замечая в то же время факты, не вписывающиеся в такую систему. Именно поэтому необходима подготовка нового поколения психолингвистов, готовых воспринять идеи интегративной науки сегодняшнего дня на базе фундаментальной грамотности в области как лингвистики, так и психологии.

Следует подчеркнуть, что объяснение динамики идей ПЛ исключительно ее "фатальной" зависимостью от взятых за основу лингвистических или психологических концепций нынче представляется недостаточным. Во-первых, ПЛ широко использует результаты исследований, полученных и в ряде других наук (в том числе – в нейронауках, в исследованиях в области искусственного интеллекта и др.). Во-вторых, развитие идей ПЛ не может рассматриваться вне более широкого контекста динамики общетеоретических подходов в мировой науке, т.е. вне смены "парадигм" или "метафор", оказывающих влияние на весь комплекс так или иначе связанных наук. В-третьих, то, что было типичным для периода становления ПЛ, когда ею (по необходимости) в готовом виде брались те или иные лингвистические и/или психологические концепции, проверялась "психологическая реальность" лингвистических построений, уже ушло в прошлое по меньшей мере для тех, кто серьезно занимается ПЛ с пониманием специфики ее задач. Не случайно в фундаментальных психолингвистических исследованиях оказывается трудным или даже невозможным вычленивать, например, "лингвистический компонент" (см. подробнее [Залевакая 1996а: 175–178]), поскольку речь идет именно о психолингвистическом подходе к исследованию особенностей функционирования языка у человека, а не об абстрактной языковой системе, долгие годы описывавшейся "чистой" лингвистикой⁶. Иными словами, на смену тому, что было естественной "болезнью роста" при формировании ПЛ, приходит разработка собственной теории, развитие которой происходит по мере накопления результатов проверки определенных рабочих гипотез, что дает основания для детализации, совершенствования или пересмотра тех или иных положений. Более того, становится все очевиднее следующее: по мере реализации лингвистикой во многом только декларированной ею обращенности к человеку как носителю языка (т.е. в случае действительно последовательного учета "человеческого фактора" при функционировании языка) она фактически должна перейти на позиции ПЛ, поэтому в текущий момент скорее следует говорить о все усиливающемся влиянии психолингвистических идей на развитие лингвистики, а не наоборот (см. аналогичное высказывание А.А. Леонтьева [Леонтьев 1995: 308] о перерастании и "чистой" лингвистики в ПЛ, нейролингвистику, социолингвистику и т.д., а также указания на тенденцию к интеграции и представлений о языке с позиций разных наук [Кибрик 1995: 219] и на возрастание интереса лингвистики к ф у н к ц и о н а л ь н о м у аспекту языковых феноменов [Николаева 1995: 380], что также говорит о сближении лингвистики с ПЛ).

Сказанное выше дает основания для заключения, что, во-первых, развитие ПЛ идей должно рассматриваться не только с учетом специфических истоков того или иного научного направления, но и в более широком контексте развития мировой науки, а во-вторых, своеобразие той или иной психолингвистической школы не может выводиться исключительно из так или иначе учитываемых лингвистических или психологических учений: оно должно обуславливаться уровнем интегративности и объяснительной силы предлагаемой концепции, что в то же время допускает формирование ряда школ в русле одного общенаучного направления (например, теории деятельности;

⁶Различия между описываемым с позиций лингвистики коллективным знанием и спецификой индивидуального знания, формирующегося и функционирующего у человека по законам психической деятельности, но под контролем социально выработанных систем норм и оценок, обсуждаются в [Залевакая 1992].

см. подробнее [Залевская 1996а]). Эти положения можно интерпретировать и как необходимость учета **взаимодействия ряда внешних и внутренних факторов**, обуславливающих развитие ПЛ не только за счет воздействия на нее широкого круга в той или иной мере смежных с нею наук, но и в связи с собственными "болезнями роста" и закономерностями перехода к полноценному статусу самостоятельной области знания.

4. ДИНАМИКА ПРОБЛЕМАТИКИ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ НАУКИ

Формирование ПЛ началось в период пандемии информационного подхода как общенаучной парадигмы, определявшей в то время специфику видения исследуемых объектов и характер используемой терминологии. Так, если мы посмотрим на перечень проблем, рассматривавшихся в [Osgood, Sebeok (Ed.) 1954], то обнаружим, что речь шла о "кодировании" и "декодировании", о "пропускной способности канала связи", о "приложении мер энтропии" к исследованию того, как происходит "передача информации" с помощью "речевого сообщения" и т.п. (см. также [ВП 1971]). Это было вполне естественным в условиях всеобщего стремления максимально учесть идеи общей теории связи, которая к тому же трактовалась в качестве одной из платформ для разработки ПЛ.

Иная терминология, отображающая специфику другого общенаучного подхода, прочно завоевала место в психолингвистических публикациях по мере компьютеризации мировой науки и, в частности, в связи с активизацией исследований в области компьютерного моделирования интеллектуальных процессов. Компьютерная метафора овладела умами психолингвистов, побуждая их анализировать языковой/речевой механизм человека и протекающие в нем процессы с преломлением их через призму машинного моделирования в свете представлений о возможностях и ограничениях, которые специфичны для соответствующих структур и процессов при признании аналогии между работой мозга (как "процессора") и работой компьютера со всеми вытекающими отсюда последствиями. Типичные примеры терминологии при таком подходе – "переработка языка", "множественный доступ" или "селективный доступ" к слову, "переработка как исчисление (computation) синтаксической структуры" (см., например, [Garnham 1985]).

Осознание несостоятельности компьютерной метафоры для объяснения специфики функционирования языка у человека (см. дискуссию по этому поводу в [Baumgartner, Paug (Ed.) 1995], а также [Фрумкина 1996]) привело к развороту на 180° в определении соотношения между работой мозга и работой компьютера: авторы психолингвистических публикаций последних лет все чаще обращаются к исследованиям в области нейрологии и к моделям познавательных процессов, базирующимся на аналогии с устройством и принципами работы мозга индивида. Дискуссия между "традиционалистами" и "коннекционалистами" неизбежно приводит к признанию необходимости разработки "гибридных" концепций, учитывающих специфику нейронных связей, распространяющейся по ним активации, роли параллельно протекающих процессов, взаимодействия процессов переработки "снизу-вверх" и "сверху-вниз" и т.д. [Щецов 1996; Baumgartner, Paug (Ed.) 1995].

Большое влияние на развитие ПЛ и на динамику ее проблематики оказали две "когнитивные революции" (см. [Харре 1996]). Первой когнитивной революцией обычно называют устойчивый переход от свойственного бихевиоризму изучения "объективного", т.е. наблюдаемого извне, поведения (в противовес "субъективным", не поддающимся прямому наблюдению, ментальным процессам) к изучению когнитивных феноменов.

Думается, что именно в этом контексте должна рассматриваться роль работ Н. Хомского, выступившего с критикой бихевиористской концепции языка: то, что некоторыми авторами трактуется как "хомскианская революция", было одним из проявлений обще-

научного "поворота" к исследованию ментального в противовес поведенческому; в то же время личностная ориентированность Н. Хомского на разработку идей трансформационной порождающей грамматики прежде всего в логическом аспекте надолго увела его самого и его последователей от исследования познавательных процессов как таковых.

Второй когнитивной революцией (или дискурсивным переворотом) считается переход от акцентирования внимания на слове и предложении к тексту и далее к дискурсу, приведший к оформлению дискурсивной психологии, дискурсивного подхода и т.п. (см. например, [Макаров 1998; Павлова 1996; Харре 1996]). Фундаментальная значимость переключения на дискурс связана с осознанием в мировой науке роли межличностных знаковых (символических) взаимодействий в умственных процессах: активность трактуется как когнитивная, если реализующий ее человек использует символы или другие средства, направленные вне его и подчиняющиеся некоторым нормативам, которые определяют корректность или некорректность использования этих средств [Харре 1996: 3]. Однако такие средства приобретаются только через совместную деятельность людей, в том числе – речевую, т.е. через дискурс. Заметим, что эти идеи были значительно ранее (в 30-е гг.) сформулированы в работах Л.С. Выготского⁷.

Параллельно с оформлением дискурсивной психологии как отдельного научного направления в ПЛ происходит активизация исследований в области дискурса с переносом акцентов с синтаксиса на семантику (см., например, [Garnham 1985; Kess 1993; Saito 1994]). Отечественной ПЛ как теории речевой деятельности с самого начала было свойственно признание изначальной активности субъекта деятельности и включенности его в коммуникативное и прочее взаимодействие при ведущей роли семантики и мотивации, на что указывают и зарубежные авторы (см., например, [Харре 1996: 5]).

Наряду с этим чрезвычайно сильной оказалась тенденция к интегрированию результатов, получаемых многими науками, так или иначе связанными с изучением человека и разных аспектов его функционирования в природе и обществе. Это также не могло не сказаться на переориентации ПЛ в плане ее задач как науки интегративного типа, на расширении ее связей с другими науками, на проведении междисциплинарных исследований при взаимодействии специалистов из разных областей знания, т.е. на ее фактическом переходе на позиции когнитивной науки.

Необходимо подчеркнуть, что названные выше "парадигмы", "подходы", "революции" не должны восприниматься буквально, т.е. как существующие "от" и "до" определенного момента: о смене парадигм можно говорить лишь условно, ибо возможно их параллельное функционирование в течение определенного периода времени. В работе [Чернейко 1995] уточняется, что термин "парадигма" понимается в науке по-разному: как модель постановки проблемы; как общепринятая теория, являющаяся образцом; как философия языка; как взгляд на язык; как образец, пример. Согласившись с автором в том, что наиболее приемлемой является трактовка парадигмы как взгляда на исследуемый объект, мы тем самым признаем важность научных дискуссий, в ходе которых рождается истина.

Выше уже были названы основные исследуемые ПЛ проблемы. С учетом динамики актуальных для разных периодов времени общенаучных подходов и ставившихся конкретных исследовательских задач под тем или иным углом зрения рассматривались прежде всего проблемы овладения языком и функционирования языка при произведении и понимании речи. Заметим, однако, что хотя отдельные ученые занимаются исследованием особенностей овладения только первым языком в детском возрасте или, наоборот, изучают специфику овладения вторым (третьим и т.д.) языком у разных

⁷ К сожалению, в этом случае (как и во многих других) осознание актуальности и плодотворности идей отечественного автора приходит к нам как следствие пробуждения интереса к сходной проблематике за рубежом, что напоминает поездку из Москвы в Санкт-Петербург через Владивосток. Рассмотрение типичности подобной ситуации заслуживает отдельной публикации

возрастных групп в различающихся условиях (естественных или учебных), для ПЛ как науки важен широкий круг проблем, связанных с общечеловеческими механизмами овладения и пользования языком, с используемыми при этом универсальными стратегиями и опорными элементами, а также со специфическими особенностями применения тех и других в разных условиях и при воздействии комплекса внешних и внутренних факторов. Еще одно необходимое уточнение связано с тем, что при акцентировании внимания на не поддающихся прямому наблюдению процессах функционирования языка у человека ПЛ тем не менее учитывает включенность индивида в систему социальных взаимодействий, вне которых ни овладение, ни пользование языком не могут успешно реализоваться.

Исследование названных выше основных проблем ПЛ неизбежно связано с решением широкого круга вопросов, нередко выходящих за рамки ПЛ в смежные с нею области науки о человеке.

5. АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛИНГВИСТИКИ В ТЕКУЩИЙ ПЕРИОД

Конкретизация таких проблем в разных публикациях варьируется и связана с определением предмета ПЛ и ее задач.

При рассмотрении особенностей текущего периода и ставших популярными за последние 15–20 лет тем Д. Кэрролл [Carroll 1994] говорит о все усиливающейся трактовке ПЛ как части междисциплинарной когнитивной науки и о том, что возбужденный "хомскианской революцией" интерес психологов к синтаксису пробудил интерес и к другим аспектам языка. Д. Кэрролл отмечает, что в настоящее время ПЛ занимается более широким кругом проблем, чем это было несколько десятилетий назад. Одной из популярных областей исследования является ныне изучение того, как люди понимают, запоминают и продуцируют дискурс. Другой такой областью является лексикон, или ментальный словарь. Изучение слов стало очень распространенным в последнее десятилетие. У названного круга тем наряду с теоретической важностью есть и практическое приложение: исследование дискурса помогает глубже заглянуть в процессы разговора с позиций психотерапии, а изучение лексикона помогает понять, как дети учатся читать. Еще одна проблема связана с тем, как лингвисты трактуют овладение ребенка языком. Интерес к врожденным языковым механизмам дополняется возрождением исследований языкового окружения ребенка. Взрослые говорят с детьми иначе, чем со взрослыми, с точки зрения фонологии, семантики, синтаксиса и прагматики, и многие исследователи изучают роль "языковых уроков" в овладении ребенком языком. Ощутимый прогресс наблюдается в изучении таких тем, как чтение, билингвизм и языковые нарушения. Успех достигнут благодаря интегрированию подходов с позиций разных дисциплин в рамках когнитивной науки. Д. Кэрролл рассматривает также виды знания, вовлеченного в пользование языком, биологические основы языка и взаимодействие языка, культуры и познания.

Детальную информацию о популярных ныне проблемах ПЛ можно получить из коллективной монографии "Handbook of psycholinguistics" [Gernsbacher 1994], к работе над которой были привлечены 49 авторов, включая редактора. В это фундаментальное издание вошли главы, посвященные таким аспектам ПЛ, как методология ПЛ исследований, различия в понимании речи со слуха и при чтении, восприятие звучащей речи, узнавание слов со слуха, узнавание слов при чтении, роль контекста при переработке неоднозначных слов, переработка предложений, понимание фигурального языка (метафор, идиом и др.), процессы получения выводного знания разных видов, уровни репрезентации в памяти текстов и дискурса, построение ментальных моделей содержания текста, переработка дискурса, овладение языком детьми и взрослыми, индивидуальные различия в понимании текста детьми, особенности овладения чтением, продуцирование речи на уровнях грамматического кодирования и дискурса.

мозговые механизмы и нейропсихологические проблемы языка и др. Большое внимание при этом уделяется исследованиям в области значения слова с учетом новых подходов к трактовке понятий признака, прототипа и т.д.

Несколько иные акценты расставлены в отечественных исследованиях последних лет, о чем свидетельствует проблематика симпозиумов по психолингвистике и теории коммуникации, ср.: "Языковое сознание", 1988; "Психолингвистика и межкультурное взаимодействие", 1991; "Язык, сознание, культура, этнос: теория и прагматика", 1994; "Языковое сознание и образ мира", 1997. В изданных в 90-х гг. учебниках по психолингвистике (см. [Горелов, Седов 1997; Леонтьев 1997; Шахнарович 1995]) в соответствии с исследовательскими интересами авторов большее внимание уделяется либо невербальным компонентам коммуникации, либо взаимоотношению речи и мышления, соотношению "язык – человек – общество" (включая понятие "языковой личности"); освещаются теоретические и методологические вопросы ПЛ, определяются тенденции в современной ПЛ, связанные с акцентированием внимания на образе мира и личности (см. также [Леонтьев 1993]); более детально рассматриваются проблемы природы и структуры языковой способности человека и вопросы психолингвистики развития. В ряде публикаций особо подчеркивается актуальность исследования межкультурного общения, этнокультурной специфики языкового сознания, различных аспектов взаимодействия языков и культур, языковых "картин мира" и т.д. (см., например, [Сорокин 1994; Тарасов 1996; ЭС 1996]). Можно было бы назвать также работы, посвященные целенаправленному исследованию особенностей процессов категоризации, понимания текста (с подчеркиванием специфики проекций текста у продуцента и у реципиента), роли опор при получении выводного знания, особенностей слова как единицы индивидуального лексикона, специфики лексикона при двуязычии, стратегий овладения и пользования вторым языком и т.д. (см. [Залева, в печати]).

Анализ публикаций последнего десятилетия (в том числе написанных разными авторами англоязычных "Введений в психолингвистику") показывает пересечение, а иногда и совпадение проблематики, которая оказалась в настоящее время наиболее актуальной для ПЛ, когнитивной психологии, когнитивной лингвистики, исследований в области искусственного интеллекта и отчасти – прагматики (см., например, [Sternberg 1996; Thomas 1995; Ungerer, Schmid, 1996]). На несомненные признаки схождения, объединяющие ПЛ и прагматику по объектам и целям исследования, на основании анализа соответствующих статей в "Лингвистическом энциклопедическом словаре" (М., 1990) указывают [Горелов, Седов 1997]. Это также говорит в пользу грядущей интеграции ряда наук.

6. ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

1. ПЛ в разных ее трактовках и воплощениях в жизнь тем не менее идет к единой цели – описанию и объяснению особенностей функционирования языка как психического феномена (включая овладение и пользование как первым, так и вторым языком) с учетом сложного взаимодействия множества внешних и внутренних факторов.

2. Решение связанных с достижением этой цели исследовательских задач требует дальнейшего развития ПЛ как науки интегративного типа, как одного из направлений когнитивного подхода, объединяющего усилия специалистов (с фундаментальной подготовкой) из разных областей знания, изучающих человека, для разработки психолингвистической теории высокой объяснительной силы и реализации широкой программы комплексных экспериментальных исследований. Осознание этого – важнейший итог развития ПЛ за 50 лет.

3. Разработка такой теории невозможна через механическое сложение "готовых" психологических, лингвистических и прочих концепций, поскольку они ориентированы на иные цели. ПЛ должна исходить из собственной системы координат для осмыс-

ления, интерпретации и преломления через призму своих интересов идей и результатов, наличных в мировой науке сегодняшнего дня и координируемых с данными текущих психолингвистических исследований (как гипотез, так и получаемых при их проверке экспериментальных показателей).

4. В число наиболее актуальных и перспективных генеральных направлений психолингвистических изысканий нового этапа, по-видимому, должны войти разработка теории знания как достояния индивида; пересмотр понятия референции для построения психолингвистической концепции значения; установление особенностей функционирования слова (в том числе иноязычного) при овладении языком, в процессах продуцирования и понимания речи в дискурсе. Эти направления взаимосвязаны, и каждое из них включает комплекс проблем, актуальность исследования которых уже доказана. Например, психолингвистическая теория знания подразумевает рассмотрение проблем языкового сознания и языковой личности, картины мира, взаимодействия процессов переработки перцептивного, когнитивного и эмоционально-оценочного опыта индивида и функционирования продуктов этих процессов на разных уровнях осознаваемости, использования разнообразных стратегий и опорных элементов при оперировании знанием (в том числе выводным) и т.д.

5. В качестве базы для разработки ПЛ теории и параллельно с ней важна реализация широких программ межъязыковых и межкультурных экспериментальных исследований, желательно с координированием усилий ученых из разных стран (см. пример такой программы [Залевская 1996]).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Баранов А.Н., Добровольский Д.О. (Ред.). 1996 – Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике. М., 1996.
- ВП 1971 – Вероятностное прогнозирование в речи. М., 1971.
- Горелова И.Н., Седов К.Ф. 1997 – Основы психолингвистики. М., 1997.
- Залевская А.А. 1992 – Индивидуальное знание: специфика и принципы функционирования. Тверь, 1992.
- Залевская А.А. 1996а – Вопросы теории овладения вторым языком в психолингвистическом аспекте. Тверь, 1996.
- Залевская А.А. 1996б – Вопросы теории и практики межкультурных исследований // Этнокультурная специфика языкового сознания. М., 1996.
- Залевская А.А., в печати – Введение в психолингвистику (в печати).
- Зубкова Л.Г. 1997 – К истокам когнитивной парадигмы в отечественной науке: А.А. Потебня // Когнитивная лингвистика конца XX века: Материалы Международной научной конференции 7–9 октября 1997. Ч. 1. Минск, 1997.
- Кибрик А.Е. 1995 – Куда идет современная лингвистика? // Лингвистика на исходе XX века: Итоги и перспективы. Тезисы Международной конференции. Т. I. М., 1995.
- Леонтьев А.А. 1990 – Психолингвистика // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
- Леонтьев А.А. 1993 – Языковое сознание и образ мира // Язык и сознание: парадоксальная рациональность. М., 1993.
- Леонтьев А.А. 1995 – Надгробное слово "чистой" лингвистике // Лингвистика на исходе XX века: Итоги и перспективы. Тезисы Международной конференции. Т. II. М., 1995.
- Леонтьев А.А. 1997 – Основы психолингвистики. М., 1997.
- Махиров М.Л. 1998 – Интерпретативный анализ дискурса в малой группе. Гверь, 1998.
- Наумова Т.Н. 1990 – Психологически ориентированные синтаксические теории в русской и советской лингвистике. Саратов, 1990.
- Николаева Т.М. 1995 – Лингвистика начала XXI века: попытка прогнозирования // Лингвистика на исходе XX века: Итоги и перспективы. Тезисы Международной конференции. Т. II. М., 1995.
- Павлова Н.Д. 1996 – Современный диалог-анализ. Обзор зарубежных исследований // Иностранная психология. 1996. № 6.
- Сахарный Л.В. 1989 – Введение в психолингвистику. Л., 1989.
- Сорокин Ю.А. 1996 – Этническая конфликтология. М., 1994.
- Супрун А.Е. 1996 – Лекции по теории речевой деятельности. Минск, 1996.
- Тарасов Е.Ф. 1987 – Тенденции развития психолингвистики. М., 1987.

- Тарасов Е.Ф.* 1991 – История психолингвистических школ. Теория речевой деятельности // Введение в психолингвистику (Текст лекций для студентов педагогических факультетов, аспирантов и слушателей ФПК). Ч. 1. М., 1991.
- Тарасов Е.Ф.* 1996 – Межкультурное общение – новая онтология анализа языкового сознания // Этнокультурная специфика языкового сознания. М., 1996.
- Фрумкина Р.М.* 1995 – Лингвистика в поисках эпистемологии // Лингвистика на исходе XX века: Итоги и перспективы. Тезисы Международной конференции. Т. II. М., 1995.
- Фрумкина Р.М.* 1996 – "Теория среднего уровня" в современной лингвистике // ВЯ. 1996. № 2.
- Харре Р.* 1996 – Вторая когнитивная революция // Психологический журнал. 1996. Т. 17. № 2.
- Цепцова В.А.* 1996 – От критики коннекционизма к гибридным системам обработки информации // Познание. Общество. Развитие. М., 1996.
- Чернейко Л.О.* 1995 – Две лингвистические парадигмы // Лингвистика на исходе XX века: Итоги и перспективы. Тезисы международной конференции. Т. II. М., 1995.
- Шахнарович А.М.* 1995 – Общая психолингвистика. М., 1995.
- ЭС 1996 – Этнокультурная специфика языкового сознания. М., 1996.
- Baumgartner P., Payr S. (Ed.)* 1995 – Speaking minds: interviews with twenty eminent cognitive scientists. Princeton. 1995.
- Blumental A.L.* 1987 – The emergence of psycholinguistics // Synthese. 1987. V. 72.
- Carroll D.W.* 1994 – Psychology of language. Pacific Grove, CA. 1994.
- Dreyfus H.L.* 1995 – Cognitivism abandoned // Baumgartner P., Payr S. (Eds.). Speaking minds: interviews with twenty eminent cognitive scientists. Princeton, 1995.
- Fodor J.A.* 1995 – The folly of simulation // Baumgartner P., Payr S. (Eds.). Speaking minds: interviews with twenty eminent cognitive scientists. Princeton, 1995.
- Garnham A.* 1985 – Psycholinguistics: central topics. London; New York, 1985.
- Gernsbacher M.A.* 1994 – Handbook of psycholinguistics. San Diego, 1994.
- Hatch E.* 1983 – Psycholinguistics: a second language perspective. Rowley (Mass.), 1983.
- Kess J.F.* 1976 – Psycholinguistics: introductory perspectives. New York, 1976.
- Kess J.F.* 1993 – Psycholinguistics: psychology, linguistics and the study of natural language. Amsterdam; Philadelphia, 1993.
- McCaughey R.N.* 1987 – The not so happy story of the marriage of linguistics and psychology, or why linguistics has discouraged psychology's recent advances // Synthese. 1987. V. 72.
- McClelland J.L.* 1995 – Towards a pragmatic connectionism // Baumgartner P., Payr S. (Ed.) Speaking minds: interviews with twenty eminent cognitive scientists. Princeton, 1995.
- Osgood C.E., Sebeok T.A. (Ed.)* 1954 – Psycholinguistics. A survey of theory and research problems. Baltimore, 1954.
- Pinker S.* 1995 – The language instinct: how the mind creates language. New York, 1995.
- Prindeaux G.D.* 1984 – Psycholinguistics: the experimental study of language. London; Sidney, 1984.
- Prucha I.* 1976 – International journal of psycholinguistics. 1978. V. 5. № 3 – Rec.: Kess J.F. Psycholinguistics: introductory perspectives. 1976.
- Reber A.S.* 1987 – The rise and (surprisingly rapid) fall of psycholinguistics // Synthese. 1987. V. 72.
- Sternberg R.J.* 1995 – Metaphors of mind. Conceptions of the nature of intelligence. Cambridge, 1995.
- Sternberg R.J.* 1996 – Cognitive psychology. Fort Worth, 1996.
- Thomas J.* 1995 – Meaning in interaction: an introduction to pragmatics. London; New York, 1995.
- Ungerer F., Schmid H.-J.* 1996 – An introduction to cognitive linguistics. London; New York, 1996.
- Wertsch J.V. (Ed.)* 1986 – Culture, communication, and cognition: Vygotskian perspectives. Cambridge, 1986.

РЕЦЕНЗИИ

Гаспаров Борис. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования. М. "Новое литературное обозрение", 1996. 352 с.

Автор книги, Б.М. Гаспаров, в 60–70-е гг., работая в Тарту, обратил на себя внимание публикациями по лингвистике текста. Затем он покинул СССР, а в последние годы вновь начал публиковаться в отечественных изданиях, преимущественно как литературовед. Рецензируемая книга вновь посвящена лингвистике, в ней рассматриваются самые широкие проблемы языковой теории. Автор критически относится к большинству лингвистических направлений XX в. и пытается предложить принципиально новый подход к изучению языка.

Название книги может ассоциироваться у читателя с влиятельной в Японии школой «языкового существования» (гэнго-сэйкацу), уже получившей у нас некоторую известность [Неверов 1982; Алпатов 1983]. Однако Б.М. Гаспаров нигде не упоминает эту школу и, вероятно, не имеет о ней представления. Тем не менее любопытны как переключки терминов, так и другие черты сходства между школой гэнго-сэйкацу и Б.М. Гаспаровым: антиструктурализм, отказ от ограничения объекта исследования языком в сосюровском смысле, огромное значение, придаваемое интроспекции.

Но, разумеется, Б.М. Гаспаров, отвергая идеи структурализма и генеративизма, ориентируется не на японскую, а на европейскую и русскую традицию, в конечном итоге восходящую к В. фон Гумбольдту. Упомянуты в связи с этим К. Фосслер, И.А. Боуэн де Куртенэ и даже Н.Я. Марр. Несомненно значительное влияние на автора книги оказал известный труд В.Н. Волошинова – М.М. Бахтина "Марксизм и философия языка" (Л.: 1929), важны для него и идеи более поздних работ М.М. Бахтина. Опирается Б.М. Гаспаров и на некоторые отечественные исследования последнего времени, в частности, Ю.Н. Караулова. И особенно для него значимы, хотя принимаются и не полностью, идеи современного, прежде всего французского постмодернист-

кого литературоведения (Р. Барт, Ж. Деррида, Ю. Кристева и др.).

Книга проникнута пафосом отвержения традиций позитивистской лингвистики и позитивизма в целом. При этом позитивизм Б.М. Гаспаров, как и авторы книги "Марксизм и философия языка", понимает максимально широко. К нему отнесены не только классический позитивизм XIX в., проявившийся в младограмматизме (хотя на с. 21 идеи младограмматиков названы "кульминацией позитивистского подхода к языку"), но и все направления структурализма и даже генеративизм Н. Хомского 50–60-х гг. (другие направления генеративизма не упомянуты). Автор книги подчеркивает "выпадение" лингвистики из общего развития гуманитарных наук в XX в. Если в других науках "кардинальным образом изменяется каждый раз вся картина предмета, самые фундаментальные категории и представления, казавшиеся до этого незыблемыми", то «лингвистика все это время продолжала и продолжает идти по дороге, проложенной рационализмом и детерминизмом Просвещения. В том, как она определяла и сегодня еще определяет свой предмет и цели и способы его описания, явственно проглядывает духовное наследие эпохи, предшествовавшей Французской революции: все та же вера в универсальность принципов разумной и целесообразной организации, действительных для любого феномена, все то же иерархическое отношение между идеальным "внутренним" порядком и его "внешней", несовершенной реализацией, все та же устремленность к всеобщему и постоянному, для которого все индивидуальное и преходящее служит лишь первичным сырым материалом концептуализирующей работы, наконец, все тот же детерминизм в выстраивании алгоритмических правил» (с. 6–7).

Такой подход связывается Б.М. Гаспаровым с представлением о языке как слож-

ном и рационально построенном механизме, «каким-то неизвестным, но вполне единообразным способом помещающегося в сознании каждого "носителя" данного языка» (с. 7); последнее не вполне точно: многие направления, особенно последовательно глоссематика, отказывались от рассмотрения вопроса о хранении языка в сознании человека. Но не это главное: Б.М. Гаспаров вполне правомерно сопоставляет развитие лингвистического структурализма с общими тенденциями науки и культуры начала XX в., когда «одномерная эмпирическая реальность позитивизма, состоящая из твердых "фактов", которые предстоит лишь собрать и расставить по надлежащим местам, уступила место релятивному миру идеальных сущностей, образ которого на глазах создается и пересоздается концептуализирующей мыслью» (с. 24). Однако «ученый-антипозитивист и ученый-позитивист сходились в том, что им обоим не нужно было "искать" свой предмет: он оказывался задан с полной отчетливостью и очевидностью, для первого — эксплицитно сформулированными исходными параметрами конструируемой модели, для второго — непосредственным наблюдением» (с. 25). Сходные идеи видятся в книге и у Н. Хомского, для которого «интуитивное знание говорящего представляет собой совершенную, идеально работающую структуру» (с. 65).

Такой подход неприемлем для Б.М. Гаспарова, ссылающегося на непосредственный «здравый смысл» носителя языка: «Стоит лишь отвлечься от готового представления о том, что "должен" из себя представлять язык, и обратиться к тем непосредственным ощущениям, которые у каждого из нас имеются в связи с нашим каждодневным обращением с языком, как обнаруживаются существенные расхождения между картиной языка как механизма и многими самыми простыми и очевидными вещами, которые можно ежеминутно наблюдать в нашей языковой деятельности и которые, я думаю, каждому приходилось наблюдать и испытывать в своем личном языковом опыте» (с. 9). «Наши взаимоотношения с языком» — «экзистенциальный процесс, столь же всеобъемлющий, но и столь же лишенный какой-либо твердой формы и единого направления, как сама повседневная жизнь» (с. 9).

Вслед за В.Н. Волошиновым — М.М. Бахтиным автор книги подчеркивает, что любые «стабильные лингвистические объекты», включая целые высказывания — лишь фикции. «Попадая из языковой среды автора в языковую среду каждого нового адресата,

созданное высказывание всякий раз меняет условия своего существования» (с. 10). Всегда имеют место коммуникативное намерение автора, его отношение к тому или иному адресату, идеология эпохи и конкретных личностей, множество ассоциаций с предыдущим опытом и т.д. «Язык окружает наше бытие как сплошная среда, вне которой и без участия которой ничто не может произойти в нашей жизни. Однако эта среда не существует вне нас как объективированная данность; она находится в нас самих, в нашем сознании, в нашей памяти, изменяя свои очертания с каждым движением мысли, каждым проявлением нашей личности» (с. 5). Взаимодействие личности с такой средой (одновременно являющейся и объектом, с которым эта личность работает) Б.М. Гаспаров и предлагает называть языковым существованием личности. Изучение языкового существования рассматривается в книге как главная задача науки о языке.

Встает закономерный вопрос: почему эта наука постоянно идет о иному пути? Б.М. Гаспаров справедливо упоминает о том, что позитивистский подход не только господствует в лингвистике двух последних веков, но и опирается на «громдную традицию... идущую от латинских грамматик поздней античности и века схоластики» (с. 22); добавим, что похожий взгляд на язык можно видеть и во всех иных, отличных от европейской, лингвистических традициях. К задаче, ставящейся Б.М. Гаспаровым, действительно ближе гумбольдтовские идеи, но он сам вполне верно отмечает внешне парадоксальную ситуацию: «Несмотря на то, что идеи Гумбольдта сохраняли высокую авторитетность на протяжении как большей части XIX, так и XX века, в конкретных описаниях истории и структуры различных языков они фактически не отразились» (с. 21).

В самом деле, освоение гумбольдтовских идей, которыми восхищались многие, шло исключительно в области философии языка и наиболее абстрактных теорий, где этому был не чужд и Ф. де Соссюр, например, по вопросу о форме и субстанции (материи). Но приспособление их к конкретному анализу требовало как минимум значительного сужения и, если угодно, рационализации. Показателен пример упомянутого Б.М. Гаспаровым понятия внутренней формы, прочно вошедшего в русскую традицию благодаря А.А. Потебне. Во-первых, глобальное понятие В. фон Гумбольдта сузилось до понятия внутренней формы слова, относящегося лишь к лексическому уровню. Во-вторых,

среди всех ассоциаций, которые вызывает то или иное слово, отбираются лишь те, которые можно рационально объяснить: связанные с реальной историей слова, которую можно обнаружить или реконструировать. Для слова *стрелять* допустимо связать его внутрениую форму со словом *стрела* и даже для фамилии *Грибоедов* — со словами *гриб* и *есть*. Но, например, для носителя русского языка английская фамилия *Конгрив* легко ассоциируется с *конь* и *грива*, а топоним *Уч-курган* с фантастической ситуацией обучения кургана; однако для «серьезной» лингвистики — это лишь «текучие» ассоциации, интересные разве что как «народные этимологии», непригодные для строгого исследования. В то же время Б.М. Гаспаров в разделах книги, посвященных анализу языкового материала, принципиально рассматривает любые такого рода ассоциации (правда, не столько для компонентов слова, сколько для целых слов и словосочетаний) без каких-либо объективных критериев отбора.

Итак, с чем же связан, согласно Б.М. Гаспарову, господствующий в лингвистике и практически единственный при изучении конкретных языков подход? И здесь он идет за авторами «Марксизма и философии языка», связывавшими критикуемый им «абстрактный объективизм» с задачами обучения языку. Б.М. Гаспаров пишет: «Стереотипы «высокой» лингвистической науки выступают рука об руку со стереотипами языкового учебника... Мы все знаем, что предлагаемые учебником правила помогают в изучении языка, и что чем больше в этих правилах логической последовательности, единообразия и компактности, тем лучше выполняют они свое полезное назначение» (с. 8). В связи с этим Б.М. Гаспаров приводит такую аргументацию, разграничивая то, чем занимаются существующая лингвистика и лингвистика, которую нужно строить в соответствии с его проектами: «Все мы знаем, как действует человек, обучающийся какому-то новому для него делу: танцу, или шахматной игре, или языку. Рационально организованные знания о предмете, сообщаемые ученику и им усваиваемые, не только ускоряют обучение, но выступают в качестве главной — во всяком случае, наиболее заметной — движущей его силы. Наблюдая, как новичок складывает элемент за элементом, свои первые танцевальные, или шахматные, или языковые «фразы», используя только что полученные сведения об их строении, мы видим полное торжество принципа «грамматики»... Чем дальше продвигается ученик в усвоении

своего дела, тем реже он нарушает преподаваемые ему правила... Но вместе с этим — тем труднее оказывается разглядеть в его действиях эффект «применения» кодифицированных правил. Отдельные элементы сливаются в нерасчленимые блоки; действия развертываются не по единообразной схеме, применяемой буквально, безотносительно к обстоятельствам, а скорее прямо противоположным образом — исходя из все время меняющихся ситуаций» (с. 45). Тем самым «позитивистская» лингвистика — не чистое заблуждение, а моделирование деятельности человека, только начинающего пользоваться чужим для него языком, практически полезное для этого человека. Однако понять на ее основе, как пользуется языком личность, свободно им владеющая, невозможно.

Безусловно, человек сознательно пользуется грамматическими правилами лишь на очень ранних стадиях освоения чужого языка (и то только если учит его в школьном или взрослом возрасте), а увидеть со стороны использование этих правил также можно лишь в этом случае. Здесь Б.М. Гаспаров прав. Человек, хорошо владеющий языком, не думает ни о каких правилах, в лучшем случае он может рассуждать о них в процессе рефлексии, о которой немало сказано в книге. Но можно ли считать, что эти правила в реальном «языковом существовании» (исключая ситуацию очень плохого владения языком) вообще не имеют места или же в лучшем случае играют роль «продукта рефлексии», помогающего говорящему включать в ассоциативное поле формально сходные «частицы языковой памяти» (с. 214)?

Остается не вполне понятным, почему Б.М. Гаспаров, придающий большое значение психолингвистике, резко против исследований языковых функций мозга, в том числе исследований афазий. В них он видит лишь «материалистический буквализм» позитивистской лингвистики, стремящийся «отыскать объективные психологические и нейрофизиологические параметры» (с. 7). Однако нам представляется, что те же исследования афазий начиная от уже классических работ А.Р. Лурия [Лурия 1947] и кончая появившимися недавно опытами Д.Л. Спивака по искусственной дозированной афазии с помощью инсулинотерапии [Спивак 1986] дают очень многое для понимания того, как функционирует язык человека.

Неосознанность грамматических и других правил и невозможность их прямого вычленения из речи известны давно. Но при

афазиях (и более сложным образом при изучении детской речи) можно видеть разделение речевой деятельности на части; точнее, при афазии некоторые ее компоненты уже не функционируют (а в детской речи еще не функционируют). В частности, при так называемом "телеграфном стиле", выделенном А.Р. Лурией, словарный запас сохраняется в полной мере, но правила конструирования предложений, а также возможность словоизменения ввиду повреждения соответствующего участка мозга нарушаются; бывают и афазии обратного типа. Уже это дает основание говорить об объективности как синтаксических, так и морфологических правил, моделируемых лингвистикой с весьма давнего времени. Их существование никак не исключает всей совокупности сложных факторов, о которых пишет Б.М. Гаспаров.

Существование этих факторов вовсе не отрицалось "позитивистской" лингвистикой. Весьма широкое и неопределенное понятие речи у Ф. де Соссюра вполне покрывает если не все "языковое существование личности", то по крайней мере очень многое из него. Не отрицал важности изучения соответствующей проблематики даже такой крайний структуралист, как З. Хоррис. Дело было не в этом. Важно было, как признает и Б.М. Гаспаров, "обнаружить и выделить в языке — как и во всяких проявлениях жизненного опыта — общее, определенным образом организованное, повторяющееся и устойчивое" (с. 17). Это особенно было нужно для практических целей, в том числе для учебных, безусловно, игравших важную роль для становления любой традиции. И начиная с создания алфавитов "стихийными фонологами" древности и конструирования первых парадигм склонения и спряжения люди старались выделить из "текущего языкового опыта" нечто стабильное и упорядоченное. Структурная лингвистика начиная с Ф. де Соссюра лишь эксплицировала это выделение.

Четкое сосредоточение на наиболее легко поддающихся решению и в то же время весьма серьезных проблемах не означает того, что не было стремления выйти за их пределы. Безусловно, важны идеи В. фон Гумбольдта, пусть настолько общие, что не поддавались конкретизации; для XIX в., вероятно, ни о чем другом говорить было и нельзя. Верно Б.М. Гаспаров обращает внимание и на идеи "о неповторимости языкового мира каждой личности" у И.А. Бодуэна де Куртенэ (с. 19, 30). Автор книги при этом подчеркивает, что парадоксальным образом, "структуральная

лингвистика увидела именно в Бодуэне своего ближайшего предшественника" (с. 19). Однако, во-первых, парадокса здесь нет: у Бодуэна сочетались психологизм и "индивидуализм" со стремлением строго эксплицировать лингвистические процедуры; именно последнее наряду с отказом от обязательного историзма и восприняли структуралисты. Во-вторых, и общетеоретические идеи этого ученого наши продолжение у некоторых структуралистов: не только у прямого ученика Бодуэна — Е.Д. Поливанова, но и у совсем не связанного с бодуэновской традицией Э. Сепира.

Безусловно, стремление как-то выйти за пределы языка в соссюрсовском смысле существовало и у последователей Ф. де Соссюра. Б.М. Гаспаров вспоминает теорию актуализации Ш. Балли; можно упомянуть и идеи К. Бюлера об отношении знака к говорящему и слушающему. Но следующий важный шаг сделал Н. Хомский (Б.М. Гаспаров отмечает некоторые недостатки его подхода вроде произвольного обращения с концепциями предшественников, но проходит мимо его отличий от структурного подхода). Он ввел в лингвистику понятия говорящего человека и интуиции. Однако и ему надо было ввести ограничения, позволяющие установить четкие рамки исследования. Отсюда понятия компетенции и идеального говорящего, которые все же (правда, больше в теории, чем в конкретном обращении с материалом) были не столь жесткими, как границы языка в соссюрсовском смысле. Исследования последних двух-трех десятилетий, особенно в области семантики и языковых картин мира, безусловно, еще больше продвинули науку языка в сторону все большего охвата сложнейших явлений, о которых пишет Б.М. Гаспаров; смотри, например, работы А. Вежбицкой и близких к ней по идеям лингвистов. Надо отметить, что как раз лингвистика последнего времени учитывается в рассматриваемой книге явно неполно; в отличие от литературоведческих работ последних примерно 20–25 лет лингвистические упоминаются в небольшом числе и не всегда представителен отбор.

Но, разумеется, вся совокупность языковой и речевой реальности, о которой пишет Б.М. Гаспаров, в значительной части пока не поддается изучению. Как исследовать "текущую среду"? Позиция автора книги далека от крайностей постмодернистской науки, отказывающейся вообще от каких-либо объективных критериев. Он, в частности, против представления о «ничем не ограниченной субъективности каждого акта

языковой интерпретации и, как следствие этого, о возможности неограниченного числа возможных "прочтений" одного и того же текста и неограниченной степени несходства между отдельными такими прочтениями» (с. 293). Приводится любопытное наблюдение: постмодернистский анализ широко применяется при анализе художественных текстов, но избегает обыденной речи, где однозначность интерпретации слишком очевидна, чтобы можно было прибегать к "деконструкциям". Вывод: "Категорическое отрицание интегрированности и упорядоченности предмета исследования ведет не к освобождению от детерминизма, но – по известному принципу схождения крайностей – к новой негибкости и своего рода негативному детерминизму" (с. 35).

Итак, и в "текучем" "континууме" надо искать закономерности. Однако главный пафос Б.М. Гаспарова обращен против другой крайности, которую он видит у большинства лингвистов от александрийцев до Хомского. Подчеркивается, что представление языка "в виде рационально построенного концептуального объекта" не только "реально невыполнимо", но и не представляет собой "идеальную цель, к которой должны устремляться усилия исследователя" (с. 11). Процессы языковой деятельности "не имеют твердых, раз навсегда установленных правил" (с. 14). Идеи о принципиальной нечеткости, неструктурированности объекта лингвистики и о необходимости отражать это в исследовании постоянны в книге.

Тем самым задача автора осознанно противоречива: надо искать закономерности в принципиально нерегулярном и не поддающемся строгим правилам мире ассоциаций и цитаций. И Б.М. Гаспаров, в чем надо отдать ему должное, старается не ограничиться теоретическими декларациями, а дать примеры обращения с конкретным материалом на основе предложенных принципов. Этому посвящена большая часть книги.

Ограниченный объем рецензии не дает возможности сколько-нибудь полно и детально рассмотреть эти примеры. Отметим лишь, что автор, исходя из своего общего подхода, постоянно балансирует между Цициллой полного субъективизма и Харибдой установления нежелательных для него четких правил. Где-то он ближе к одной крайности, где-то к другой. С одной стороны, большое место в книге занимает интроспекция, прежде всего описание ассоциаций, возникающих в авторском сознании по тому или иному поводу. Например,

перечисляются приходящие автору на память высказывания, включающие словоформу *рук* (с. 87–88), описаны ассоциации, связанные со словом *трава* (с. 247–249), и последней главе книги подробно рассмотрены литературные и культурные ассоциации, приходящие автору на память в связи с теми или иными текстами. Все это само по себе любопытно, интересно для психолингвистики, но оценивать построения такого рода трудно и не очень продуктивно: Б.М. Гаспаров указывает, что это лишь его собственные представления, которые у носителя русского языка могут быть и совсем иными. Верность реальности явно не играет здесь решающей роли: ассоциации могут быть построены на реальном опыте, на достоверной информации, но также и на ложных сообщениях или на ошибках памяти. Например, анализ ассоциаций, связанных у Б.М. Гаспарова с телепередачей, на с. 332–333 основан во многом на информации о том, что марш "Прощание славянки" "ведет свое происхождение от русско-турецкой войны 1878 года", фактически неверной: марш появился позже, в начале XX в.

С другой стороны, нередко автор вынужден приходиться к тем же способам анализа, которые он отвергает. Например, его отрицание идеи семантического инварианта грамматических категорий производится на примере семантических различий между полными и краткими прилагательными в современном русском языке. Можно согласиться с Б.М. Гаспаровым в отношении того, что эта проблема плохо поддается решению в русистике, что существующие у В.В. Виноградова, А.В. Исаченко и др. попытки дать то или иное правило подтверждаются одним множеством примеров и опровергаются другим (разным для каждого из правил). И тут же Б.М. Гаспаров фактически дает иное, но однотипное общее правило: при употреблении полной формы "признак как бы растворяется в предмете как его неотъемлемая часть", в случае же краткой формы "мы активно приписываем данный признак данному предмету" (с. 227). Из этого инварианта выводятся частные случаи употребления той или иной формы. Не обсуждая сейчас удачность или неудачность конкретного описания, отметим, что Б.М. Гаспаров оказывается вынужден давать семантическое правило аналогичное тем, что он бракует в принципе.

Наконец, рассмотрим попытку Б.М. Гаспарова выделить некоторый элементарный "кирпич" языка – "коммуникативный фрагмент" (КФ). Это "отрезки речи различной длины, которые хранятся в памяти

говорящего в качестве стационарных частиц его языкового опыта и которыми он оперирует при создании и интерпретации высказываний" (с. 118). То есть это то, что в отечественной традиции называется "воспроизводимой единицей" в отличие от "производимой единицы". Новое здесь прежде всего в понимании границ этой единицы. Обычно воспроизводимая единица понимается как прежде всего слово, хотя возможны и воспроизводимые словосочетания (прежде всего фразеологизмы), и производимые слова. Но для Б.М. Гаспарова "чаще всего КФ представляет собой сочетание 2-4 словоформ" (с. 119), совпадение КФ и словоформы возможно, но это скорее исключение, чем правило. Автор исходит здесь из того, что наша речь в большей степени цитационна, чем это обычно представляется: КФ – это по сути цитаты, хотя в большинстве случаев их источник неизвестен. Что же касается словоформы, то объективность существования самой этой единицы, согласно Б.М. Гаспарову, сомнительна (если только она случайно не совпадает с КФ): слово – не кирпич, из которого строятся языковые "сооружения", оно "оказывается вторичным продуктом бесчисленных ассоциативных сопоставлений и речевых сшиваний языковых фрагментов, первично и непосредственно известных говорящему" (с. 206). То есть в результате рефлексии или даже бессознательно из КФ вычлениются повторяющиеся части.

Как нам кажется, Б.М. Гаспаров все же переоценивает цитационность речи, а его подход к слову не подтверждается ни первичностью этой единицы в любой лингвистической традиции, ни упомянутыми выше исследованиями афазий. Большие "телеграфным стилем" в основном говорят словоформами, хотя в их памяти в готовом виде

могут храниться и более протяженные единицы, не обязательно фразеологизмы.

Подход к КФ типичен для методики Б.М. Гаспарова. С одной стороны, подчеркивается, что составление инвентаря КФ невозможно: нет четких границ между КФ и другими единицами. И действительно, множество воспроизводимых единиц различно у разных носителей одного языка и у одного человека в разное время. С другой стороны, он пытается выделить объективные свойства КФ, способы их соединения в речи и пр., то есть так или иначе выходит в область "позитивистской" лингвистики.

Мы не имеем возможности рассмотреть все множество вопросов в очень емкой по проблематике книге Б.М. Гаспарова. Подводя итог, отметим, что сделанное в ней напоминание о том, какие из вопросов лингвистики не поддаются или плохо поддаются решению на основе существующих теорий и методов, очень своевременно и важно. Задача предложить некоторую "другую лингвистику" для их разрешения также заслуживает внимания. Однако подход автора к уже существующей лингвистике представляется нам слишком максималистским, а "другая лингвистика" пока что лишь намечена в некоторых пунктах и не всегда убеждает.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Алпатов В.М. 1983 – Предисловие // *Языкознание в Японии*. М., 1983.
Лурия А.Р. 1947 – *Травматическая афазия*. М., 1947.
Неверов С.В. 1982 – *Общественно-языковая практика современной Японии*. М., 1982.
Спивак Д.Л. 1986 – *Лингвистика измененных состояний сознания*. Л., 1986.

В.М. Алпатов

А.В. Бондарко. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии. Санкт-Петербург: Издательство С.-Петербургского университета. 1996. 219 с.

Книга А.В. Бондарко "Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии" замечательна тем, что в ней подводится краткий итог многолетним исследованиям автора в области русской грамматики и аспектологии и на этой основе выдвигаются новые идеи, являющиеся продолжением и развитием грамматической теории автора.

Научные труды А.В. Бондарко в целом и данную книгу в частности отличает

последовательность в развитии своей собственной концепции, базирующейся на русской лингвистической традиции, а также привлечение к обсуждению широкого круга отечественных и зарубежных лингвистических теорий и плюрализм в их оценке.

В предлагаемой рецензии мы сосредоточим внимание прежде всего на анализе решений фундаментальных проблем грамматической теории, поставленных в книге, –

языковой интерпретации картины мира, структуры грамматических категорий, проблемы соотношения значения и функции, интенциональности грамматических значений, категориальной семантики русского вида, выделения новой функционально-семантической категории временного порядка и некоторых других. При этом, по возможности, постараемся проследить эволюцию воззрений автора, а по поводу некоторых из названных проблем выскажем и свои собственные суждения, благо научный стиль и авторская манера А.В. Бондарко к этому располагает.

Книга делится на две части, посвященные соответственно проблемам грамматической семантики и русской аспектологии. Для грамматической концепции А.В. Бондарко в целом характерен так называемый "системоцентричный" подход к языку (противопоставляемый иногда антропоцентричному), т.е. исследование русского языка на основе теории научного познания с использованием системных методов естественных наук.

В первой главе ("Языковая интерпретация смыслового содержания") обсуждаются теоретические вопросы языкового представления "картины мира", межъязыкового сопоставления, неопозитивных различий в структуре грамматических единств и др.

Проблема соотношения смысловой основы и интерпретационного компонента грамматических значений была поставлена А.В. Бондарко еще в монографиях 70-х годов [Бондарко 1976; 1978]. Автор в языковом значении вычленил универсальную смысловую основу (СМ.ОСН.) и идиоэтнический интерпретационный компонент (ИНТ.КОМП.) как способ представления смысла, определяемый данной языковой формой. "СМ.ОСН. языковых значений и ИНТ.КОМП. — это разные аспекты единого целого" (с. 7). Соответственно "равнозначность синонимических конструкций возможна лишь как тождество смыслового содержания, но не как тождество значений", "поскольку каждая языковая единица включает в свое значение свойственный только ей интерпретационный компонент" (с. 9). При этом отмечается, что в некоторых случаях провести грань между двумя аспектами языковых значений крайне сложно (с. 7).

ИНТ.КОМП. в данной концепции непосредственно не связывается с принципом антропо- и этноцентризма (ср. с. 17), хотя, по сути дела, анализ конкретного материала строится на рассмотрении различных позиций говорящего и его восприятию обозначаемых ситуаций.

Должны отметить, что постулируемая

универсальность смысловой основы (с. 9), с нашей точки зрения, несколько противоречит признанию автором того, что "черты языкового отражения "психологии говорящего" имеют отношение и к СМ.ОСН. выражаемого содержания" (с. 17). Мы согласны с последним тезисом — дифференциальные элементы данной языковой картины мира (ЯКМ), отличающие ее от других ЯКМ, представлены не только ИНТ.КОМП., но и СМ.ОСН. языковых единиц, например модификационных дериватов типа русских глаголов *накупаться, нагуляться; доработаться, дошутиться до (неприятностей)*. Такие показатели, как типичность ряда смыслов и их частотные комбинации, следует также учитывать при сопоставлении ЯКМ.

В книге подчеркивается, что анализ соотношения СМ.ОСН. и ИНТ.КОМП. должен идти в двух направлениях: "а) от внешнего мира — через сознание и мышление — к языковым значениям и б) от языковых форм с их значениями к сознанию и мышлению", то есть традиционная «проблема "обратного воздействия" языка на мышление» (с. 17) по-прежнему в поле зрения автора. Последняя рассматривается в книге на материале семантики субъекта. Субъект, как источник (каузатор) неpassивного предикативного признака (с. 20), в известном смысле детерминирует предикативный признак, как бы "создавая" действие, а с ним и ситуацию в целом", причем детерминация может носить ярко выраженный интерпретационный характер (ср. *Он оступился; Соседи получили письмо*) (с. 20–21).

Рассматривая принципы межъязыкового сопоставления, автор приходит к выводу о необходимости «придерживаться такого "масштаба сопоставления", при котором принимаются во внимание все нюансы (до мельчайшего оттенка), отличающие один способ представления смысла от другого» (с. 26). Выполнить такое требование можно лишь при сопоставлении языков на уровне текста. А.В. Бондарко приводит пример, иллюстрирующий различия во фрагментах славянских языковых картин мира в связи с выражением смысла начала действия, выделяя в русском языке два типа начальности, определение которых представляется вполне исчерпывающим, — "смысловую" и "интерпретационную". Первая является необходимым элементом смысла высказывания и связана с коммуникативными намерениями говорящего (ср. *Снова начал курить*), вторая обусловлена характерными для русского языка нормами представления наступления факта в цепи последовательных завершённых фактов в прошлом (ср. ...*Он*

встал и решительно заходил по горнице. . . Потом остановился и... стал говорить). Как пример сопоставления разных типов начинательности в русском и других славянских языках приводится исследование Св. Иванчева [Иванчев 1961], считавшего, что в чешском языке в подобных повествовательных типах контекста ингрессивность также выражается, но только имплицитно глаголами несовершенного вида (с. 27–28). Наше сопоставительное исследование различных характеристик действия в славянских языках [Петрухина 1997] показало, что там, где в русском и болгарском языках ингрессивность нельзя выразить, в чешском языковом сознании этот смысл в большинстве случаев вообще не появляется. Здесь мы сталкиваемся с опасностью переноса элементов русской (или болгарской) ЯКМ на чешскую языковую картину, в которой при обозначении цепочки сменяющих друг друга действий в прошлом не только допускается, но и является обычным выделение одного из звеньев этой цепочки и представление его как процесса без актуализации временных границ.

Вновь возвращаясь к проблеме оппозитивных и неопозитивных различий в структуре грамматических категорий (ср. [Бондарко 1981]), автор связывает ее с закономерностями естественной классификации. Последняя характеризуется возможными отклонениями от единого основания членения и вытекающей отсюда неполной однородностью семантических признаков, присущих компонентам категории, т.е. полевой структурой и связанной с этим возможностью пересечения классов (с. 38, 42), ср. также [Бондарко 1984а: 32].

В дальнейшем при анализе конкретного языкового материала в книге применяются положения как классической, так и естественной (когнитивной) теории категоризации. Последняя позволяет в языковой непоследовательности увидеть определенные закономерности, соответствующие законам человеческого восприятия и психики. В частности, автор признает и в своих работах использует три типа описания грамматических значений на основе: 1) общего, или инвариантного значения, охватывающего все частные значения и типы употребления; 2) основного, выделяемого на фоне ряда периферийных значений; 3) комплекса отдельных значений (с. 99). Первый, по нашему мнению, соотносится с классическим принципом категоризации явлений, согласно которому члены выделяемой категории должны быть равноправными и характеризующимися категориаль-

ными признаками в равной степени. Второй ближе прототипическому подходу к категоризации, связанному с выделением среди членов категории "лучших" образцов – прототипов, реализующих все признаки данной категории, и таких членов категории, которые воплощают ее признаки далеко не в полном объеме. В третьем можно искать аналогию с принципом "фамильного сходства" членов естественных категорий [Лаккофф 1996; КСКТ 1996: 140–145].

А.В. Бондарко в одной из своих последних статей (вслед за В.Г. Адмони) подчеркивает, что полевую структуру имеют не только функционально-семантические, но и морфологические категории, где также выделяется центр, наиболее последовательно выражающий обобщенное значение категории, и периферия, представляющая его неполно. При таком, по нашему мнению, чрезвычайно плодотворном подходе к анализу грамматических категорий "само понятие абсолютного инварианта становится в известной степени относительным" [Бондарко 1996а: 15]. Но при анализе категории вида в рассматриваемой монографии ("Часть II. Проблемы русской аспектологии") автор последовательно применяет лишь принципы классической категоризации, выделяя общие (инвариантные) видовые значения, охватывающие "все типы употребления грамматической формы" (с. 100).

Мы считаем, что инвариантный и прототипический принципы, представляющие соответственно принципы структурирования классических и естественных категорий, не противоречат друг другу и при анализе категории вида могут быть совмещены: инвариантный признак совершенного (СВ) или несовершенного вида (НСВ) в различных лексических группах глаголов проявляется с разной степенью последовательности и отчетливости. Прототипическими являются предельные (трансформативные) и мгновенные глаголы СВ, не сочетающиеся с показателями неограниченной продолжительности действия типа *долго* – такие, как *закончить, сделать, дать, взять, прыгнуть*. Некоторые глаголы СВ могут употребляться с обстоятельствами типа *долго, два часа*, проявляя в данной сочетаемости сходство с глаголами НСВ. Это, во-первых, длительно-ограничительные дериваты с приставками *по-, про-, сидеть – посидеть полчаса; сидеть – просидеть долго (в приемной)*], а также некоторые другие дериваты типа *засидеться*; во-вторых, выражающие идею временной длительности в корне глагола типа *провес-*

ти два месяца (в деревне), недолго подождать [Всеволодова 1990]. С учетом данной сочетаемости такие глаголы можно рассматривать как периферийные глаголы СВ. Конечно, все глаголы СВ в русском языке объединяют жесткая несочетаемость с фазовыми глаголами и определенности закономерности образования форм времени. Непрототипическими можно считать глаголы НСВ, не способные обозначать актуальный процесс, типа *съесть*, *прочитать*, *вырастать*, которые Св. Иванчев называл семантическими перфективами [Иванчев 1971] (их особенно много в болгарском языке; например: *направлям*, *написвам*, *посеждам*).

Таким образом, для классов глаголов СВ и НСВ как для естественных категорий характерно семантическое и функциональное сближение. Его проявлением служат, на наш взгляд, также колебание в определении вида некоторых глаголов в отдельных славянских языках, например, типа *nastát se* в чешском языке; наличие двувидовых глаголов, имеющих во всех славянских языках.

Понятие наиболее типичных представителей СВ или НСВ (прототипов) не снимает вопроса о поиске инварианта совершенного и несовершенного вида – того семантического признака, который наиболее последовательно реализуется у всех глаголов одного вида и лежит в основе выделения самой категории вида (см. ниже).

Вернемся к теоретическим вопросам первой части книги. Большое внимание автор уделяет важному для его концепции понятию функции, стремясь "развить тенденции, намеченные в разрабатываемой... модели функциональной грамматики" (с. 44). Аргументируя свое понимание соотношения семантических функций и значений языковых единиц, автор подчеркивает, что речь идет о разных аспектах интерпретации их содержательной стороны – соответственно функционально-речевом и системно-языковом. С нашей точки зрения, если исходить из денотативной (в другой терминологии референтной, репрезентативной, когнитивной) функции языка как одного из основных его назначений, то включение в систему функций языковых единиц особой семантической функции, лежащей в основе взаимодействия разноуровневых языковых элементов, представляется вполне закономерным и логичным. Не исключая использование данного термина и по отношению к категориальному содержанию языковой формы, автор тем не менее отмечает, что "как функции чаще всего интерпретируются элементы

содержания, реально выражаемого в речи, а не внутриязыковые значения" (с. 48). При менение понятий значения и функции по отношению к конкретному употреблению грамматической формы "позволяет представить содержание языковых единиц в разных аспектах и связях" (с. 49).

Для авторской концепции функциональной грамматики большое значение имеют положения теории научного познания о взаимодействии системы и среды (с. 49–59, 109–114), что, с нашей точки зрения, позволяет углубить изучение взаимодействия грамматической формы и внешнего и внутреннего контекста, выявить различные типы такого взаимодействия, в частности активное (например, для СВ) и реактивное (для НСВ) (с. 113).

А.В. Бондарко продолжает исследование проблемы интенциональности в грамматике [Бондарко 1994], которая привлекала внимание многих отечественных и зарубежных лингвистов (глава III "Интенциональность грамматических значений"). На конкретном языковом материале он показывает, что для многих концептов, выражаемых в русском языке грамматически, в силу их обязательности, характерна интеллектуальная неосознанность и автоматизм употребления, что, несомненно, придает данным значениям особый психологический статус. Важным представляется проводимый в книге анализ интенциональности с точки зрения межкатегориального взаимодействия. "Интенциональные функции – это не изолированные назначения отдельных грамматических категорий, а семантические комплексы, включающие элементы разных категорий" (с. 65). Так, часто мотивацией к употреблению видов является не собственно видовые значения, а видо-временные. Введенное понятие степени интенциональности (с. 67) позволяет выявить и описать различные условия и характер формализации употребления грамматических форм. Отметим, что особенностью русского языка выступает "втягивание" в область формализации и сниженной интенциональности некоторых глагольных дериватов, в частности упомянутых выше глаголов с приставкой *за-*, связанных, как и другие способы действия, с грамматической категорией вида.

Глава IV "К истории вопроса о представлении мыслительного содержания в языковых значениях" посвящена анализу концепций К.С. Аксакова, А.А. Потебни и Э. Кошмидера, многие идеи которых получили свое дальнейшее развитие в трудах А.В. Бондарко.

Большая часть книги освещает проблемы русской аспектологии (главы V–VII). Категориальное значение СВ здесь, как и в других работах автора 80–90-х годов, определяется при помощи "двупризнакового бинама", состоящего из признаков целостности (Ц) и ограниченности действия пределом (ОГР) (глава V "Категориальные значения видовых форм"). Но, в отличие от прежних исследований, здесь признается приоритет признака ОГР (с. 104–105). Ограниченность действия пределом связывается не просто с временной границей действия, а с исчерпанностью действия (в данном его представлении) (с. 103), например, у начинательных глаголов СВ ограничена пределом и представлена как исчерпанная начальная фаза действия (с. 103–104). Убедительным считаем вывод о грамматикализации предельности в русском языке, при которой «заклученный в значении СВ признак ограниченности действия пределом выходит далеко за рамки видовых пар, выражающих соотношение "направленность – достижение", распространяясь на все глаголы СВ» (с. 129).

Анализу соотношения глагольного вида и семантического признака предельности посвящена шестая глава ("Глагольный вид и предельность"), в которой автор, подытожив всестороннее изучение данной проблемы в более ранних работах [Бондарко 1986; 1991], углубляется в исследование тендентивной / нетендентивной предельности. Заметим, что использование одного и того же термина ("предельность") для разных, хотя и взаимосвязанных сущностей – грамматической и лексико-грамматической семантики глаголов – иногда затрудняет понимание сложного механизма их взаимодействия. Наш взгляд, было бы целесообразнее "развести" терминологически предельность лексическую, отражающую денотативные свойства ситуации, и предельность грамматическую, представляющую особый, грамматический уровень категоризации действия с точки зрения его протекания во времени (лексико-грамматическую предельность предлагаем обозначать как терминативность).

Мы не совсем согласны с трактовкой нетендентивной предельности (P_2) в ее имплицитном варианте, выражаемой НСВ (с. 133–134). Среди типов ситуаций, для которых характерно данное значение, А.В. Бондарко рассматривает и настоящее историческое, сценическое, настоящее репортажа и под. (ср., например, *...Якин переходит на правую половину поля... и вот уже*

атаку начинает Шалимов.). Возражение вызывает не это утверждение, а следующее обобщение: "В ситуациях указанных типов НСВ выступает в непроцессных функциях. Исключение процессности – одно из свидетельств P_2 " (с. 134). Здесь не совсем ясно, связывает ли автор имплицитную P_2 с определенной семантической группой глаголов или также с определенными типами употребления НСВ, например в настоящем историческом. По нашему мнению, имплицитное выражение конечной границы действия (его завершенности, исчерпанности) может сочетаться с актуализацией срединных моментов протекания действия, но только в том случае, если глагол НСВ в принципе способен выражать процессуальное значение. В русском языке условия для этого создает временной план настоящего исторического и сценического, а также репортажного; в других славянских языках, например чешском и словацком, процессуальность и длительность отдельного действия может быть актуализирована при выражении повторяющихся действий [Петрухина 1997]. По отношению к настоящему историческому, очевидно, можно говорить о транспозиции не только значения настоящего времени, но и аспектуального значения процессуальности, т.е. о транспозиции видо-временного значения настоящего актуального. Несовместимость имплицитной нетендентивной предельности со значением процессуальности характеризует лишь определенный круг глаголов НСВ, не способных обозначать действие в процессе его протекания (отметим, что в примерах, приводимых А.В. Бондарко преобладают именно такие глаголы: *кидаются, назначают, узнает, 'начинает'*).

Изучение аспектуальной семантики в высказывании и тексте приводит А.В. Бондарко к необходимости перейти от абстрактных признаков целостности (Ц) и ограниченности действия пределом (ОГР) к более конкретному и "психологически осязаемому" признаку – 'возникновение новой ситуации' (ВНС) [Бондарко 1993], который рассматривается как "проявление последствий предела" на уровне высказывания (с. 138) (глава VII "Аспектуальная семантика в высказывании: признак "возникновение новой ситуации"). Таким образом, системные (Ц и ОГР) и функциональные (ВНС) признаки отражают "разные стороны видовой семантики" (с. 138).

По нашему мнению, они представляют разные стороны одного и того же концепта – границы действия во времени (или границы восприятия действия), которая

может рассматриваться как со стороны самого действия (ср. 'предел' в разных его интерпретациях), так и "снаружи", с точки зрения отношения данного действия с другими, смежными во времени ситуациями (ср. 'начать', 'ВНС', 'изменение', 'сск-вентная, т.е. синтагматически обусловленная, связь').

Однако между системной и функциональной характеристикой сущности СВ есть принципиальное различие, на которое обращает внимание в книге А.В. Бондарко: системный признак (или признаки) обязательен для выражения при любом употреблении глаголов СВ, тогда как ВНС в ряде случаев может не выражаться. В частности, глаголы СВ способны обозначать сохранение "на некоторое время той ситуации, которая наличествует в данный момент", хотя действие воспринимается как ограниченное во времени, ср.: *Саша хочет еще пожить вне дома* (с. 154).

Последняя VIII глава ("Категория временного порядка") отражает опыт выделения и описания еще одной функционально-семантической категории, разработкой которой А.В. Бондарко занимается уже несколько лет [Бондарко 1996б], – категории временного порядка, реализующей текстовое время, т.е. "отражаемое в высказывании и целостном тексте языковое представление "времени в событиях..." (с. 167).

В этой категории представлена одна из когнитивных моделей времени как системы отношений между изменяющимися или неизменными объектами, восходящая к Аристотелю и его последователям. При разработке функционально-семантической категории временного порядка автор использует некоторые термины и определения Г. Рейхенбаха.

Выделение такой категории представляется нам вполне обоснованным: в текстах на естественных языках реализуется не только дейктическое (*прошлое – настоящее – будущее*), но и событийное (*раньше – позже*) представление времени. При этом вполне логично обращение к новой, более общей категории, чем категория таксиса, хотя речь идет о том же самом способе временного шкалирования – *раньше – (одновременно) – позже*. Таксисные отношения между действиями, по определению, принятому в "Теории функциональной грамматики", реализуется лишь в рамках одного временного плана [Бондарко 1984б: 72–74; 1987: 237–238], т.е. речь идет о так называемых контактных действиях, при выражении которых и может быть

реализована синтаксическая функция вида [Barnetová 1968]. Категория же временного порядка выходит за рамки контактных действий и полипредикативных конструкций в текст.

Выбранное название для новой категории – "временной порядок" – как бы подчеркивает, что "это как бы застывшая шкала "уже происшедшего", на которой "события располагаются в неизменном порядке" [Кандрашина и др. 1989: 66], тогда как события на дейктической шкале *прошлое – настоящее – будущее* все время меняют свое местоположение и, не реализовавшись в настоящем, исчезают со шкалы. Но, с нашей точки зрения, при описании данной категории большего внимания требует учет позиции говорящего и его субъективного восприятия событий, которое может усложнить текстовое представление их последовательности (ср. "мифологическое время", "эпическое время" и под.).

Категорию временного порядка можно было бы рассматривать как некую общую категорию, иерархически более высокую, чем другие функционально-семантические временные категории (темпоральности, аспектуальности, временной локализованности / нелокализованности и таксиса). Временной порядок, по сути дела, отражает результат взаимодействия названных категорий на шкале "раньше – позже". Время здесь представлено как мера движения (в широком смысле этого слова) и изменения, что соответствует когнитивному динамическому представлению о времени как о всепорождающей и всеуничтожающей сущности в предметном мире.

Заметим, что в языке находит отражение и модель статического времени, которая реализуется в мире идей, – сформулированные законы, правила, обобщения социального опыта в пословицах, поговорках, научные рассуждения характеризуются вневременностью, не отражая течения времени. Ср. у А.В. Бондарко: в случаях типа *Волка ноги кормят; Рука руку моет* "в высказывании нет элементов, которые бы указывали на какую-либо разновидность временного порядка" (с. 193).

В заключение хотим подчеркнуть, что книга "Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии" дает достаточно полное представление о грамматической концепции А.В. Бондарко, которая, являясь органичным развитием русской лингвистической мысли, характеризуется постоянным обновлением теоретического аппарата исследования языкового материала в

соответствии с новыми парадигмами научного знания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Бондарко А.В.* 1976 – Теория морфологических категорий. М., 1976.
- Бондарко А.В.* 1978 – Грамматическое значение и смысл. Л., 1978.
- Бондарко А.В.* 1981 – О структуре грамматических категорий (Отношения оппозиции и неоппозитивного различия) // ВЯ. № 6. 1981.
- Бондарко А.В.* 1984а. – О системно-структурной организации грамматических категорий слова // Слово в грамматике и словаре. М., 1984.
- Бондарко А.В.* 1984б. – Функциональная грамматика. М., 1984.
- Бондарко А.В.* 1986 – Семантика предела // ВЯ. 1986. № 1.
- Бондарко А.В.* 1987 – Аспектуальность // Теория функциональной грамматики: Введение. Аспектуальность. Временная локализованность. Таксис. Л., 1987.
- Бондарко А.В.* 1991 – Предельность и глагольный вид (на материале русского языка // ИАН СЛЯ. 1991. № 3.
- Бондарко А.В.* 1992 – К проблеме соотношения универсальных и идиоэтнических аспектов семантики: интерпретационный компонент грамматических значений // ВЯ. № 3. 1992.
- Бондарко А.В.* 1993 – Глагольный вид в высказывании: признак 'возникновение новой ситуации' // R.Ling. 1993. V. 16.
- Бондарко А.В.* 1994 – К проблеме интенциональности в грамматике (на материале русского языка) // ВЯ. 1994. № 2.

- Бондарко А.В.* 1996а – Теория инвариантности Р.О. Якобсона и вопрос об общих значениях грамматических форм // ВЯ. 1996. № 4.
- Бондарко А.В.* 1996б – Категория временного порядка и функция глагольных форм вида и времени в высказывании (на материале русского языка) // Межкатегориальные связи в грамматике. С.-Петербург, 1996.
- Всеволодова М.В.* 1990 – К вопросу о семном составе славянского глагольного вида // Проблемы сопоставительной грамматики славянских языков. М., 1990.
- Иванчев Св* 1961 – Контекстово обусловлена ингрессивна употреба на глаголите от несвършен вид в чешкия език // Годяшник на Софийския университет. Филологически факултет. LXV. 1959/1960. Кн. 3. София, 1961.
- Иванчев Св* 1971 – Проблеми на аспектиалността в славянските езици. София, 1971.
- Кандрашина Е.Ю. и др.* 1982 – *Кандрашина Е.Ю., Литвинцева Л.В., Поспелов Д.А.* Представление знаний о времени и пространстве в интеллектуальных системах. М., 1982.
- КСКТ 1996 – Краткий словарь когнитивных терминов / Под ред. Е.С. Кубряковой. М., 1996.
- Лакофф Дж.* 1996 – Когнитивная семантика // Язык и интеллект. М., 1996.
- Петрухина Е.В.* 1997 – Аспектуальная категоризация действий в русском языке в сопоставлении с некоторыми другими славянскими языками (вид и фазисно-временные способы действия). Автореф. дис. ... док. филол. наук. М., 1997.
- Barnetová V.* 1968 – К syntaktické funkci slovesného vidu // Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české. III. O ruském slovese. Praha, 1968.

Е.В. Петрухина

Р.К. Потапова Речь: коммуникация, информация, кибернетика. М., Радио и связь. 1997. 527 с.

Распознавание устной речи, ввод текста в компьютер с помощью воспринимающих речь устройств, автоматическое чтение текста и другие сложные современные задачи сейчас становятся в центре внимания как ученых-теоретиков, так и практиков, работающих на ниве компьютеризации и информатизации современного общества. Появление новых основополагающих работ в этой области чрезвычайно важно как для собственно научных исследований, так и для преподавания соответствующих дисциплин в вузах.

Рецензируемая монография задумана как учебное пособие для студентов по специальности «Автоматизированные системы обработки информации и управления», «Линг-

вистика». Однако эта монография интересна также и специалистам, работающим в данной области.

Книга состоит из одиннадцати глав, образующих три части, имеется словарь терминов прикладной лингвистики. Во введении говорится, что обычно в работах, посвященных проблемам речи, генетический аспект ограничивается описанием органов речеобразования и слуха, при этом данные, как правило, отражают статику речеобразования. Задача заключается в том, чтобы переместить центр тяжести описания со статики на динамику. Речевая коммуникация понимается как процесс взаимного обмена сообщениями между динамическими системами. Автор обосновывает целе-

сообразность введения новой отрасли науки и техники — лингвокибернетики — и ее раздела — речевой кибернетики. Базовым понятием лингвокибернетики является естественный языковой код при условии полиарусного рассмотрения его функционирования. В книге рассматриваются новые поколения автоматизированных распознающих речь систем.

Часть I «Речевая коммуникация» открывается первой главой «Речевая коммуникация как объект эволюционного подхода в речеведении». Автор указывает на относительно поздно возникшие свойства языка — кодирование и декодирование устной речи. Акустический речевой сигнал, по мнению Р.К. Потаповой, не делится на сегменты, соответствующие буквам: характеристики отдельных звуков при речеобразовании «сплюсываются» в пределах слога. Процесс фонетического кодирования приводит к временной компрессии речи: акустические «ключи» к начальным и конечным согласным содержатся в переходах от звука к звуку. При восприятии мозг декодирует акустический сигнал с помощью каких-либо дискретных единиц (слов, слогов и пр.). Еще одно свойство языка — синтаксическое кодирование и декодирование. Синтаксис в данном случае образует сходство с фонетикой: несколько простых предложений глубинной структуры преобразуются в одно сложное на основе трансформационных правил. Наиболее ранний фактор эволюции речи — познавательные (когнитивные) способности. Высказываемое иногда мнение о произвольности набора звуков, используемых в языке, ошибочно. Этот набор ограничен, и в нем имеется базисная часть, которая присутствует почти во всех языках.

Глава вторая, «Специфика речевой артикуляции в процессе речеобразования», содержит анализ слитной речи в коммуникации, описание общего подхода к временному структурированию речевого высказывания, эффекта коартикуляции в речеобразовании. Одной из классических проблем при экспериментальном изучении речи является выбор максимально информативных параметров, подлежащих измерению. Такие параметры должны соответствовать теоретически значимым факторам для нормальной и патологической речи. Они также должны быть воспроизводимы как для одного говорящего, так и для разных. Для того, чтобы акустический сигнал мог быть не только воспринят, но и структурирован при передаче лингвистической информации, необходимо контролировать и координировать работу органов артикуляции. В

процессе речеобразования артикуляторные жесты и позиции разных фонетических сегментов накладываются друг на друга. Степень наложения во многом определяется скоростью процесса говорения. Изменение темпа речи можно использовать для выявления и предсказания особенностей временного структурирования речевого высказывания, что особенно важно для решения различных коммуникативных задач прикладного характера. Другие главы этой части: глава 3 — «Основные аспекты процесса речевосприятия и понимания при коммуникации» и глава 4 — «Соотношение звучащей речи и языковой структуры в акте коммуникации».

Часть II. «Речевая информация» содержит три главы. Глава пятая, «Фонологическая морфологическая информация, содержащаяся в речевом сообщении», посвящена факторам, влияющим на речевой сигнал. Автор указывает, что ингерентная вариативность речевого сигнала может быть обусловлена двумя причинами, зависящими от типов текстов и диктора. Каждый диктор имеет индивидуальный темп, громкость и высоту тона высказывания. Общее эмоциональное состояние диктора также оказывает влияние на речевой сигнал. Под ингерентными факторами, зависящими от текста, понимают фактор коммуникативного типа высказывания, и также факторы смысловой нагрузки, синтаксического членения высказывания и пр. В плане артикуляции минимальным линейно неделимым отрезком речи является слог. В шестой главе, «Синтаксико-семантическая и прагматическая информация в речевом высказывании», рассматриваются типы взаимодействий информативных языковых единиц внутри и на стыке синтагм, комплексная языковая информация и прагматические аспекты информационной загруженности в коммуникации. Седьмая глава — «Акустико-фонетическая информация и методы ее извлечения из речевого сигнала».

Часть III — «Речевая кибернетика». Во введении говорится, что имеющиеся в настоящее время способы микросегментации речи (сегментации на субзвуки, звуки, слоги) можно классифицировать следующим образом: 1) использование степени стабильности во времени каких-либо акустических параметров речевого сигнала, таких как концентрация энергии в частотном спектре, 2) наложение акустических меток на речевой сигнал через регулярно повторяющиеся короткие интервалы; 3) сравнение выборки речевого сигнала в коротких

временных окнах при регулярных интервалах с выборками из фонем-прототипов. Различаются контекстно-зависимые и контекстно-независимые методы сегментации. Для решения проблемы сегментации звучащей речи большое значение имеет обращение к слугу.

В главе 8 «Единицы сегментно-звукового уровня в системах автоматического распознавания речи» рассматриваются два подхода к автоматическому распознаванию речи. Ранее полагали, что изучение методов построения простых распознающих систем приведет естественным путем к более сложным системам. В 50-е годы были построены системы с обнадеживающими характеристиками для распознавания гласных и распознавания цифр. Однако эти методы и результаты не могли быть распространены и экстраполированы на более сложные системы. Стало ясно, что для создания стратегии распознавания должны быть привлечены лингвистические и контекстуальные данные. По мнению некоторых исследователей, бесперспективно строить систему, понимающую речь, по принципу сравнения с заложенным в память машины множеством эталонных конструкций. Предлагается использовать механизм «человеческого» тела. Распознающая система в этом случае распознает не отдельные слова и предложения, а извлекает значения из высказываний. Такая система функционирует как система блоков. Базисным блоком является акустико-фонетический процессор, который дает дискретное описание речевой волны; блок грамматического анализатора координирует свою работу с синтаксическим и семантическим компонентами.

Глава 9, «Анализ просодических характеристик в системах автоматического распознавания речи», содержит детальный анализ связи просодических характеристик с семантикой. Наиболее эффективным просодическим параметром является частота основного тона. Она имеет специфические контуры, связанные с прагматическим значением или намерением говорящего. Каждый из просодических параметров извлекается в результате довольно сложного анализа. Используемые источники знаний, в которых применяется просодическая информация, зависят от возможности точного извлечения просодических признаков из речевого сигнала. Сегментация каждого неизвестного речевого высказывания начинается с задания для каждого речевого фрейма вектора признаков. Для каждого класса находится произведение соответствующего весового вектора и вектора

признаков, что дает в результате три скалярные величины, которые и представляют каждый из речевых классов.

В главе 10, «Преобразование текст-речь в автоматизированных системах» рассматриваются вопросы развития систем, синтезирующих речь, акустические свойства фонетических сегментов, используемые в синтезе речи, некоторые подходы к синтезу по правилам, высшие языковые уровни в синтезе речи, преимущества и недостатки различных методов синтеза речи. В современных усовершенствованных моделях голосового тракта большое внимание уделяется включению в модель звеньев, определяющих потери, зависящие от частоты, учету движения стенки полости рта при низких частотах, а также более точному моделированию меняющегося во времени сопротивления нагрузки полости рта. Еще один подход к моделированию вибрации голосовых связок привел к созданию трехмерной структуры, состоящей из множества соединенных между собою масс. Эти модели позволяют получить более сложные виды вибрации и даже имитировать некоторые виды отклонений. Тем не менее, ни в одной из физиологических моделей не найдено удовлетворительного решения, которое позволило бы смоделировать то, что происходит, когда голосовые связки смыкаются на средней линии и несколько деформируются во время поглощения энергии при столкновениях.

В настоящее время нет еще сложных артикуляторных моделей, в которых точные акустические аспекты смогли бы дать естественное звучание.

Относительно моделей синтезаторов речи можно сформулировать четыре основных вывода: 1) современные формантные синтезаторы самых различных конфигураций способны имитировать, и весьма успешно, многие мужские голоса; 2) некоторые упрощения, наблюдаемые в формантных синтезаторах, приводят к неудовлетворительным результатам при имитации гласных звуков высокого тона, произносимых с придыханием, которые часто встречаются рядом с глухими согласными в речи женщин и детей; 3) анализ по методу линейного предсказания через синтез является весьма действенным способом имитации высказываний с высокой точностью воспроизведения, однако его использование для синтеза текста в общем случае является ограниченным; 4) по всей видимости, артикуляторная модель будет окончательным решением проблемы синтеза разборчивой речи с помощью машин, однако вычислительные

затраты и отсутствие данных, необходимых для синтеза по правилам, не дают возможности достаточно широко реализовать эту модель в настоящее время.

Предложение нельзя синтезировать выстраивая линейную последовательность морфем или слов. Для того, чтобы предложение звучало разборчиво и более-менее естественно, необходимо правильно определить длительность звучания, интонацию и варианты аллофонов. Просодическая информация также помогает слушателю разделить акустический поток на слова и фразы.

Просодию можно охарактеризовать в терминах физики через интенсивность, длительность и частоту основного тона. Эти характеристики воспринимаются как громкость, долгота и высота тона. Изменение этих просодических характеристик содержит лингвистически важную информацию.

Устройства преобразования текста в речь применяются в самых разных областях. Синтезирующие речь устройства не настолько хороши, чтобы заменить речь человека, но они могут быть эффективны, если входят в систему, предоставляющую некоторые новые виды услуг, как, например, в телефонии; при неизменной стоимости может работать большее число телефонных линий. В настоящее время в системах, использующих телефонный канал, есть ограничение: компьютер не умеет слышать так же хорошо, как и говорить. Работы в области распознавания речи несколько отстают от работ по синтезу речи, в особенности от синтеза по правилам.

Глава 11, «Новые речевые технологии в автоматизированных системах», содержит описание современного состояния проблемы и формулировку перспективных задач. При достижении определенного уровня компьютеризации современного общества возникает объективное требование создания удобного и естественного интерфейса между человеком и компьютером. Центральной задачей в области разработки речевых информационных технологий является создание систем автоматического распознавания и понимания речи и систем синтеза речи.

Для наиболее мощных современных лабораторных (экспериментальных) систем автоматического распознавания речи характерны следующие параметры:

- 1) Режим работы – распознавание слитно произнесенных фраз;
- 2) Словарь системы – одна тысяча и более слов естественного языка;
- 3) Точность распознавания слов – не ниже 95–96%; предполагается предварительная

настройка алгоритмов системы к голосу диктора по специально подобранным паролльным фразам.

На смену доминировавшей в 70-х и начале 80-х годов технике распознавания через сравнение образцов с эталонами с помощью метода динамического программирования пришла техника представления речевого сигнала в виде скрытого марковского случайного процесса. Переход к использованию скрытых марковских моделей позволил более компактно представлять эталонные единицы в памяти компьютера путем задания их вероятностного распределения. Это в свою очередь дало возможность создавать многодикторские системы распознавания, оперирующие словарями свыше 1000 слов. Практически все современные системы распознавания речи, обладающие достаточно мощными характеристиками (объем словаря – 1000 и более слов, многодикторские или обладающие возможностями быстрой адаптации к диктору) выполнены на основе моделирования речевого сигнала скрытым марковским процессом. Эта техника сейчас безусловно доминирует среди остальных подходов. Можно заметить, что данный статистический подход также оказался весьма актуальным и при машинном переводе: в настоящее время ряд систем множественного (при участии нескольких языков) машинного перевода строится с использованием марковской модели статистического процесса.

Использование техники представления речевого сигнала в виде скрытого марковского процесса предполагает выбор базовых единиц (как правило, лингвистических), для которых будут строиться модели. Вследствие большого объема словаря в качестве таких единиц выступают мелкие элементы речевого потока: фонемы или аллофоны, реже – дифоны. Речевые (или фонетические) базы данных также являются новым элементом в речевых технологиях, отсутствовавших в 70-х и 80-х годах. Именно появление техники моделирования речевого сигнала скрытым марковским процессом, которая подразумевает стохастическую природу сигнала, повлекло за собой необходимость создания специальных баз данных. Основное назначение фонетических баз данных – давать информацию о распределении параметров моделей звуковых единиц, необходимую для настройки и подгонки параметров, а также для тестирования (оценки точности) работы систем распознавания.

Когда системе не представляют какой либо контекстной, семантической, прикладной

тической или синтаксической информации, то существующие методы распознавания речи дают возможность работать со словарем порядка 200 слов. Системы же понимания речи, в которые введены синтаксические и семантические ограничения, могут успешно работать со словарем, включающим уже около 1000 слов. Однако простое увеличение вычислительных возможностей и памяти не может сделать современные методы распознавания пригодными для работы со словарем большого объема (например, свыше 1000 слов).

В «Заключении» говорится, что большие успехи предвещают современные научные исследования в области создания оцувствленных роботов с адаптивными свойствами и элементами искусственного интеллекта. Так называемые интеллектуальные роботы обладают мышлением, зрением, слухом, речью, обонянием, осязанием. В настоящее время активно разрабатывается проблема

робота, способного работать во взаимодействии с человеком, сообразуясь с окружающими условиями. Эта проблема неразрывно связана с созданием искусственного интеллекта, способного обучаться на основе собственного опыта и использовать полученные знания в процессе самостоятельной работы при утере связи с оператором. Новые задачи, поставленные перед теорией искусственного интеллекта и робототехникой, прежде всего связаны с необходимостью работать с реальными объектами реального мира, а не только с абстракциями и математическими моделями.

Оценивая рецензируемую работу в целом, можно отметить, что вузовская наука получила новое весьма актуальное пособие в чрезвычайно перспективной области знания.

Ю.Н. Марчук

S. Koester-Thoma, E.A. Zemskaja (Hrsg.) Russische Umgangssprache. Phonetik, Morphologie, Syntax, Wortbildung, Wortstellung, Lexik, Nomination, Sprachspiel. "Dieter Lenz Verlag". Berlin. 1995. 306 S.

Вопросы русского разговорного языка в последнее время все больше привлекают интерес языковедов, чему, без сомнения, способствовали фундаментальные работы Е.А. Земской. Среди немецких славистов этой проблематикой уже много лет занимается З. Кестер-Тома. Словарь, который она издала вместе с Е. Ром (Koester S., Rom E. *Worterbuch der modernen russischen Umgangssprache. Russisch-Deutsch. Munchen, 1985*), положил начало этим исследованиям в Германии.

Рецензируемая книга удовлетворяет широкий интерес к русскому разговорному языку не только в рамках славистики. Она рассчитана также на германистов, англистов, романистов и других филологов, интересующихся этой проблемой, но не владеющих достаточно русским языком, чтобы читать на нем научные публикации. Рассматриваемая книга – коллективная работа восьми известных ученых, которые являются авторами ряда научных статей и монографий по русскому разговорному языку (см. список литературы в книге). Кроме Е.А. Земской и З. Кестер-Тома отдельные главы написаны Н.Н. Розановой, Е.Н. Щиряевым, П. Адамцем, Е.В. Крайильниковой, М.Я. Гловинской и Л.А. Капанадзе. Главы образуют одно целое и обеспечивают многостороннее описание системы русского разговорного языка, несмотр-

ря на то, что каждая из них отличается определенной самостоятельностью (написаны разными авторами). Это привело к некоторым повторам, что, однако, не снижает положительной оценки книги.

В главе 1 "Теоретические предпосылки исследования русского разговорного языка" (с. 15–35) Е.А. Земская (автор 4 из 11 глав книги) излагает теоретические предпосылки и позиции исследования русского разговорного языка, и таким образом, определяет главные направления книги. В этой главе обсуждаются также такие центральные вопросы, как отношение русского разговорного языка к устной речи, противоположные тенденции, определяющие строение русского разговорного языка и др.

Глава 2 "К системе русского разговорного языка" (с. 3–62) тоже написана Е.А. Земской. Автор высказывает мнение, что русский разговорный язык является системой, которая отличается большой регулярностью и располагает собственными средствами и конструкциями, отсутствующими в кодифицированном стандартном языке (КЛЯ) или имеющими там только периферийное место; несмотря на это, в русском разговорном языке наблюдается определенная гетерогенность и большая вариативность. Автор отграничивает русский разговорный язык как систему от сни-

женного стиля литературного языка. В обеих главах Е.А. Земская рассматривает сложные и спорные теоретические проблемы. Но тем не менее надо подчеркнуть, что главы написаны доступно и понятно.

Глава 3 "Фонетика" (с. 63–94) с подзаголовком "Соотношение сегментальных и супraseгментальных единиц" написана Н.Н. Розановой. Трудности описания разговорной фонетики состоят в большом разнообразии возможных фонетических реализаций слов и высказываний, вызванном ослаблением артикуляции. Автор ставит в центр описания основные особенности позиции высказывания. Различаются семь фразовых позиций и тем самым создается модель фонетического преобразования слов в разговорном языке по сравнению с произношением в КЛЯ. Эта модель позволяет систематизировать и классифицировать многообразные варианты разговорного произношения. Автор подробно описывает фразовые позиции, привлекая много наглядных и убедительных примеров.

Автор главы 4 "Синтаксис" (с. 97–125) – Е.Н. Ширяев. Опираясь на большое количество работ по русскому разговорному синтаксису, автор поставил себе цель систематически описать специфику синтаксиса разговорного языка, хотя это не означает, что это описание претендует на полноту описания синтаксической системы. Е.Н. Ширяев исходит из того, что характерными для разговорного языка являются прагматические факторы и тенденции к аналитизму. Глава состоит из двух разделов: 1) "Простое высказывание" и 2) "Полипредикативные высказывания". То есть, в центре описания разговорного синтаксиса стоит высказывание.

Глава 5 "Порядок слов" (с. 127–149) продолжает тему синтаксиса. Автор П. Адамец описывает особенности порядка слов в разговорном языке путем сопоставления с КЛЯ. В соответствии с этим глава делится на две части: описание порядка слов – 1) в КЛЯ и 2) в разговорном языке. Типичным для разговорного языка, на взгляд автора, являются дистантная позиция распространяющих членов предложения, передвижение главного акцента высказывания на начало предложения, а также переплетение элементов разных уровней. Причину этих особенностей он видит в стремлении говорящего ввести сначала самое важное и прибавить потом дополнения и уточнения.

Автор главы 6 "Из морфологии" (с. 151–162), Е.В. Красильникова, с полным правом называет главу "Из...", так как она занимается избранными вопросами морфологии и не ставит себе целью комплексного

описания морфологической системы разговорного языка. Автор освещает соотношения морфологии и синтаксиса, морфологии и текста, морфологии и коммуникации. В этих аспектах Е.В. Красильникова рассматривает разные особенности разговорного употребления существительного, прилагательного и глагола, а также сочетания предлогов с наречиями и мн. др.

Вопросам морфологии посвящена и глава 7 "Специфическое употребление форм глагола" (с. 163–179), написанная М.Я. Главинской. В центре главы стоит разговорное употребление форм категории времени. Автор описывает разные возможности транспозиционного употребления форм настоящего, прошедшего и будущего времени. В особом разделе рассматриваются вопросы морфологической синонимии в русском разговорном языке.

Глава 8 "Словообразование" (с. 181–224), автором которой является Е.А. Земская, одна из самых, на наш взгляд, интересных глав книги. Словообразовательные явления разделяются на узуальные и неузуальные лексические единицы, причем последние образуются спонтанно, в зависимости от потребностей коммуникации. В разговорном языке примешиваются те же способы словообразования как в КЛЯ, однако с различиями в частоте их употребления. Типичными для разговорного языка способами словообразования являются универбация и сокращение основ у существительных. Для аффиксального образования существительных разговорный язык располагает рядом специфических средств. Глагольная лексика разговорного языка, напротив, не имеет специфических словообразовательных морфем и отличается иными явлениями: часты семантические изменения, заимствования слов из жаргонов и просторечия.

Е.А. Земская различает следующие функции словообразования в разговорном языке: номинативную, экспрессивную, конструктивную и компрессивную, причем первые две функции служат передаче нового содержания, а последние две являются выражением языковой экономии. Все эти функции подробно описываются в отдельных разделах. Кроме того, автор дает обзор аффиксального образования существительных, прилагательных и наречий. В конце главы Е.А. Земская в семи пунктах резюмирует результаты исследования.

В главе 9 "Лексика" (с. 225–245) автор З. Кестер-Тома сначала рассматривает общие вопросы разговорной лексики. В центр изложения она ставит, с одной стороны,

семантические особенности лексики разговорного языка, а, с другой стороны, различные слои разговорной лексики. Среди семантических особенностей различаются, главным образом, комплексность и редуцированность значения. Эти явления освещаются на материале существительных и глаголов. В состав разговорной лексики входят и слова КЛЯ в переносном значении, иностранные слова, диалектизмы и профессионализмы, часто с изменениями их значения.

В главе 10 "Номинация" (с. 247–265), написанной Л.А. Капанадзе, продолжается лексическая тематика. Центральным вопросом этой главы являются различные способы семантической компрессии, контракция, конденсация и универбация. Кроме того, рассматриваются и специфические для разговорного языка способы номинации, среди них – метонимия, глагольные номинативные конструкции, так называемые слова-губки и др.

В последней главе (11) "Языковая игра" (с. 267–283) Е.А. Земская вначале описывает роль языковой игры в разговорной коммуникации и излагает мнения лингвистов о ней. Центральной темой этой части книги является описание главных способов и путей создания языковой игры: употребление необычных для разговорного языка средств выражения; употребление языковых единиц, выделяющихся особенностями значения и/или форм. Языковая игра является выражением языкового творчества говорящего и отходом от узуального выражения, от клише.

Надо отметить, что книга включает большой список литературы (15 с.), но, к сожалению, большинство фамилий авторов, названных в главе "Фонетика", отсутствует. Как приложение следуют 6 страниц с ос-

циллограммами, интонограммами и сонограммами.

Часть языковых явлений, описанных в рецензируемом труде, уже известна из научных статей и книг тех авторов, которые участвовали в ее создании. Но было бы неверно думать, что содержание книги представляет собой лишь повторение на немецком языке уже известных результатов исследовательских работ. Она содержит много новых выводов и результатов научных исследований, углубление описания закономерностей системы разговорного языка, поднимает новые, еще не решенные вопросы. Нам кажется, что даже на русском языке пока не существует работ, освещающих теоретические вопросы и результаты исследований по русскому разговорному языку таким комплексным образом. Книга отличается ясностью изложения и наглядностью, чему способствует большое количество примеров (большей частью с немецким переводом), а также таблицы и краткие резюме. И хотя книга рассчитана на немецких читателей, она не содержит сопоставительных аспектов с немецким языком. Это вполне оправдано, так как сравнение русского разговорного языка с языковыми средствами немецкого языка, употребляемыми в тех же коммуникативных ситуациях, было бы крайне сложно. До сих пор эта проблема не изучалась. Книга представляет собой перевод с русского языка, причем переводчику удалось создать филологически правильный немецкий текст. Выход в свет этой книги является ценным вкладом в распространение знаний о русском разговорном языке, она будет полезна как ученым, так и студентам.

Е. Гюнтер

© 1998 г. В.Б. КУЗНЕЦОВ

РЕПЛИКА ПО ПОВОДУ СТАТЬИ С.Н. НИКОЛАЕВА "НОВЫЕ ДАННЫЕ О ФОНЕТИКЕ РУССКИХ ГОВОРОВ"

Предлагаемая читателю публикация не является в полном смысле слова рецензией. Скорее всего нижеизложенное можно отнести к жанру "Заметок на полях". В работе С.Н. Николаева "Новые данные о фонетике русских говоров" [Николаев 1997] наше

внимание привлекла, в первую очередь, методическая сторона проведенного исследования.

Для того чтобы установить, что в ряде диалектов праславянские ударные гласные *и и *у реализуются соответственно

стандартным русским (и) и (и), имеющим специфическую окраску слабо назализованного и несколько напряженного гласного, С.Н. Николаев обращается к эксперименту. Были взяты записи речи трех женщин-информантов и проведен спектральный анализ представляющих интерес гласных.

В результате чисто качественного сравнения измеренных спектров автор приходит к выводу, что у назализованного [и] в отличие от неназализованного повышается уровень спектральных составляющих в высокочастотной области спектра, причем у разных дикторов это проявляется по-разному.

Сразу же отметим, что, судя по приводимым в работе многочисленным мгновенным спектральным срезам (С.Н. Николаев ошибочно называет их мгновенными спектрограммами), обнаруженное явление реализуется в речи даже одного и того же диктора нерегулярно. Особенно это заметно у носителя говора деревни Гаврилово: больше 50% спектров назализованных гласных, на наш взгляд, неотличимы от спектров неназализованных.

В своей интерпретации экспериментальных данных С.Н. Николаев фактически исходит из предположения, что любые различия, обнаруживаемые в сравниваемых спектрах, должны быть отнесены на счет назализации. Это предположение неверно по двум причинам.

Во-первых, из статьи неясно, контролировались ли при записи дикторов такие, в частности, параметры, как голосовое усилие и положение диктора по отношению к микрофону. Оба эти фактора играют существенную роль в формировании именно высокочастотной области спектра. Во-вторых, в этом предположении отражается тот факт, что эксперимент проводился с позиции исследователя-первопроходца: судя по статье, автору неизвестны имеющиеся на сегодняшний день данные о спектральных коррелятах назализации.

Общепризнанно, что первичные признаки назализации связаны с низкочастотной областью спектра: открытие носового прохода приводит к систематическому сдвигу первой форманты F1 и увеличению ее ширины, а также появлению рядом с ней (справа или слева в зависимости от гласного) дополнительной форманты и антиформан-ы.

Что же касается высокочастотной области спектра, то там может наблюдаться смещение формант, изменение уровня их

интенсивности и появление дополнительных спектральных максимумов. Но в этих проявлениях назализации пока что не удается обнаружить регулярности, что связано, как предполагают исследователи, с значительными различиями в строении носовых придаточных пазух дикторов. Отмечается также, что сдвиг "центра тяжести" в низкочастотной области спектра приводит к изменению восприятия подъема назализованного гласного: открытые гласные оцениваются как более закрытые, а закрытые гласные — как более открытые.

Вышеприведенные данные были получены в ходе экспериментов по анализу, синтезу и восприятию назализованных гласных (Hawkins, Stevens 1985; Lonchamp 1979), в результате прямого измерения резонансных частот носовой полости [Dang, Honda 1995] и моделирования передаточной функции речевого тракта на основе рентгенографических измерений [Фант 1964; Feng, Abugy 1987]. Заметим, что при изучении спектральных характеристик назализованных гласных в качестве дикторов, как правило, привлекают мужчин с низкими голосами, чтобы максимально повысить информативность спектральной огибающей.

Кратко коснемся использованной С.Н. Николаевым техники спектрального анализа. Судя по иллюстрациям и возможностям использованной программы анализа речи (WinCECIL), можно предположить, что спектральные срезы были получены при окне анализа длиной в 128 отсчетов и частоте дискретизации речевого сигнала 22050 Гц¹.

Основная трудность применения выбранного метода анализа — это получение представительных спектральных срезов. Дело в том, что при таком небольшом окне анализа форма спектра существенно зависит от положения окна по отношению к периоду основного тона.

Чтобы читателю было более понятно о чем идет речь, рассмотрим проблему представительности спектра на конкретном примере. На рисунке приведены три спектральных среза, при получении которых мы постарались воспроизвести основные условия, в которых С.Н. Николаев выполнял свои измерения. Спектральные срезы сделаны при последовательном сдвиге окна анализа на 5 отсчетов в центре неназализованного гласного [и], произнесенного диктором-женщиной в слове гуси.

¹ Нельзя не отметить слабую документированность исследования в целом. Эксперимент должен быть описан с той степенью подробности, которая позволяла бы другим исследователям его повторить.

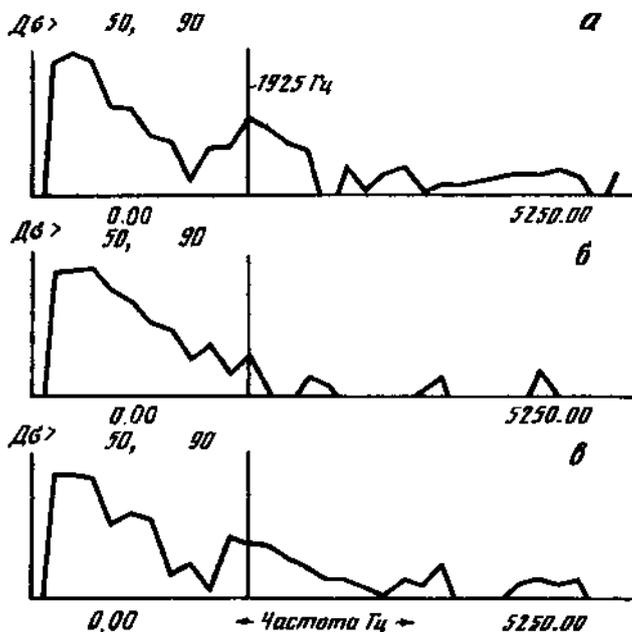


Рис. Последовательные спектральные срезы, сделанные в центре ненализированного [u]. Женский голос, частота основного тона – 210 Гц. Длина окна анализа 128 отсчетов. Сдвиг окна анализа – 5 отсчетов (227 мксек). Частота дискретизации – 22050 Гц. Речевой сигнал предварительно подвергался высокочастотному усилению 6 дБ на октаву с 1000 Гц.

Можно видеть, что различия между спектрами довольно значительные: во-первых, на срезах (а) и (б) имеется только один максимум ниже 1000 Гц, тогда как на срезе (в) их два, во-вторых, на срезе (б) не обнаруживается область усиления спектральных составляющих в районе 2000 Гц, характерная для спектров (а) и (в). Кстати, различие между срезами (а) и (б) по своему характеру аналогично тому, которое С.Н. Николаев принимает за проявление назализации.

В нашем примере представительным спектром является срез (в). Существуют разнообразные методы определения представительности отдельного спектрального среза, но их обсуждение выходит за рамки настоящей рецензии. Что же касается спектральных срезов, полученных С.Н. Николаевым, то вопрос об их представительности остается открытым.

Исходя из вышеизложенного, мы вынуждены заключить, что природа описываемого С.Н. Николаевым явления не установлена.

Побудительным мотивом для написания настоящей заметки послужила не сама по себе работа С.Н. Николаева, а тот факт, что его исследование является ярким проявлением зарождающейся тенденции, когда

неспециалисты используют инструментарий экспериментальной фонетики, ставший в последние годы легкодоступным, благодаря бурному развитию компьютерных технологий.

Мы не выступаем против расширения круга лиц, пытающихся изучать звучащую русскую речь количественными методами. Этот факт можно лишь приветствовать, так как ситуация с количественным описанием даже основных явлений русской фонетики оставляет желать лучшего.

Задача настоящей публикации – продемонстрировать всем тем, кто собирается присоединиться к сообществу фонетиков-экспериментаторов, что, не затратив усилий на приобретение необходимого минимума знаний и навыков в соответствующей области инструментальной фонетики, вы не сможете быть уверены в том, что результаты ваших исследований не окажутся столь же разочаровывающими, как и у С.Н. Николаева. Хочется также предостеречь от того ошибочного подхода к использованию методов инструментальной фонетики, который бытовал в недалеком прошлом.

Считалось, что само по себе применение аппаратных средств (интонаграфов, спектроанализаторов, а теперь и их компьютерных аналогов в виде программ) гаран-

тирует исследователю преодоление субъективизма слуховых ощущений и получение объективных и доказательных результатов. Причем, как правило, подразумевалось, что слуховые впечатления находятся в простых отношениях с их предполагаемыми акустическими коррелятами.

Конечно, Фурье-анализ, как говорится, и в Африке – Фурье-анализ, но знаменитый математик не несет никакой ответственности за наш с вами субъективизм, который имеет достаточно возможностей проявиться в том, что мы берем для анализа, как мы это анализируем и какую интерпретацию даем полученным результатам.

Прибегая к экспериментальным методам исследования, следует не забывать, что мы оказываемся в пока что "чужом" для большинства из нас "монастыре", строгий устав которого, выработывавшийся на протяжении столетий учеными-естественниками, мы должны стремиться соблюдать.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Николаев С.Н.* 1997 – Новые данные о фонетике русских говоров // Вопросы русского языкознания. Вып. VII, М., 1997.
- Фант Г.* 1964 – Акустическая теория речеобразования. М., 1964.
- Dang J., Honda K.* 1995 – An investigation of the acoustic characteristics of the paranasal cavities // Proc. of the XIII-th ICPhS. V. 1. Stockholm, 1995.
- Feng G., Abry Chr.* 1987 – Nasalization of French vowels // Proc. of the XI-th ICPhS. V. 2. Tallinn, 1987.
- Hawkins S., Stevens K.N.* 1985 – Acoustic and perceptual correlates of the nonnasal – nasal distinction for vowels // Journ. of the Acoustical Society of America, V. 77(4). 1985.
- Lonchamp F.* 1979 – Analyse acoustique des voyelles nasales françaises // Verbum II. 1. 1979.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ХРОНИКАЛЬНЫЕ ЗАМЕТКИ

7–9 октября 1997 г. в Вильнюсе состоялся 8-ой внеочередной международный конгресс балтистов, приуроченный к 450-летию выхода в свет первой литовской книги, напечатанной в 1547 г. Мартинасом Мажвидасом. Международный форум балтистов, который собрал ученых из Германии, Голландии, Италии, Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, России, США, Украины, Финляндии, Швейцарии и Эстонии, приветствовали председатель Сейма Литвы В. Ландсбергис и ректор Вильнюсского университета Р. Павилёнис. На первом пленарном заседании были заслушаны доклады, связанные с деятельностью литовского первопечатника: Р. Еккерта (Берлин) о Катехизисе М. Мажвидаса в контексте эпохи Реформации, министра просвещения и науки Литвы З. Зинкявичюса об источниках письменного языка М. Мажвидаса, Г. Микелони (Парма) о переведенных М. Мажвидасом латинских песнопениях и их мелодиях. К. Кузавинис и А. Гирденис (Вильнюс) сделали доклад о происхождении балтийских акцентных именных парадигм и их развитии.

После торжественного открытия конференции и пленарного заседания работа продолжалась в пяти секциях. На секции "Изучение языка письменных памятников" В. Амбраса (Вильнюс) говорил о важности литовских письменных источников XVI–XVII вв. для изучения исторического синтаксиса, Я. Розенбергс (Рига) – о проблемах формирования латышского литературного языка, В. Пориныя (Рига) – об оценке в нынешнем веке языка латышских литературных памятников XVII в., в то время как В. Эрнстсоне (Рига) – об их соотношении с живой разговорной речью. В сообщении Р. Квашите (Рига) рассматривались особенности языка латышских деловых

текстов XVI–XVII вв. Многие выступления были посвящены вопросам языка отдельных авторов, проблемам авторства и межтекстовых связей. Здесь можно отметить темы выступлений О. Алекнавичене (Вильнюс) об авторстве перикопов Пастилы Й. Бреткунаса, Г. Субачюса (Вильнюс-Чикаго) о работах Бонавентуры Гайлявичюса начала XIX в., Й. Палёниса (Вильнюс) о языковых связях Пастилы Вольфенбюттеля и произведений Й. Бреткунаса, текстологические анализы Г. Кавалюнайте и М. Лучинскене (Вильнюс), а также Й. Дранге (Грейфсвальд), который говорил об исправлениях в Библии Бреткунаса, сделанных Даниелем Галлусом. В этой секции была поддержана идея В. Амбраса об организации комплексных исследований памятников балтийской письменности совместно с зарубежными лингвистами, а также о необходимости ускорить их публикацию.

На секции "Морфология и синтаксис" были заслушаны доклады А. Росинаса (Вильнюс) о местоимениях в Пастиле Даукши, Й. Гелумбецкайте (Вильнюс) о постпозиционных локативах в переводе Евангелия от Луки Й. Бреткунаса, Э. Букевичюте (Берлин) о двойственном числе глаголов в Библии Й.Й. Квандта, Р. Люр (Йсна) о двойственном числе в литовских памятниках письменности, А. Стафецкой (Рига) о языковых особенностях латгальских письменных памятников, Л. Лейкумы (Рига) – о глагольных формах в самой старой сохранившейся латгальской книге, К. Покротнице (Рига) о сложных предложениях в самом старом католическом катехизисе, вышедшем на латышском языке в 1585 г. В нескольких выступлениях были затронуты вопросы, связанные с изучением первых грамматик и словарей: Э. Липарте (Рига-Вильнюс) говорила о переводе немецких глаголов с отделяемыми

приставками на латышский язык в работах Г. Манцеля, а А. Андронов (Санкт-Петербург) — о дебитиве в латышской грамматической традиции. Б. Рейдзанс (Рига) проанализировала семантику сложных слов в латышских дайнах. Ряд сообщений был посвящен связям балтийских языков с другими и.-е. языками. Среди них: А. Холвэта (Варшава) об инфинитивных конструкциях в балтийских и славянских языках, В. Маньчака (Краков) об окончаниях с *-t-* в балтийских, славянских и германских языках, Д. И. Эдельман (Москва) о балто-славяно-иранских изоглоссах. Н. Островски (Краков) рассматривал происхождение некоторых литовских глаголов, Д. Пакальнишкене (Клайпеда) — вопросы исторических чередований в глаголах. Два сообщения были связаны с проблемами прусского языка: Ф. Кортландт (Лейден) говорил о языке прусских катехизисов, а А. Каукене (Клайпеда) — об особенностях структуры древнепрусских глаголов. Были затронуты и диалектологические проблемы: А. Тимушка (Рига) рассмотрел в историческом аспекте диалектные конструкции, выражающие степени сравнения, Д. Киселюнайте (Клайпеда) — некоторые старые морфологические черты куршских говоров.

Широкий круг вопросов, связанных с памятниками письменности, а также с диахроническими и диалектологическими проблемами балтийских языков был рассмотрен на секции "Фонетика, фонология и акцентология". В сообщении Р. Дерксена (Лейден) обсуждался вопрос расширения гласных в литовском Катехизисе 1605 г., А. Гирдяниса (Вильнюс) — изменения носовых гласных в памятниках литовской письменности. С. Йонунг (Мэриленд) рассматривал акцентологию Катехизиса Даукши 1595 г., П. Ванагс (Рига) — фонологическую систему латышского языка XVI в., В. Н. Чекомонас (Вильнюс) анализировал происхождение восточнобалтийского дифтонга **uo* в ареальном и типологическом аспектах, К. Гаршва (Вильнюс) — важнейшие этапы развития фонетической системы линкувского говора. С.Ю. Темчин (Вильнюс) показал словообразовательную значимость литовской фонологии в аспекте диахронических процессов, О. В. Поляков (Вильнюс) обратил внимание на важность введения понятия "акцентологические законы" и говорил об условиях их действия. Д. Микуленене (Вильнюс) рассмотрела явление

циркумфлексной метонимии в сложных словах, В. Лазаускайте (Вильнюс) — ударение у прилагательных с основами на *-i-* и образованных от них существительных. Б. Стунджа (Вильнюс) обсудил проблемы реконструкции балтийской системы ударения производных слов.

Большой интерес вызвала работа секции "Этимология и ономастика". С. Каралиюнас (Вильнюс) обосновывал гипотезу апеллятивного происхождения этнонима *литваг*, К. Люкконен (Хельсинки) уточнял детали происхождения этнонима *балтийцы* и названия *Литва*. Некоторые выступления были посвящены происхождению топонимов и имен собственных. З. Зинкявичюс (Вильнюс) на основе инвентарных книг показал литовский характер антропонимов и топонимов в Восточной Литве в XVII в., Г. Блажене (Вильнюс) сделала сообщение о местных названиях в древнепрусской земле Семба XVI–XVII вв., Л. Балодэ (Рига) — о гидронимах латышских карт XVI–XVII вв., Н. Михайлов (Пиза) дал лингвистический анализ балтийских топонимов в работе И. Ласицкого XVI в.; В. Мажюлис (Вильнюс) анализировал балто-славянскую лексическую изоглоссу — слово *яблоко*, В. Смочиньскис (Краков) — непрусские элементы прусского языка. Е. Каггайнэ (Рига) разбирала некоторые этимологии слов северо-западных говоров Видземе. В сообщении Л. Вабы (Таллинн) говорилось о субституции балтийского сочетания согласных **ks* в прибалтийско-финских языках, П. Динни (Пиза) привлек внимание к незаслуженно игнорируемой старой историографии балтийского языкознания.

На секции "Лексикология и лексикография" были заслушаны сообщения А. Непокупного (Украина) о литовском и прусском названиях книги, В. Дротвинаса (Вильнюс) об иностранных словах в произведениях М. Мажвидаса и в словарях XVII–XVIII вв., напечатанных в Западной Литве. Н. Чапене (Вильнюс) исследовала германизмы о переводе Библии Й. Бреткунаса. Темой двух выступлений стали балтийские прилагательные: А. Блинка (Рига) анализировала их формы в словаре Г. Манцеля 1638 г., а Д. Якулите (Клайпеда) — в книге "Nobažnystēs". Г. Чепайтене (Шяуляй) говорила о формах обращения в произведениях М. Мажвидаса, И. Янсоне (Рига) — о названиях одежды в латышских словарях XVII в.,

А. Банкавс (Рига) – об этнонимах "литовец, латыш, эстонец" во французских лексикографических источниках. Б. Вэлхли (Болл, Швейцария) отмечал совпадения лексических значений латышского и ливского языков. О. Бушс (Рига) уточнял языковую и диалектную принадлежность текста С. Грунау "Отче наш". Общее выступление С. Амбразаса и В. Зинкявичюса (Вильнюс) было посвящено важности создания исторического словаря литовского языка и введения в компьютер текстов памятников письменности балтийских языков.

На заключительном пленарном заседании выступили с докладами: В. П. Шмид (Гёттинген) о балтийском центре в европейской гидронимике, Т. Маттассен (Осло) о истории балтийской грамматической терминологии, И. Друзете (Рига) о языковой ситуации в Латвии XVI-

XVII вв. Сенсацию вызвал доклад Ю. Откуншикова (Санкт-Петербург), который на многочисленных примерах показал, что балтийская топонимика Оки и верховьев Волги указывает на их не западнобалтийское происхождение, как считалось до этого, а на восточнобалтийское.

Конгресс был организован Вильнюским университетом при участии Института литовского языка. Всего было заслушано 71 выступление; тезисы докладов и сообщений вышли отдельным изданием. Конгресс избрал рабочую группу Международной ассоциации балтистов.

Очередной конгресс балтистов решено провести в 2000 году в Риге, которая готовится отметить свой 800-летний юбилей.

*О. Поляков, Б. Стунджа
(Вильнюс)*

1957 год – год публикации знаменитой работы Хомского "Синтаксические структуры" – можно считать годом рождения генеративной лингвистики. В 1956 г. была опубликована малоизвестная работа Хомского на эту тему в журнале радиоинженерного института (! – в то время подобные идеи невозможно было опубликовать в лингвистическом журнале), а еще годом раньше генеративные идеи обсуждались в труде "Логическая структура лингвистической теории" (опубликованном лишь в 1975 году), но эти работы были доступны очень узкому кругу специалистов и практически не оказали влияния на лингвистическое сообщество. Сам Хомский указывает на то, что истоки генеративизма можно найти еще в грамматике Панини ("Восьмикнижие"), созданной около 2500 лет назад. Но лишь начиная с 1957 года генеративный подход в лингвистике становится широко известен и оказывает революционное влияние на все ее последующее развитие.

Поэтому можно считать, что 1997 год – это год 40-летнего юбилея генеративизма. Такая дата не могла остаться незамеченной, и на исходе года, с 1 по 12 декабря, состоялась юбилейная научная конференция "The 40-th Anniversary of Generativism".

Особо следует отметить форму ее проведения. Это была электронная конференция, участники которой не съезжались вместе, а участвовали в ней

через свои компьютеры, подключенные к всемирной компьютерной сети Интернет. Принятые доклады были помещены в Интернет, а также разосланы по подписке (более чем 350 подписчикам из 50 стран). Доступ к материалам конференции был свободным, так что за ее ходом могли следить все желающие. Вопросы, ответы, комментарии, присланные в адрес оргкомитета, также помещались в Интернет. Это была лишь четвертая в мире электронная конференция в области лингвистики.

Еще одним интересным моментом является то, что хотя генеративная лингвистика не столь популярна в России, конференция была организована по инициативе именно российской научной организации – Казанского госуниверситета (совместно с журналом "Web journal of formal, computational and cognitive linguistics"). Работой конференции руководил международный программный и организационный комитет в составе: Н. Хомский (Массачусетский технологический ин-т), Р. Фрейдин (Принстонский ун-т), Н. Смит (Лондонский ун-т), Х. ван Римсдийк (Тилбургский ун-т), К. Отеро (Калифорнийский ун-т), М. Эверерт (Утрехтский ин-т лингвистики), В. Соловьев (Казанский ун-т). В ходе обсуждения программы было решено выделить 4 направления работы конференции: история и методология; текущие исследования во всех вариантах генеративной грамматики; перспективы развития и нерешенные проблемы; связи генеративной лингвистики с другими науками. Последнее направление предложил

выделить Хомский, и именно оно привлекло наибольшее количество докладчиков и вызвало наиболее оживленную дискуссию. Видимо, это отражает современное положение дел в генеративной лингвистике, ее стремление не обособливаться, а наоборот, активно взаимодействуя с другими науками, максимально расширить сферу применимости.

Конференция собрала очень представительный состав, а результаты, содержащиеся в материалах конференции, свидетельствуют, что генеративная лингвистика является динамично развивающимся, актуальным разделом современной лингвистики.

Труды конференции доступны в Интернет по адресу: [http://www.kcn.ru/tat_en/scien-](http://www.kcn.ru/tat_en/science/fccl/generate.htm)

[ce/fccl/generate.htm](http://www.kcn.ru/tat_en/science/fccl/generate.htm). Планируется издание их на CD. Опыт проведения электронной конференции нужно признать успешным. Это эффективная (и, что немаловажно, не требующая больших материальных затрат) форма распространения и оперативного обсуждения научных результатов. Разумеется, недостаточное развитие Интернета в России является препятствием к проведению этого типа научных конференций. Однако можно рассчитывать, что по мере распространения в России компьютерных технологий и компьютерных сетей электронные конференции станут неотъемлемой частью жизни научного сообщества.

В.Д. Соловьев
(Казань)

УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ,
ОПУБЛИКОВАННЫХ В ЖУРНАЛЕ
"ВОПРОСЫ ЯЗЫКОЗНАНИЯ" В 1998 г.

СТАТЬИ

Алексеев М.Е. Вопросы общего и кавказского языкознания в трудах Г.А. Климова	4
Алиней М. Г. А. Климов в Лингвистическом атласе Европы	4
Бабаева Е.Э. Кто живет в вертеле, или опыт построения семантической истории слова	3
Благова Г.Ф. К характеристике типов раннетюркских антропонимов	4
Богатова Г.А. Размышления после международного съезда русистов в Красноярске	3
Буянер Д. О средневековом кавказском топониме <i>Варсан</i> и его предварительной локализации	4
Верещагин Е.М. Два исследовательских инструмента в приложении к концепции русской Библии митр. Филарета (Дроздова). К 100-летию выхода в свет Гильтебрандтова конкорданса к Псалтыри	5
Гак В.Г., Донадзе Н.З. Названия зятя по материалам Лингвистического атласа Европы	4
Гамкрелидзе Т.В. Праязыковая реконструкция и предпосылки сравнительно-генетического языкознания	4
Городилова Л.М. Словарь языка памятников приенисейской Сибири XVII в.	3
Гуревич В.В. О "субъективном" компоненте языковой семантики	1
Добровольский Д.О. Национально-культурная специфика во фразеологии (II). [Часть I см. ВЯ. 1997. № 6.].....	6
Ибрагимов Г.Х. Категория аспекта в дагестанских языках (к постановке проблемы)	4
Иванова М.В. Древнерусская агиография конца XIV–XV в. как источник истории русского литературного языка	2
Казенин К.И. Определения в цахурском языке и синтаксические ограничения на глубину	4
Калинина Е.Ю. Разграничение финитных и нефинитных форм глагола в типологическом аспекте	4
Калнынь Л.Э. Включение диалектизмов в художественный текст как разновидность контакта между диалектной и литературной формами русского языка	6
Климов Г.А. Фрагмент из неоконченной монографии "Очерк сравнительной грамматики картвельских языков" (из раздела "Фонетика")	4
Конечкая В.П. Аксиомы, закономерности и гипотезы в лексикологии	2
Красухин К.Г. Ацентология в предыстории индоевропейских языков	6
Кривко Р.Н. Древнерусская орфография XI – начала XII века в свете суперсегментных тембровых оппозиций	2
Крысько В.Б. Древний новгородско-псковский диалект на общеславянском фоне	3

Лернер К., Куперман В. Категория "сравнения и оценки" с точки зрения гипотезы о "типах языкового движения"	1
Маковский М.М. Метаморфозы слова (Табуирующие маркеры в индоевропейских языках)	4
Малышева И.А. Проблемы источниковедческого исследования письменных памятников XVIII века	3
Мароевич Р. Этюды по грамматике древнерусского языка. II (Посессивы типа <i>Творимиричь</i>)	2
Матвеев А.К. Мерянская топонимия на Русском Севере – фантом или феномен?	5
Михайлова Т.А., Николаева Н.А. Номинация смерти в гойдельских языках: к проблеме реконструкции кельтской эсхатологии	1
Монич Ю.В. Проблемы этимологии и семантика ритуализованных действий	1
Падучева Е.В. Парадигма регулярной многозначности глаголов звука	5
Переверзев К.А. Высказывание и ситуация: об онтологическом аспекте философии языка	5
Перцов Н.В. К проблеме инварианта грамматического значения. I. (Глагольное время в русском языке)	1
Перцов Н.В. К проблеме инварианта грамматического значения. II. (Императив в русском языке)	2
Печников А.Н. Способы связи предикативных единиц в русском сложноподчиненном предложении	3
Плетнева А.А. Дискуссии о церковнославянском языке в конце XIX в. Позиция архаизаторов	5
Потапова Р.К., Гордеева Т.А. К вопросу о пограничных сигналах в современном немецком языке (применительно к региональным вариантам немецкого языка в ФРГ, Австрии, Швейцарии)	2
Пупынин Ю.А. Элементы видо-временной системы в детской речи	2
Рахилина Е.В. Семантика русских "позиционных" предикатов <i>стоять, лежать, сидеть и висеть</i>	6
Савосина Л.М. Актуализационная парадигма предложения. Тилы коммуникативных задач и средства их решения (на материале биноминативных предложений, выражающих отношения характеристики)	3
Соболев А.Н. О предикативном употреблении причастий в русских диалектах	5
Татевосов С.Г., Майсак Т.А. Кодирование эпистемического статуса средствами морфосинтаксиса (на материале цахурского языка)	1
Тестелец Я.Г. Георгий Андреевич Климов: отрывок из Введения в картвельистику.....	4
Тестелец Я.Г., Толдова С.Ю. Рефлексивные местоимения в дагестанских языках и типология рефлексива	4
Топорова Т.В. Об оппозиции "темный мир" – "светлый мир" в древнегерманской космогонии	6
Трубачев О.Н. Славянская филология и сравнительность. От съезда к съезду	3
Урысон Е.В. Языковая картина мира vs. обиходные представления (модель восприятия в русском языке)	2
Халилов М.Ш. Хронологическая стратификация грузинских лексических элементов в дагестанских языках	4
Хундснуршер Ф. Основы, развитие и перспективы анализа диалога	2
Циммерлинг А.В. Древнеисландские предикативы и гипотеза о категории состояния	1
Чирикба В. К вопросу об абхазских заимствованиях в мегрельском языке	4
Шилов А.Л. Топонимия Карелии в аспекте проблем субстратной топонимии Русского севера: к происхождению гидроформанта <i>-ен(ь)га</i>	3
Шустер-Шевц Х. К вопросу о так называемых праславянских архаизмах в древненовгородском диалекте русского языка	6
Яковлева Е.С. О понятии "культурная память" в применении к семантике слова	3
Янин В.Л., Зализняк А.А. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 1997 г.	3

ИЗ ИСТОРИИ НАУКИ

Барандеев А.В. "Книга большому Чертежу" (к 370-летию памятника)	3
---	---

КРИТИКА И БИБЛИОГРАФИЯ

Обзоры

Залевская А.А. Психоллингвистика: пути, итоги, перспективы	6
--	---

Рецензии

Алпатов В.М. Б. Гаспаров. Язык, память, образ. Лингвистика языкового существования	6
Гюнтер Е. S. Koester-Thoma, E.A. Zemskaja. (Hrsg). Russische Umgangssprache. Phonetik, Morphologie, Syntax, Wortbildung, Wortstellung, Lexik, Nomination, Sprachspiel	6
Даниэль М.А. Double case: Agreement by suffixaufnahme	1
Демьянов В.Г. I. Maier. Verbalreaktion in den "Vesti-Kuranty" (1600-1660). Eine historisch-philologische Untersuchung zur mittlerrussischen Syntax	3
Зубко Г.В. В.Т. Клаков. Словарь французского языка в Африке. Лингвострановедческие особенности	5
Крысько В.Б., Шаламова А.Н. "Ein Rusch Boeck...": Ein Russisch-Deutsches anonymes Wörter- und Gesprächsbuch aus dem XVI. Jahrhundert; Fałowski A. "Ein Rusch Boeck..."	2
Кузнецов В.Б. Реплика по поводу статьи С.Н. Николаева "Новые данные о фонетике русских говоров"	6
Куркина Л.В. M. Snoj. Slovenski etimološki slovar	3
Ляшевская О.Н. L.A. Janda. A Geography of case semantics: The Czech dative and the Russian instrumental	1
Маковский М.М. Д.О. Добровольский. Немецко-русский словарь живых идиом	2
Манучарян Р.С. И.С. Улуханов. Единицы словообразовательной системы русского языка и их лексическая реализация	3
Марчук Ю.Н. Р.К. Потапова. Речь: коммуникация, информация, кибернетика.....	6
Морозова А.В. M. Haspelmath. Indefinite Pronouns	2
Петрухина Е.В. А.В. Бондарко. Проблемы грамматической семантики и русской аспектологии	6
Плунгян В.А. Selected essays of Catherine V. Chvany	3
Сабанеева М.К. Histoire. Épistémologie. Langage	1
Сумбатова Н.Р. Основы африканского языкознания. Именные категории	5
Тяпко Г.Г. Теоретические и методологические проблемы сопоставительного изучения славянских языков	3
Щека Ю.В. Turkic languages. V. 1. 1997	5

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Хроникальные заметки	1, 2, 3, 5, 6
Дуличенко А. Письмо в редакцию	2

ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ -98 (РГНФ)

Языкознание

1	2	3	4
1	98-04-16287	Алексеев М.Е.	Издание: "Языки мира: Кавказские языки". 45 а.л.
2	98-04-16106	Арутюнова Н.Д.	Издание: "Язык о языке". 35 а.л.
3	98-04-16108	Бабенко Н.С.	Издание: "Язык: теория, история, типология". 35 а.л.
4	98-04-16156	Благова Г.Ф.	Издание: "Этимологический словарь тюркских языков". Т. 5 (2). Ко-Кы. 25 п.л.
5	98-04-16065	Богатова Г.А.	Издание: "Словарь русского языка XI-XVII вв." Вып. 24. 35 а.л.
6	98-04-16194	Вертоградова В.В.	Издание: "Исследование и научно-комментированный перевод с пали основной части палийского канона "Дигхникая". 81 п.л.
7	98-04-16062	Выдрин В.Ф.	Издание: "Манден-русский словарь". Т. 1. 18 п.л.
8	98-04-16086	Вялкина Л.В.	Издание: "Словарь древнерусского языка XI-XIV вв.". Т. V. 65 а.л.
9	98-04-16171	Гецова О.Г.	Издание: "Архангельский областной словарь". Вып. 10. 30 а.л.
10	98-04-16341	Додыхудоева Л.Р.	Издание: Д. Карамшов. "Шугнанско-русский словарь". Т. 3. 37 п.л.
11	98-04-16265	Дыбо В.А.	Издание: В.А. Дыбо. Морфологизированные парадигматические акцентные системы. Типология и генезис. 50 а.л.
12	98-04-16185	Живов В.М.	Издание: "Славянское языкознание. XII Международный съезд славистов". (Краков, 1988). Доклады российской делегации. 35 п.л.
13	98-04-16264	Иванов В.В.	Издание: "Общеславянский лингвистический атлас. Материалы и исследования-1996". 20 а.л.
14	98-04-16312	Касаткин Л.Л.	Издание: "Русские народные говоры. Южнорусское наречие". 13,5 а.л.
15	98-04-16344	Касаткина Р.Ф.	Издание 3-го выпуска сборника фонетических трудов "Проблемы фонетики" ("Проблемы фонетики. III."). 20 п.л.
16	98-04-16345	Касевич В.Б.	Издание: "Востоковедение: Филологические исследования. Вып. 20". 13 п.л.
17	98-04-16072	Кондрашкина Е.А.	Издание: "Речевое общение в условиях языковой неоднородности". 15 а.л.
18	98-04-16322	Кузьмина С.М.	Издание: "Московский лингвистический сборник". 25 а.л.
19	98-04-16236	Лаптева О.А.	Издание: "Современная русская устная научная речь". Т. IV. 22 п.л.
20	98-04-16121	Левкиевская Е.Е.	Издание: А.Н. Афанасьев. "Поэтические воззрения славян на природу". (Комментарии и справочно-библиографические материалы). 25 а.л.

1	2	3	4
21	98-04-16071	Максимо- вич К.А.	Издание: "Пандекты Никона Черногорца в древнерусском переводе XII в. (юридические тексты)" 38 а.л.
22	98-04-16095	Миронов С.А.	Издание: "Исследования по исторической грамматике германских языков. Нидерландский язык. Кн. 1. Фонология. Морфология". 20 а.л.
23	98-04-16170	Мошкало В.В.	Подготовка и издание: "Языки мира: Иранские языки. III. Восточные иранские языки". 30 а.л.
24	98-04-16300	Мудрак О.А.	Издание: "Этимологический словарь чукотско-камчатских языков". 20 а.л.
25	98-04-16089	Невская Л.Г.	Издание ежегодника: "Балто-славянские исследования – 1998". 25 п.л.
26	98-04-16161	Николаева Т.М.	Издание: "Язык. Миф. Литература" (К 70-летию акад. В.Н. Топорова). 60 п.л.
27	98-04-16373	Паршин П.Б.	Издание: "Англо-русский словарь по лингвистике и семиотике". Т. 2. 15 п.л.
28	98-04-16109	Пеньковский А.Б.	Издание: "Нина. Культурный миф золотого века русской литературы в лингвистическом освещении". 23 а.л.
29	98-04-16152	Порхомов- ский В.Я.	Издание: "Устные формы литературного языка: история и современность". 24 а.л.
30	98-04-16143	Ссменюк Н.Н.	Издание: "Языки мира: Германские и кельтские языки". 32 а.л.
31	98-04-16357	Сильницкий Г.Г.	Издание: "Сопоставительное исследование корреляционных систем глагольных признаков в английском, французском, русском, немецком и других языках". 18 п.л.
32	98-04-16019	Терентьев- Катанский А.П.	Издание словника: "Цзы цза" (тангутский и китайский текст, перевод и исследование). 30 а.л.
33	98-04-16283	Трубачев О.Н.	Издание: "Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд". Вып. 25. 20 п.л.
34	98-04-16112	Усачева В.В.	Издание: "Слово и культура". (Памяти академика Никиты Ильича Толстого). 30 а.л.
35	98-04-16074	Федоров А.И.	Издание: "Словарь русских говоров Сибири". В 4-х тт. Т. 1. 40 а.л.
36	98-04-16332	Халилов М.Ш.	Издание: "Цезско-русский словарь". 30 а.л.
37	98-04-16026	Хелимский Е.А.	Издание: Е.А. Хелимский. "Компаративистика, уралистика: статьи и лекции". 50 п.л.
38	98-04-16002	Юмсунова Т.Б.	Издание: "Словарь говоров старообрядцев (семейских) Забайкалья". 40 п.л.
39	98-04-16323	Яковлева Е.С.	Издание: Н.Н. Дурново. "Очерки по истории русского языка". 50 а.л.
40	98-04-16187	Яхонтова Н.С.	Издание: Ойратская версия "Истории о Молон-гойнс". 11 п.л.

КОНКУРС 98
КОНФЕРЕНЦИИ И TRAVEL 98 (РГНФ)

NN	Номер	Руководитель	Название проекта	Орг-ция
			языкознание	
1	98-04-14036	Алпатов В.М.	Организация и проведение научной конференции "Языки стран Азии и Африки: традиции, современное состояние и перспективы исследований"	ИВ РАН
2	98-04-14009	Бабенко Л.Г.	Организация и проведение заседаний постоянно действующего научного семинара "Русский глагол: семантика и синтаксис" и межвузовской конференции "Русский глагол: денотативное пространство (IX Кузнецовские чтения)"	УрГУ
3	98-04-14010	Блинова О.И.	Организация и проведение всероссийской конференции "Актуальные проблемы дериватологии, мотивологии, диалектной лексикографии"	ТомГУ
4	98-04-14025	Диброва Е.И.	Организация и проведение постоянно действующего научного семинара "Семантическая структура художественного текста"	МГОПУ
5	98-04-14018	Комарова И.Н.	Организация и проведение международной конференции "Актуальные проблемы китайского языкознания"	ИЯ РАН
6	98-04-14044	Крысин Л.П.	Организация и проведение международной конференции "Русский язык в его функционировании"	ИРЯ РАН
7	98-04-14011	Мызников С.А.	Организация и проведение 14-го Всероссийского диалектологического совещания "Лексический Атлас русских народных говоров – 1998"	ИЛИ РАН

8	98-04-14019	Мячин- ская Э.И.	Организация и проведение российской межвузовской научной конференции "Англистика: новейшие достижения и традиции", посвященной 50-летию кафедры английской филологии Санкт-Петербургского государственного университета	СПбГУ
9	98-04-14031	Ремнева М.Л.	Организация и проведение международной научной конференции "Проблемы сравнительно-исторического языкознания в сопряжении с лингвистическим наследием Ф.Ф. Фортунатова"	МГУ Филол. Ф-т
10	98-04-14021	Цейтлин С.Н.	Организация и проведение постоянно действующего семинара по лингвистике детской речи	РГПУ
11	98-04-14035	Чельшев Е.П.	Организация и проведение международной конференции "Слово и культура", посвященной 75-летию со дня рождения академика Н.И. Толстого	ИСБ РАН

*

Сведения были предоставлены редакции журнала "Вопросы языкознания" Российским Государственным научным фондом.

К СВЕДЕНИЮ АВТОРОВ

1. Рукописи представляются в двух экземплярах; текст и подстрочные примечания обязательно должны быть напечатаны на машинке или на компьютере через два нитервала. После подписи указываются сведения об авторе: фамилия, имя, отчество, место работы, занимаемая должность, ученая степень, домашний адрес, телефон.

2. Примеры в журнале принято давать курсивом (подчеркивать в рукописи волнистой чертой), а значения их в кавычках.

3. Библиография в журнале оформляется следующим образом:

3.1. Список использованной литературы дается в конце статьи по алфавиту фамилий авторов и оформляется так:

– "Код работы" (фамилия и инициалы авторов, год выхода цитируемой работы), тире, название работы. В случае, если авторов больше двух, допустимо указывать только одного автора плюс выражение типа "и др." или "et al."

– Если это монография, то после точки указываются место и год издания, например: *Успенский Б.А.* 1994 – Краткий очерк истории русского литературного языка (XI–XIX вв.). М., 1994.

– Если это статья, то после двойного слэша (//) указывается журнал (допустимы при этом стандартные сокращения) или выходные данные сборника, например:

Трубецкой Н.С. 1990 – Общеславянский элемент в русской культуре // ВЯ. 1990. № 2, 3.

– Если это сборник или иное аналогичное издание, то "кодом" является одно из двух:

а) фамилия и инициалы редактора (или редакторов; допустимы сокращения как и в ссылке на авторскую работу, см., выше) с указанием "ред." (для других языков – ed., hrsg. и т.п.) и год; б) сокращенное название и год.

В обоих последних случаях вслед за ключом после тире указывается полное название работы, а после точки – место, запятая, год издания, например:

Greenberg J. ed 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California), 1978.

Universals... 1978 – Universals of human language. V. 1. Method and theory. Stanford (California). 1978.

3.2. В тексте ссылки на литературу даются в квадратных скобках; фамилия (и инициалы автора, если это необходимо во избежание недоразумений), год публикации работы с указанием цитируемых страниц (если это существенно). Например [В.В. Иванов 1992: 34], [W. Jones 1890]. Если в библиографии упоминаются несколько работ одного и того же автора и года, используются уточнения типа: [W. James 1890a]. Под этим же кодом упоминается данная работа в списке литературы.

3.3. Подстрочные примечания, которые сохраняются наряду со списком использованной литературы, имеют сквозную нумерацию.

4. Непрнятые рукописи не возвращаются.

5. Статьи, опубликованные или направленные в редакции других журналов, не принимаются.

6. Авторам публикуемых статей направляется копия наборного экземпляра, который является окончательным вариантом сдаваемого в набор материала; корректура авторам не высылается.

Статьи, оформленные не в соответствии с указанными выше правилами, к рассмотрению в журнале "Вопросы языкознания" не принимаются.

CONTENTS

H. Schuster-Schewc (Purschwitz, FRG). On the so-called Proto-Slavonic archaisms in the Old Novgorod dialect of the Russian language; K. G. Krasuxin (Moscow). Accentology in the pre-history of the Indo-European languages; T. V. Toporova (Moscow). On the opposition "dark world" – "bright world" in Old Germanic cosmogony; D. O. Dobrovolskij (Moscow). National and cultural features in phraseology (II); L. T. Kalyn' (Moscow). Inclusion of dialectisms in the text of the belles-lettres as a kind of contact between dialectal and literary forms of the Russian language; E. V. Raxilina (Moscow). Semantics of Russian "positional" predicates: *to stand, to lie, to sit* and *to hang*; **Reviews:** A. A. Zalevskaia (Moscow). Psycholinguistics: methods, results, perspectives, V. M. Alpatov (Moscow). *Gasparov Boris*. Language, memory, image. Linguistics of language existence; E. V. Petrukhina (Moscow). A. V. Bondarko. Problems of grammatical semantics and Russian aspectology; Yu. N. Marčuk (Moscow). R. K. Potapova. Speech: communication, information, cybernetics; E. Günter (Berlin). S. Koester-Thoma, N. A. Zemskaja (Ed.) *Russische Umgangssprache*. Phonetik, Morphologie, Syntax, Wortbildung, Wortstellung, Lexik, Nomination, Sprachspiel; V. B. Kuznetsov (Moscow). Remarks concerning S. N. Nikolayev's article "New data on the phonetics of Russian dialects"; **Scientific life; Index of articles published in the journal "Voprosy Jazykoznanija" in 1998.**

Технический редактор О Н Никитина

Сдано в набор 29.08.98 Подписано к печати 02.10.98 Формат бумаги 70×100¹/₁₆
Офсетная печать. Усл. печ. л. 10,4 Усл. кр.-отг. 16,0 тыс. Уч.-изд. л. 12,4 Бум. л. 4,0
Тираж 1504 экз. Зак. 4488

Адрес редакции: 121019 Москва, Г-19, ул. Волхонка 18/2. Институт русского языка,
телефон 201-74-42
Отпечатано в типографии "Наука", 121099 Москва, Шубинский пер., 6

ПОИСК

Еженедельная газета научного сообщества

Учредители.
Российская
академия наук,
Министерство
общего и
профессионального
образования РФ,
Министерство
науки
и технологий РФ,
издательство
"Поиск"



10 лет мы с вами!

ПОИСК — единственное в России профессиональное издание для работников науки и высшей школы в 1999-м году отмечает свое 10-летие

Нас давно и хорошо знают те, кому публикации в "Поиске" помогли получить материальную поддержку и возможность продолжать научные исследования, кто стремится реализовать свои идеи, найти или сменить работу

Наши читатели преподают в российских университетах от Санкт-Петербурга до Владивостока, проводят научные исследования в учреждениях РАН, РАМН, других академий, работают в Государственных научных центрах, организациях, финансируемых министерствами науки и технологий, атомной энергии, экономики, обороны, являются сотрудниками исследовательских подразделений коммерческих компаний

Всегда в "Поиске"

- ✓ самые свежие новости из научно-исследовательских институтов и вузов,
- ✓ самые актуальные проблемы научного сообщества,
- ✓ самые авторитетные мнения руководителей науки и специалистов,
- ✓ самые правдивые рассказы об ученых и научных коллективах

Только в "Поиске"

- ✗ полные сведения о российских и международных фондах, поддерживающих исследовательские и образовательные проекты,
- ✗ условия различных конкурсов на получение грантов, стипендий и т.д.,
- ✗ рекомендации по оформлению заявок

Эти публикации помогли десяткам тысяч ученых в их профессиональной деятельности. Они убедились: без "Поиска" не обойтись

Присоединяйтесь!

Подписка принимается
во всех отделениях связи

Подписные индексы
годовой - 32638, полугодовой - 50095

Адрес редакции:

Москва, Чистопрудный бульвар, 6
офис 106-107
Тел./Факс (095) 924-1784
E-mail poisk@mail.ras.ru

Корреспондентские пункты "Поиска" работают в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нижнем Новгороде, Киеве, Минске, Алма-Ате, Ташкенте, Кишиневе